

**НОВЫЙ  
МИР**

12

---

1932

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ь

---

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 2

СТАТ-формат Б 5 176 × 250.

Уполн. Главл. В-48001. Об'єм 1 1/2 печ. лист. по 64.800 знаков.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ЛАХУТИ. — Сталину — бригадиру ударной бригады мирового пролетариата, стихи . . . . .	5
2. А. АРОСЕВ. — Корни, главы из романа «На боевых путях»	7
3. Вл. ЛИДИН. — Великий или Тихий, роман, окончание . . .	49
4. Л. ДЛИГАЧ. — Ять, стихи . . . . .	88
5. Иван ЕВДОКИМОВ. — Архангельск, конец второй части . .	92
6. Бруно ЯСЕНСКИЙ. — Человек меняет кожу, роман, конец первой книги . . . . .	112
7. А. ГУРВИЧ.—На порогах, рассказ . . . . .	150
8. А. ЯВИЧ. — Камзол, рассказ . . . . .	163
нигилада) . . . . .	169
 <b>ЛЮДИ И ФАКТЫ:</b>	
9. А. СТАРЧАКОВ. — Академия великой страны (письмо из Ле-	
 <b>ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:</b>	
10. П. РОЖКОВ — «Цусима» (О романе А. Новикова-Прибоя.)	176
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1932 год . .	182



# Сталину — бригадиру ударной бригады мирового пролетариата

ЛАХУТИ

На смерть Н. С. Аллилуевой

Ночной океан.  
Жестокий шторм.  
Валов мятеж,  
отчаянье,  
стон.  
Рычанием грома  
и ливня напором  
Грозится гибель  
со всех сторон.  
Сквозь бурю и ночь  
со скоростью полной  
Стремится корабль,  
огромен, могуч.  
Морскую грудь  
бороздит он, как молния,  
Быстро скользкая  
среди туч.  
Гроза все злее,  
корабль все тверже,  
На нем команда  
смелее грозы.  
Настороже,  
но готова без дрожи  
Опасность встретить  
и отразить.  
Стихии сломят ли  
силу эту?  
Она с кораблем  
нераздельно слита.  
И мощно очерченным силуэтом  
На мостике висится  
капитан.  
От этой фигуры,  
прямой, суровой,  
В немом раздумьи  
весь шар земной.  
Кто он?  
Человек  
из плоти и крови

Иль он из железа,  
иль он стальной?  
\*\*\*  
Наполовину  
свой путь опасный  
Корабль оставил  
уже позади.  
В дороге  
от тысячи бед он спасся.  
Препятствий тысячу  
победил.  
И вот издалека  
берег забрезжил —  
Свободы берег,  
счастья страна.  
Борцы на борту —  
наготове, как прежде:  
Пред ними битва  
еще не одна.  
Без передышки  
и днем, и ночью  
Корабль, осажден врагами, идет.  
То справа  
бешено волны клокочут,  
То слева  
ветер атаку ведет.  
Напрасно пытается  
снова и снова  
Разрушить судно  
стихий игра:  
То борется с ними  
не чел и рыболова, —  
Корабль — громада,  
корабль — гора.

Имеет он туловище титана,  
 Пред ветрами  
     не склонится он,  
 Имеет испытанного капитана,  
 Мятежных волн  
     Не боится он.

\*\*\*

Нашлись и трусливые,  
     kozy сердца.  
 От страха, от качки  
     их затошнило,  
 Но большинство  
     пошло до конца,  
 Вооруженное  
     знаньем и силой.  
 Не вынесли волны,  
     и мелкою зыбью  
 Отряд их главный  
     упал, разбит.  
 Вверху капитан,  
     как гора, незыблем,  
 Не покачнувшись,  
     не дрогнув,  
     стоит.  
 Слабее, гаснет  
     и ветер упрямый,  
 Устал он бесплодно  
     судьбу пытаться.  
 Свой гордый корабль  
     к берегу прямо  
 Непобедимый  
     ведет капитан.

\*\*\*

Внезапно море заволкло  
 Удушливым, зловещим туманом  
 Корабль атакуется  
     прямо в лоб  
 Неотвратимым,  
     слепым ураганом.  
 Из черного облака —  
     град и дождь.  
 Тот ливень — смерть  
     и град тот — нирвана.  
 Команда  
     в тоске и тревоге ждет,

Удару подставлена  
     грудь капитана.

Секунда —  
     град долетает, бьет,  
 И сердце берет  
     ледяная хватка.  
 Не пал капитан,  
     но вздрогнул,  
     и вот  
 Для всех раскрыта  
     вождя загадка.  
 Кто думал,  
     глядя на облик суровый,  
 Что вылит сплошь  
     капитан из стали,  
 Стальная фигура  
     без сердца и крови,  
 Чужда  
     человечьей любви и печали.  
 Увидя дрожь  
     этих плеч могучих,  
 Теперь лишь понял,  
     что правда не в этом,  
 Что капитан —  
     Это лучший из лучших  
 Носителей имени  
     человека.

Он создан из плоти живой и крови  
 Огонь и любовь  
     его дух наполняют,  
 А то, что ты видишь,  
     лишь воля героя,  
 Она — из железа,

Такой капитан,  
     несущий бережно  
 Любовь, как цветок,  
     волю, как сталь,  
 Корабль доведет,  
     доведет до берега,  
 Где край свободы,  
     где счастья стан!

Перевела с персидского Бану Бурханова

# Корни

Главы из романа „На боевых путях“

А. АРОСЕВ

## ГЛАВА I. ЧУЖИЕ ДНИ

Сергею стыдно было сознаться перед самим собой, что его захватывали и увлекали именно те страницы в романах Тургенева, Толстого, Достоевского, где описывалась любовь, интимнейшие движения души, нежность. Сергей не хотел себе в этом признаться. В беседах с товарищами и приятелями на эти деликатные темы он краснел, мялся и иногда от смущения плел невероятную чепуху.

— Женского вопроса не существует, — деланно-горячо восклицал он. — Как можно хотя бы один грамм мысли или одну секунду времени отдавать такому пустому вопросу вместо того, чтобы сосредоточить каждый миг мысли и дела на революции?

Он утверждал:

— Кроме обычного полового влечения, ничего другого в природе не существует, все остальное надумано пресыщенной и развратной буржуазией. Если бы какая-нибудь баба, — он никогда не говорил «женщина», — сказала мне, что любит меня, я бы просто отколотил ее за ложь.

В Сергее много было наивного: детским удивлением перед миром и его загадками горели глаза Сергея. Он старался, несознательно или, вернее, полусознательно, казаться грубым, чтобы не выдать своей довольно старомодной сентиментальности, которая упорно и крепко жила в нем.

Когда он вспоминал свое первое, неудачное и восторженное увлечение девушкой Катей, ему казалось, что теперь для него никогда не наступит ничего подобного, что настоящая близость с любимой — только несбыточная полусонная мечта.

Может быть, поэтому Сергей никогда и не поддерживал разговоров своих приятелей о женщинах.

Однажды Сергею попалась гравюра монаха, отвратив усталые глаза от книги, жадно уставился в пышный сад. Перед монахом — широко раскрытая балконная дверь, оттуда в келью, пропахнувшую старыми книгами, льется лунный свет и ночной аромат. Монах жаждет, и в этом, в неутолении, — вся прелесть картины. Сергей и без того был склонен к чтению, а эта картина еще сильнее подсажала ему, где он должен искать выхода своим сердечным неудачам.

Сергей стал проглатывать томы, один увесистее другого: ему хотелось постичь все — с самого начала. Он начал с геологии, перешел к истории культуры, потом к философии. Среди мятежников и революционеров, где он вращался, он нашел юношу, подобного себе по настроению, и с ним сдружился крепко и надолго — на всю жизнь. Это был Андрей Званов. Их скрепляло не только занятие теоретическими вопросами, связанными с революцией, но и сама опасная революционная практика. Может быть, дружба их крепла еще и оттого, что они инстинктивно как бы ревновали дру-



друга к женщинам: Сергей никогда не рассказывал Званову ни о своем чистом первом увлечении, ни о Валентине.

Когда революционная борьба их разделила, — Званов остался в ссылке, а Сергей бежал в чужие края, — ему стало не только грустно, но и трудно (и даже жутко) без близкого, почти родного Андрея Званова.

Сергей, оказавшись в чужом краю, очень быстро понял и ощутил свое одиночество.



Бельгия, Льеж, улица Таникс, квартира мадам Гаваш. По соседству живут другие русские эмигранты-революционеры.

Сергей снимал комнату один. Он погрузился в изучение французского языка по лучшим французским беллетристам и книгам о Великой революции.

По ночам, когда догорали в железной печке последние угли, Сергею даже под пуховой периной становилось холодно. Он кутался, прислушивался к биению своего сердца и думал только об одном: зачем он здесь? Он вспоминал все подробности побега из ссылки, вспоминал тюрьму с ее баландой, прогулками, с товарищеским теплом, вспоминал Званова, Черного, Езерского. Езерский, бывало, часто подсмеивался над тем, что Черный слишком долго читает Геккеля. «Дружище Черный, — говаривал ему Езерский, — полно тебе трепать Геккеля, ведь Геккель — старик, а ты его так долго мучаешь!» Вспоминал беседы со Звановым о социализме, о том, что будет со страной, если пролетариат победит, о том, что жизнь тогда, возможно, не пойдет точно по программе и произойдет нечто третье, неожиданное, непредвиденное, ненаписанное. Вспоминал Сергей и самого интимного друга — мать. «Зачем все-таки, я здесь?» — опять думал он. Сквозь мутную темь комнаты он различал на столе пачки революционной русской литературы. Он получал ее из Парижа для переправки в Россию. Вот, казалось, ответ на вопрос, почему он здесь. А все-таки только ли это привело его сюда? Могут ли эти пачки литературы двинуть массы

рабочих на грандиозный штурм всех старых крепостей?

В Народном доме Сергей слышал речь Вандервельде. Дом народа был проникнут запахом кофе и пива, а сам Вандервельде пахнул сигарами. Сергей долго, но тщетно рылся в своей памяти: что же нового услышал он, Сергей, от этого многолетнего учителя социализма? То, что слышал Сергей от Вандервельде, не давало почти ничего. Любой заурядный пропагандист в нелегальном кружке, в российской глуши, давал значительно больше своим слушателям, кроме того, Вандервельде и не призывал к штурмам — он лишь критиковал, и довольно остроумно, некоторые черты и частности капитализма. Вспомнил Сергей и то, как Вандервельде в свое время открыто заявил, что он — социалист, но не марксист, а между тем рабочие, говоря о Вандервельде, поднимали на мгновение подбородки вверх и, опуская их вниз, издавали полувздых-полуслово:

— О-о-о-о, Вандервельде—это о-о-о!

А что именно значили в применении к Вандервельде эти «о-о-о-о», Сергей никак не мог понять.

Однажды Сергей с юношеской угловатостью и живостью сказал своим приятелям по эмиграции:

— А Вандервельде — парнишка так себе, не очень-то...

Революционные эмигранты в ярости повскакали с мест:

— Как это так «парнишка» да еще «не очень-то»? Бросьте ваши анархические замашки!

Сергей, отштутившись какими-то анекдотами, едва избавился от укоров и нападаний.

У Сергея оставался вопрос: а если Вандервельде действительно только более или менее способный критик, то неужели вся надежда на действительный социализм вот в этих пачках русской нелегальной литературы? Ведь ее поймут только русские, да и то не все, далеко не все. Конечно есть и западноевропейская социалистическая литература, но большинство ее опять-таки составляют те же Вандервельде...

Только под утро Сергей засыпал. Вставал он поздно, но зато со свежей

головой и непоколебимой верой в победу революции.

Однажды утром он до такой степени был возбужден воспоминаниями о далекой родине, что облачился в черную русскую рубаху, которую обычно носили студенты-социал-демократы, и в таком виде спустился в кухню к мадам Гаваш за кипятком (он всегда сам себя обслуживал). Едва он открыл дверь, как мадам, сидевшая на своем обычном месте, в старом изодранном кресле у плиты, вскочила и опрометью бросилась в свои покои. Сергей, наполнив маленький чайник кипятком, в тихом удивлении удалился к себе.

Минут пять спустя в его келью слышался стук. На пороге появилась мадам Гаваш, прямая, как стрела.

— Месье Серж, — начала она строгим голосом, — вы, должно быть, вчера вечером изрядно выпили. Мне все равно конечно, но как молодого человека мне вас жаль. Вы хоть бы конфеты кушали или что-нибудь, чтобы не пить...

— Мадам, я принципиально не пью как социалист.

— Хорош «не пью», хорош социалист, посмотрите-ка на себя в зеркало, вы, должно быть, в этой ночной рубашке спали, а потом забыли ее заправить в брюки и в таком виде спустились ко мне. В своей комнате вы можете хоть целый день расхаживать в ночной рубашке, а у меня внизу дочь, девушка... неудобно...

Сергей смущенно оглядел себя в зеркало. Русская рубашка сидела на нем опрятно и даже с каким-то особым изяществом была перехвачена ремнем, сохранившимся от времен реального училца.

— Видите, видите, — подсказывала ему мадам, — поверх ночной рубахи вы еще перетянули ремень от брюк. Только с изрядного похмелья можно осмелиться в таком виде предстать перед посторонними

— Ах, мадам Гаваш, это — недоразумение: у нас в России все так ходят.

— Ну, ну, не краснейте, не выдумывайте от смущения чепухи.

Гаваш погрозила пальчиком.

— Пожалуйста, в таком виде не появляйтесь. Моя дочь...

— Как приятно, что у вас есть дочь. Я ее никогда не видел...

— Что вы? Что вы? — явно обиделась Гаваш. — Вы не знаете мою дочь Сюзанну? Вы с ней не познакомились еще? Нет, с вами сегодня что-то неладное.

Однажды вечером, возвратясь с доклада Мартынова, Сергей нашел на своем столе открытку, содержание которой состояло из одного слова «Пхе» — и трех знаков восклицания. Даже подписи никакой. По почерку Сергей сразу понял, что автор этого содержательного письма — не кто иной, как его приятель Черный. Почтовый штемпель открытки гласил «Вержболово».

Теперь все ясно: Черный из ссылки едет за границу и, переступив порог Европы, выражает свой восторг. Сергей знал, что Черный органически не выносил ничего обыкновенного.

Предположение Сергея оказалось верным: не прошло и трех дней после получения открытки, как в комнату Сергея ветром ворвался Черный, а вместе с ним — воздух полей, пространств его родины. Черный рассказывал о московском комитете, о новых арестах, о быте ссыльных в Холмогорах, о революционной смелости новых и новых рядов, вступающих в неравную, великую и радостную борьбу.

Когда Сергей почувствовал потребность рассказать Черному о загранице, у него язык прилип к гортани: Вандервельде с его речами, все здешние накрахмаленные социалисты с их пуританскими народными домами показались мизерными, затерянными и ничтожными. И тут Сергей сам перед собой сознался, что он преувеличивал значение революционной борьбы рабочего класса Европы: эта борьба казалась не такой уж важной перед той борьбой, которая развертывалась на его родине.

А Черный все расспрашивал Сергея, чему может научиться русский революционер за границей. Сергей рассказал о том, как на демонстрациях рабочие дружно кричат: «А ба ле кало» (долгой

католиков), как они аплодируют на собраниях—враз и в такт, все вместе, словно по команде, как, демонстрируя под дождем, закрываются зонтиками.

Так перешли они на разговоры о незначущих предметах, о пустяках.

Они стали дружно жить вместе, стали изучать жизнь и язык страны, посещать лекции в университете, а летом предприняли даже путешествие по Европе.

## ГЛАВА II. В ПОТЕ ЛИЦА

В Швейцарии, в Люцерне, они решили расстаться. Сергей видел, что с приятелем происходит что-то неладное. Он плохо спит, вспоминает Москву; много говорит о сестре Серова, их общего приятеля. Он был охвачен беспокойством и ожиданием. Сергею же некого было ждать. Беспокоило его только одно: как жить дальше, как и где достать денег? Черный дал какие-то телеграммы домой, своей матери, и остался в Люцерне, а Сергей, расцеловавшись с приятелем, направился в Париж.

Он поселился на маленькой улочке, у Орлеанских ворот,—«рю Фриан», 40,—в семействе одного русского эмигранта, социал-демократа, Друзо. Там он познакомился с другими эмигрантами-большевиками (Ника, Фастенков и т. д.).

Сначала Сергей работал фонарщиком на бульварах Пор-Рояль и Мон Парнас, потом грузчиком на Рю дю Тампль, потом каменщиком, а по вечерам сидел за чтением французских авторов. Он внимательно прочел Вольтера и Мольера. Это далось нелегко: загрубелые от работы пальцы отвыкли переворачивать страницы, а усталые веки тяжелели и смыкались.

Однажды весной после работы Сергей, решив отдохнуть, настезь распахнул большое, во всю стену, окно своей комнаты. Через узкую улицу в окне противостоящего многоэтажного дома увидел он рыжую девичью головку. Девушка смотрела вниз, и поэтому лицо ее было едва различимо. Потом девушка взглянула на него. Лицо ее было все в веснушках, глаза — голубые, подбородок — острый, французский. Сергей кивнул головой. Рыжая кивнула ответно. Сергей жестом

предложил ей спуститься вниз,—она ответила согласием.

Когда Сергей очутился непосредственно перед девушкой, она протянула ему свою хрупкую руку.

— Куда пойдем? — сказал Сергей.

— Гулять, на бульвар Клиши.

— Пошли.

День был субботний.

На бульваре Клиши вертелись блестящие, звенящие карусели. В палатках, разбросанных по бульвару, толпились мужчины и женщины. Вокруг стоял смутный гул. Сергею бросилась в глаза короткая и выразительная надпись: «А д». Так называлось кафе. Рядом с ним,—заметила девушка,—было другое кафе—«Р а й». Сергей со своей знакомой решили начать с «Ада». Их встретили официанты, наряженные чертями. Подали сыр и вино. В это время из соседнего кафе, из «Рая», два архангела (у одного правое крыло было оборвано) привели в «Ад» апостола Петра для проповеди. Взобравшись на бочку, апостол обратился к чертям и их посетителям с речью о преимуществах Рая перед Адом. Дьявол, стоявший за стойкой, во-время подошел и стащил за шиворот апостола Петра с бочки. Едва подобрав полы своих многочисленных рясов, апостол удрал в какие-то маленькие двери, а дьявол встал на бочку и начал кощунствовать.

Девушка, с которой был Сергей, оказалась не француженкой, а испанкой и правсервной католичкой. (Она продавала на улицах Парижа, по преимуществу в рабочих кварталах, мороженое.)

— Мороженое! и такими горячими руками! — умилялся Сергей. Он не знал, о чем он должен с ней говорить, тем более, что видел, как недовольна испанка поношениями матери Марии и всех католических богов. Впрочем девушка из приличия хохотала над каламбурами чертей и ангелов.

«Конечно она—пролетарка, она безрелигиозна,—думал Сергей.—Она может быть прекрасным товарищем и поймет, что такое социализм, и, кто знает, может, мне суждено вместе с ней умереть на одной баррикаде в мировых боях».

Сергей умиленно глядел на Флеру — так звали девушку—и все ждал, когда же начнется с ее стороны то веселое, парижское, о чем он раньше читал и слышал. Он представлял себе, что будет так: она—легкомысленная и поверхностная—увлекает его. Он—целомудренный, идейный, сложный—убеждает ее стать на путь великой борьбы.

Но случилось не то. Девушка, никак не реагируя на его пропагандистские идейные разговоры, отвернулась от всех чертей и архангелов, потому что «грех на такое смотреть», и, склонив рыжую головку ему на грудь, до бесконечности доверчиво шепнула, что ищет тихого, некурящего и непьющего жениха, вот хотя бы такого, как Сергей.

Непьющий жених до такой степени перепугался, что поторопился расплатиться с гарсоном и до неприличия заторопил бедняжку Флеру итти.

— Куда?—спросила она.

Сергей растерянно ответил:

— На воздух из здешней духоты.

— Пойдемте завтра в костел!—предложила Флера.

— Что ж, пожалуй,— ответил Сергей, глядя, как заплаканная луна, на которую никто в Париже не обращает внимания, обиженно опускалась за крышу высокого дома.

Много силы воли нужно было Сергею, чтобы не рассориться с ней из-за разных пустяков в разговоре. С трудом проводил он ее до дому. Она все еще ничего не замечала за ним. И только, когда Сергей не пришел ни в костел, ни на следующее свидание, она написала ему письмо, полное упреков и заманчивых обещаний, если...

Сергея охватила почему-то тоска, словно он оказался в пустыне. И когда среди товарищей затевался разговор о женщинах, о проблеме семьи, любви и т. п., Сергей пуще прежнего протестовал, занимая самую вздорную позицию.

Как-то, возвращаясь вечером с работы, Сергей проходил мимо дома, где у столера Дюпле жил когда-то Робеспьер. Сергей взглянул в ворота. Узкий двор, мощный булыжником, темные стены,

высокие, узкие окна. Тут все так же, как было при Робеспьере.

Робеспьер любил одну из дочерей Дюпле — Элеонору, любил уединенные вечерние прогулки по Елисейским Полям... Значит, все это — серьезное, настоящее, важное. Значит, нельзя от этого отмахиваться. Быть может, это то и есть самое главное. Нет, самое главное — борьба за иную жизнь человечества.

Сергей поклонился дому Робеспьера и вздрогнул от суеверного страха.

Он пошел дальше. На площади, где тянулся высокий, длинный и каменный заводской забор, какой-то рослый парень с растегнутым воротом рубахи, в клетчатой кепке обнимал маленькую, черную, хрупкую француженку.

Заметив Сергея, детина отвернулся от девицы и радостно крикнул Сергею:

— Здорово, старина (французы, чтобы выразить дружественность, называют приятелей своих «мон вье» — старина).

Сергей узнал в нем секретаря союза каменщиков, который принимал его в синдикат (профессиональный союз). Сергей подал ему руку и только-что собирался открыть рот, чтобы заговорить с ним, как француз ловким движением повернул его руку так, словно сказал: «Не задерживайся, иди дальше, не мешай мне». Едва успел Сергей смутиться и неуклюже двинуться дальше, — француз опять все свое внимание отдал маленькой брюнетке.

Сергей снова задумался о своем одиночестве. Идейно он далеко не одинок. Наоборот: товарищей хоть отбавляй, но сердцем он одинок; оттого и самая идейная жизнь его носит особый отпечаток. Будь он на родине, этого не было бы.

И долго темными ночами Сергей анализировал себя, со всех сторон присматриваясь к своей жизни. Он решил: он должен быть там, на родине, где истекают кровью товарищи в неравной и тягчайшей борьбе.

Здесь — тлеть, там — сгореть. Лучше сгореть. Непременнo туда.

Его твердое и радостное решение было неожиданным для окружающих его товарищей. Они даже немного не понимали и относили это на счет его склонности

к бродяжничеству. Не будучи бродягой, Сергей однако охотно поддерживал эту версию: пусть.

Кроме того, Сергей знал, что ему ежеминутно грозит и другая опасность: в партии много провокаторов. И все-таки, несмотря ни на что, нужно безбоязненно работать, работать и работать.

### ГЛАВА III. СТАРЫЕ ТОВАРИЩИ

Явка у Сергея была к хрому Абраму. По профессии он был портной. Как большинство людей, физически пострадавших, Абрам был страшнейший оптимист. Он сам рассказывал о последних арестах, о том, что комитет арестован почти в полном составе, что найден склад литературы, что оставшиеся члены организации запуганы и боятся возобновить связи. Но—Абрам сверкал очками—все это восстановится, расцветет еще пышнее, нужно было бы вот только подлецов-провокаторов изловить.

Когда Сергей позволил себе скромно заявить, что это-то и есть самое трудное, Абрам закричал, что он лично каждого человека насквозь видит: провокатора определить—самое простое дело...

В общем решено было, что Абрам свяжет Сергея с оставшимися из комитета и на ближайшее воскресенье соберет массу за городом из лучших рабочих.

Сергею положительно негде было ночевать.

Первая ночь по его приезде из-за границы была теплая, и было вполне удобно и даже приятно поспать в нише одной маленькой часовни на окраине города. Но не всегда же будет стоять такая погода. И, кроме того, хотелось иногда умыться. Вот Абрам, но у него нечего помыть ни в коем случае нельзя: у его квартиры вероятно шпика... Но зайти к нему, посоветоваться еще раз было необходимо.

Когда Сергей отворил скрипучую дверь Абрамовой комнаты, были сумерки. Абрам спал. У дивана, на полу лежали две его ключки.

Сергей решил, что нельзя прерывать сон измученного работой человека. Лучше дождаться естественного пробуждения. Он осторожно притворил дверь и

сел за стол. Достал из кармана записную книжку, стал писать письмо своему другу Званову, который все еще был в ссылке. Сергей с гордостью сообщал ему, что он не выдержал за границей, писал своему другу о трудностях работы, о распространяющемся вокруг шкурничестве и мещанстве, о заволакивающей весь горизонт реакции.

«Да, но где я сегодня буду ночевать?» — такой фразой закончил Сергей свое письмо к Званову. И неожиданно он заснул сидя, но так же крепко, как Абрам.

Абрам как-раз в это время открыл мутные глаза и долго не мог сообразить, где он и почему тут же спит Сергей. Осторожно, ощупью достал Абрам свою ключку и посох.

Не вздувая лампы, он достал со стола хлеб, вчерашнюю холодную картошку и неизменную воблу. Сел на подоконник, чтобы виднее было, и стал есть.

Поужинав таким образом, он достал шкалик водки, выпил, закусил последним куском хлеба.

У Абрама была когда-то жена, она ушла от него, от безногого. Абрам никак не мог привыкнуть жить одному. Он не о жене горевал, он страдал от одиночества и поэтому был рад всякому живому существу в своем убогом жилище.

Абрам осторожно, ощупью обшарил шкаф, потом полку около умывальника, комод и нашел еще хлеба, постное масло, лук и воблу. Все это он разложил перед Сергеем. С превеликим трудом выдвинул из-под дивана маленький деревянный сундучок, достал оттуда чистое полотенце и положил его на спинку стула. Потом тихонько улегся опять на диван. Поднял единственную ногу, размотал портянку. Приподнял голову. Посмотрел на Сергея. Тот спал, как ребенок. Абрам вытащил из-под своей головы подушку и положил ее на стол. Потом стянул с себя одеяло и тоже на стол—для Сергея. И опять осторожно, на локтях приподнялся с дивана и, шаря руками, стал устраивать Сергею постель на полу.

Сергей встал, сделал шаг по направлению к двери, чтобы уйти, но запнул-

ся о приготовленную ему постель. Показалось приятно. И в самом деле: тепло, мягко и темно.

Сергею даже мысль в голову не пришла, кто ему проготовил постель.

Когда он проснулся, Абрам сидел за столом и пил кипяток с малиновым вареньем.

— Что же, что же это такое?! — весело сказал Сергей, полный силы и ощущения укрепившегося здоровья — Абрам, я тебя стеснил!

— Вот что, растабаривать мне долго некогда, я бегу. Можешь остаться еще ночевать, но, по-моему, это не безопасно для тебя. Если хочешь, для ночевки я тебе дам адрес одного интеллигента. Он сам — тоже парень активный, но конечно на более хорошем счету, чем я. Мы у него устраивали не раз ночевки.

— Кто такой? — Сергей зашнуровывал ботинки.

— Он законспирирован. Мы никогда не называем его по фамилии. Вообще ты не должен его самого спрашивать, а спрашивай его жену. Вот тебе его адрес, запомни (Абрам назвал улицу и номер дома), как придешь, спроси Екатерину Семеновну.

Сергей уставился было на Абрама удивленными глазами, но тут же подумал: «Не может быть, не она..»

Сергей понимал, что о ночевке надо позаботиться с утра, и отправился по только-что данному ему адресу.

Это оказалась хорошая, хотя и скромная часть города. Дом — особнячок цвета сливочного масла. Сергею открыла пожилая полная дама, вступившая с ним в разговор не раньше, чем он очутился в гостиной, маленькой, скромной, но с большим вкусом обставленной и украшенной.

— Мне бы Екатерину Семеновну, — сказал Сергей.

— Ее, к сожалению, нет, и она скоро будет. А вот ее муж сейчас придет. Вы можете его подождать.

— Благодарю вас, я подожду.

Скоро в гостиную вошел красавец огромного роста и прекрасного сложения — Алексей Репьев.

— Да ведь мы отлично знаем друг друга! — вскричал Репьев, протягивая Сергею руки.

Сергей очутился в объятиях Репьева. От Репьева веяло ветром, здоровьем, силой.

— Виноват, как теперь тебя.. вас называть?

— Имя прежнее — Сергей, а фамилия Захаров.

Но Репьеву это было все равно: он и без того забыл настоящую фамилию Сергея.

— А-а-а, теперь Захаров, — протянул он, — прекрасно, звучное имя!

Приятели немного замялись.

— Вы мне когда-то говорили, что женщины не любят, когда их любят, а сами женились, — Сергей хотел сказать это как шутку.

— Ну, знаете ли, со мной женщина исключительная, пойдемте-ка, я вас познакомлю с матерью. Вы давно ли? Откуда, собственно? — Сергей даже не успел сказать ему, что он пришел по указанию Абрама. По партии, по революции Репьев старше Сергея. Первые революционные впечатления Сергея связаны с именем Репьева. Это всегда поселяло некоторую робость его перед Репьевым. Сергей чувствовал себя немного связанным, неуклюжим, никак не мог найти правильного, ровного тона. А Репьев вел себя ничуть не покровительственно, наоборот, скромничал, умалчивал о своих заслугах, о трудностях работы, об опасностях.

Краснея, Сергей все-таки сообщил Репьеву, что он вернулся из-за границы с литературой и теперь хотел бы безраздельно отдаться революционной работе. Репьев аршинным шагом мерил ногами в сапогах ковры своей гостиной и шумно одобрял намерения Сергея. Цельный доклад сделал Сергей о положении дел.

Сели обедать.

Сергей все подкарауливал момент, когда удобнее всего было бы сказать о ночевке, и все не решался.

Потом, когда уже зажгли лампы, Репьев выразительно посмотрел на часы и сказал, что должен ехать немедленно на завод, где он работает как инженер-

механик, но что Сергей может оставаться у него сколько угодно. Вечером должна притти жена Репьева, и Сергей найдет в ней—надеялся Репьев—небезынтересную собеседницу.

Сергей начал куражиться, сылаться на то, что он должен непременно итти.

— Куда вам торопиться?—удивлялся Репьев.— Вам, поди, и ночевать-то негде! Знаю я вас, нелегальную ратию!

Сергей обрадовался—Репьев вывел его из смущения—и сознался, что ему действительно негде ночевать.

— Мама,—громко и сочно сказал Репьев,—приготовьте товарищу постель и все прочее, скажите Кате, я приду поздно. Если она хочет, пусть позвонит на завод.

Сергей, оставшись один, обратился к книжным шкафам Репьева. Они буквально ломились от фолиантов интереснейшей русской и иностранной литературы. Сергей принялся за Плеханова «Критика наших критиков» да так увлекся, что не заметил, как пришла молодая Репьева.

Она сразу узнала Сергея и, неслышно подойдя к нему,—Сергей сидел спиной к двери,—положила ему на плечо свою теплую, узкую руку.

Сергей, вздрогнув, оглянулся. Перед ним стояла Катя Свинцицкая, та самая, которую он знал много лет назад,—та самая, безусловно та! Только в ее глазах теперь светились уверенность, сила и вера. А в остальном... та же гибкость, та же доброта, те же покой и ласковость. Правда, под глазами у нее были две морщинки, но они только веселили лицо и делали улыбку ее чуть-чуть озорной.

— Так это вы... Екатерина Семеновна?

— Попрежнему: Катя,—просто, пожалуй, слишком просто, сказала она.

Тон ее заставил загрустить Сергея—и ему захотелось уйти. Поболтали они о незначатем. Катя вышла переодеться и потом помочь маме ставить самовар. Сергей сказал себе: «Погреюсь у чужого очага».

С этой мыслью он пил чай у Кати и мамы, с этой мыслью он рассказывал им о своих заграничных скитаниях, с этой мыслью он ушел в отведенную для

него гостиную—спать на диване, заботливо превращенном в постель руками Кати, той самой Кати...

Сергей лег, повернулся к стене. Долго слышал свое дыхание, слушал, как бьют часы на какой-то колокольне. Кровать была пышная, мягкая, простыня чистая, подушка пуховая. Перед сном Сергей выкупался в ванне. Но странно: сон бежал от его глаз! Ни чистота и белизна постели, ни свежесть проветренной комнаты, ни чистая вода—ничто не могло дать Сергею такого сна, каким он спал у хромого Абрама на ковре.

«У чужого огня, рядом с чужим счастьем»—все думал и думал Сергей.

Наутро Сергей освежился холодным душем и был, как и все в доме, тактичен и в меру говорлив. Репьев уходил рано. Сергей вошел в столовую в тот момент, когда он на прощанье поцеловал Катю и подошел к руке матери.

— Ах, вот и он,—сказал Репьев, как всегда, бодро.—Смотрите не приревнуйте меня к ней, вы, оказывается, за ней когда-то того...

Сергею неприятно было это «оказывается». Чего «оказывается», когда Репьев это вполне точно знал. Но самое худшее было то, что Катя даже не покраснела и смотрела открытыми большими глазами, словно перед ней был не человек, а монумент.

— Приходите к нам и сегодня ночевать, вообще не стесняйтесь. Катя вас любит,—проговорил Репьев, подал Сергею руку и вышел неспешно.

Дали Сергею хорошего кофе. Он поблагодарил за угощение, за приглашение ночевать и ушел в публичную городскую библиотеку. Там можно было спокойно заниматься целый день. А к ночи что-нибудь найдется.

Сергей отправился к металлисту Перову, которого знал еще до первой своей ссылки. Тогда Перов был статный, высокий, красивый человек, со смуглым лицом. Он любил франтить, любил тонкие тросточки, широкополую шляпу, веселье и риск. Удалой был пролетарий! Споров теоретически не выносил, зато любил практическое конспиративное дело и выполнял его прекрасно. Разбро-

сать листовки, отпечатать прокламации, организовать патрули, достать оружие, скрыть человека и самому скрыться—на это он был первый и удачливый мастер. Все такие дела он совершал даже с каким-то щегольством, как спорт. Он был настоящий борец-пролетарий, потому что отлично понимал смысл того, что делал. Несомненно, такого человека, если только он под влиянием разгрома организации не отстал, надо снова втянуть в работу. Для этого Сергей и отправился к нему.

Были густые осенние сумерки, когда Сергей подошел к деревянному, немного покачнувшемуся домику, выкрашенному в кирпичную краску. Оттолкнул не без труда оборванную дверь, обшитую кошмой, и очутился в большой, но низенькой и темной комнате, по грязному полу которой ползало четверо маленьких ребят. Рыжий кот мурлыкал на низеньком сундуке у окна.

— А где Перов?—спросил Сергей.

Дети испуганно смотрели на него и не отвечали.

Сергей перешел к наводящим вопросам:

— Он ушел наверно?

— Ушел...

— А придет?.. далеко ушел?

— Придет...

Сергей сказал коту «брысь» и сел на сундук писать записку Перову. В это время распахнулась дверь, и в комнату вошел сам Перов. Сергеем сразу бросился в глаза отпечаток времени на лице Перова: черные глаза ввалились, у рта морщины, лицо из смуглого сделалось зеленым. И весь он ссутулился. Но, увидав Сергея и узнав его, Перов, видимо, вспомнил свои удалые дни, выпрямился, бодро подошел к Сергеем, на глаза его навернулись слезы. Он с размаху поцеловал Сергея.

— Дорогой товарищ Перов,—растрогался и Сергей, потому что сам долго не был в таких теплых, родных объятиях,—как ты, что?

И тут же Сергей услышал запах водки, смешанный с луком и соленым огурцом.

— Да как! Вот видишь как,—Перов указал на детей,—везет мне: второй год

женат, и два раза по двойне, и все живы... Нет, нет... я люблю.—Он поднял на руки младшего, чумазого и черного, как арапчонок, мальчишку, вылитого отца.—Я их люблю... дети ведь, ничего не скажешь.

— Жена-то «наша» тоже?..

— А кто их разберет: бабы, они притворяются, что понимают наше дело. Они всю жизнь до гроба, суки, притворяются.

Перов опустил ребенка на пол, из кармана достал «косушку» (полбутылки) водки.

— Выпьем, пропагандист ты мой милый,—грустно сказал Перов Сергею и из другого кармана достал сухую воблу. Сергей подвинулся к столу. Он все как-то не решался приступить к главной теме—об организации. Перов сам вывел его из нерешительности.

— Вот, брат, тебе и партийная работа,—он показал на кучу детей, которые уже начали пицать и драться между собой, и на огромный ворох всякого тряпья, лежавшего в углу.

— Разве это мешает?

— А ты как, Сережа, думал? Мне например на хлеб нехватает, а работаем вдвоем, жена—в прачечной. Да опять беременна.

Сергей ничего не умел на это ответить: он, возбужденный водкой, произнес зажигательную речь.

Перов под влиянием той же водки и агитации тоже воодушевился и начал в самых отборных и горячих ругательствах клясть свою жизнь.

Он расплакался. Он готов у себя хоть склад литературы устроить, но не может.

— Свиристелка-то моя,—пояснял он про жену,—того и гляди, побежит в полицию. Она, дура, думает этим сохранить меня для детей... Ничуть не бывало...

Перов нежно гладил рукой осушенную бутылку...

— Ты прости меня, Сережа, но тебе пора итти, а то скоро придет... лаяться будет...

— Видишь, я думал насчет массовки,—тешил себя Сергей последней надеждой.



Перов сначала кисло поморщился, а потом сказал:

— Трудно, почти невозможно... А может... знаешь что, приходи в субботу в пивнушку, поговорим, выпьем. Да, вот я тебе еще дам связь, если хочешь. Ты, может, его помнишь—хороший рабочий, столяр, сызранский, мы его просто Петькой звали. Он от эсеров к нам перешел.

Перов несколько раз повторил адрес этого Петьки, а Сергей затвердил его.

— Прощай,—сказал Сергей тихо, грустно.—Ты, смотри, никому не говори: я—нелегальный.

— Что уж ты, чай, я не совсем расстался с прошлым, знаю, брат, знаю. Я еще вернусь... может быть.



Массовка состоялась. Отыскались два «завалывшихся», не попавших в руки жандармов комитетчика. Работа стала разворачиваться. Организовано было три кружка и маленькая техническая группа для выпуска листовок. Сергей вошел в эту группу. Она была особенно законспирирована. С ней сносился от комитета один только Роман Малиновский, но и это обставлялось весьма надежно. Так, с Малиновским изредка виделся только Сергей, и то в музеях и в картинной галлерее.

Малиновский сообщил Сергею, что имеется зарытая где-то типография, что хорошо бы возобновить работу печатного станка.

Сергей решил, что для этого дела будет подходящ тот самый сызранец Петька, о котором говорил Перов.

Петьку Сергей знал раньше. Это был немного замкнутый, немного излишне аккуратный, но преданный революционер. Он всегда стремился мыслить, критически воспринимать действительность. В этом отношении он являл полную противоположность Перову. Петька всегда стремился к постижению теории, к тому, чтобы самому придумать, обмозговать каждое положение.

Вспомнив адрес, Сергей направился к Петьке.

Старушка, у которой жил Петька, сказала, что ее жилец возвращается очень поздно: он после работы уходит ежедневно заниматься в публичную библиотеку, и, пожалуй, там его можно застать теперь.

«Похвально»—подумал Сергей и тяжелой походкой направился к библиотеке.

Между длинных, приятно освещенных столов он очень скоро отыскал Петьку. Перед ним был раскрыт учебник геометрии для средних школ.

Петька не сразу узнал Сергея: как никак три года прошло. А узнав, снисходительно улыбнулся и молча направился с Сергеем в коридор.

— Ну, как там, загармоницами-то?—сказал он, делая по возможности вежливое лицо.

— Да так себе.

— Пролетарии-то наверно пообразованнее наших?

— Ничего подобного,—горячо ответил Сергей.

— Ну, это вы что-то неладное, неверное.

«Вы» резнуло ухо Сергею. Рабочие, где бы они ни были, на всем земном шаре своим товарищам по работе или по революционной борьбе всегда говорят «ты», а этот — на поди...

— У нас—безграмотность, а там—обязательное обучение.

— Не везде, да и само по себе оно уж не так много стоит... А вы что подельваете?..

— Сдал весной за четыре класса гимназии, получил звание аптекарского ученика, а теперь готовлюсь на аттестат зрелости. Перегоним вас, интеллигентов...

— Как говорится: подавай бог,—Сергей нарочно пускался в небрежный тон. Он понял, что все равно с Петькой больше не о чем говорить.

— Вам что? Может быть, ночевку?—спросил Петька, чтобы уразуметь, за чем его потревожил Сергей.

— Да,—испытующе ответил Сергей

— Не могу, дружище, честное слово не могу. Вы на меня не сердитесь. Я ведь сам недавно из тюрьмы, год крепо-

сти отчубучил. Хочу самообразованием заняться.

— «Науки юношей питают, утеху старцам подают», — сказал Сергей ему вместо «до свиданья» и прибавил: — Так-то, товарищ аптекарский ученик.

— Постой, постой, — закричал ему вслед Петька. — Это — классовая борьба между мной, как пролетарием, и тобой, как интеллигентом. Вы, интеллигенты, сложились в касту мудрецов и не хотите никого допустить в свою среду. Поэтому каждый рабочий, который хочет стать на самостоятельные ноги, априори противен вам.

— Априори — нет, вы, товарищ, говорите «априорную» неправду, и странно слышать подобное утверждение из уст марксиста.

— Я — марксист эмпирио-критической школы...

— Оно и видно. Прощайте.

— Не сердитесь, товарищ Сергей, ей богу, не могу дать ночевки.

Расстались.



На помощь Сергею пришел восторженный Абрам. Он сказал, что знает сугубо и исключительно конспиративного человека, довольно старого, но очень молчаливого партийного работника, типографа Фому Фомича Фомкина, которого среди товарищей звали — должно быть, по обилию «Фо» в его имени, — просто Фо-Фо. Его и Малиновский лично знал, — словом, полное партийное ручательство. Знали его и солидные комитетчики, как например известный переводчик Маркса Иван Иванович и другие.

В общем дело пошло как будто на лад. Работать было тем радостнее, что с этого года стала заметно нарастать волна революционного движения. В особенности бурлил тогдашний Петербург. Движение стало для царизма прямо угрожающим, когда на золотых принисках в Бодайбо жандармский ротмистр Терещенко расстрелял толпу стачечников.

В то время как Абрам, Сергей, Фо-Фо, Дугач, Малиновский, Репьев и да-

же Перов и многие, многие большие, средние и технические работники сплачивали вокруг красного знамени силы, вносили сознательность в рабочее движение, правительство из всех сил стремилось разложить это движение. И для этого оно располагало одним дрянненьким орудием школ французского сыска — провокацией.

## ГЛАВА IV. КОШКИ-МЫШКИ

В низенькую, но просторную, зелено-го цвета комнату ввели на допрос Петьку сызранского, аптекарского ученика по аттестату, а по профессии — столяра.

Испуганными глазами Петька внимательно обвел всю комнату, но не нашел в ней присутствия человека. Сел в кресло. Через минуту, не вытерпев такого одиночества, обратился к жандарму, который его ввел и, по правильному расчету Петьки, должен был стоять у двери.

— Господин вахмистр, а скоро придут?

— Я не вахмистр, а унтер. Не знаю.

— Мне бы пить, что-то хочется...

— Уж не самоварчик ли вам прикажете? И что это за напасть: как кого приведут к допросу, так сейчас же пить!

— А кого же приводили? — хитренько полюбопытствовал Петька.

Унтер смерил его с ног до головы и закрыл перед ним дверь. Хотелось Петьке подойти к письменному жандармскому столу, посмотреть, что там, но боязно: вдруг за ним подглядывают, нарочно одного оставили, играют, как с мышкой (недаром же начальнику жандармского управления фамилия была Кошко), еще новое дело создадут. Если же Петька будет сидеть скромно, то никакого дела предъявить ему нельзя. В революционной работе он с тех пор, как вышел из тюрьмы, не принимал никакого участия. Очевидно, жандармы «замели» его по старой памяти. А может быть, какой прохвост, сделавшийся теперь провокатором, из личной мести закатил его?.. Но раз Петька действитель-

но чист, как кристалл, его должны после допроса непременно освободить. Допрос выяснит полную его непричастность. Вот только этот роковой визит к нему в библиотеку нелегального Сергея!? Этот неосторожный поступок мог вызвать подозрения у жандармов. И зачем такие люди, как Сергей, бегают из ссылок, скитаются по заграницам и потом ходят, ищут ночевки, а в результате только других подводят? Впрочем что ж: ведь Петька ему не дал ночевки, только разговаривал с ним, и то всего-навсего один раз. В конце концов Петька мог и не знать, что Сергей—нелегальный. Безусловно, он этого не обязан знать и не знает. Не знает, да и все тут.

Петька сидел лицом к окну, спиной к двери. Он не видел, как вошел худой, желтый ротмистр с мускулистым и скуластым лицом. Ротмистр сделал вид, что не заметил сидящего, и прошел деловым шагом к столу. Сел и стал разбираться в бумагах будто бы наедине с собой. Петька смутился и кашлянул. Ротмистр поднял на него свои усталые глаза.

— Простите: я не заметил. Этот болван унтер меня не предупредил. Не угодно ли закурить? — подставил портсигар.

— Я не курю.

— Конечно, как все истинные социал-демократы!

— Я, как вам вероятно известно, совсем не социалист и никогда им не был.

— Ну, ну, простите меня: не будем пререкаться. Я ведь знаю, что ни один допрашиваемый не скажет про себя, что он—член организации, социалист и т. д., если только он не провокатор. Ну, а с этим сортом людей я брезгую разговаривать. Грязные типы. Не правда ли, если сейчас он предает и продает вас, то завтра предаст и продаст нас? Верно?

— Положительно.

— Вы простите, уж коли вы здесь, давайте напишем протокол. Вот сначала заполните эту скучную часть: имя, отчество, где родились, образование, национальность и прочие никому ненужные вещи. Пожалуйста. А я пока поработаю.

Он подал Петьке лист бумаги, на котором были вопросы, а сам стал рыться в своих папках.

Петька аккуратно все записал. В рубрике образования поставил: «каптекарский ученик, готовлюсь на аттестат зрелости».

Какой-то ядовитой змейкой вплелась Петьке мысль, что все-таки ротмистр, не в пример другим, очень культурный.

— Я написал,—сказал Петька.

— Благодарю вас. Простите, сию минутку... Целую кучу рапортов должен просмотреть,—говорил, роясь в бумагах, ротмистр,—удивительно скучно...

— Может, мне итти?

— Момент, сейчас...—Ротмистр быстро пробежал глазами то, что написал Петька. — Вы, оказывается, не простой рабочий. Как это приятно иметь дело с человеком, стремящимся к образованию, стремящимся стать в ряды людей интеллигентных и мыслящих. Чем скорее вы придете к научному мышлению, тем скорее отойдете от крикунов, которые портят свою собственную жизнь и жизнь других.

— Да я и так от них далек.

— Но в крепости-то все-таки сидели. с эсерами связаны были, замечены...

— Я вас уверяю, что теперь я от этого отошел...

— Значит, были там?

— Нисколько.

— Ну, хорошо, я не буду пользоваться тем, что вы проговорились. Раз вы хотя бы там были, значит, знаете многое, во всяком случае больше, чем мы, которым приходится пользоваться только сведениями агентов, в большинстве случаев людей невежественных, путающих марксистов с эсерами, эсеров с анархистами и т. п.

— Но что вы от меня, собственно, хотите? Я вашим агентом ни в какой мере не собираюсь быть.

— Об этом и речи быть не может, даже если бы вы сами мне предложили. Мой принцип—культурное выяснение правды и тех, может быть, заслуживающих удовлетворения нужд, которые испытывает рабочий класс. Например

свобода стачек—вещь назревшая. Если бы у нас она была, то не было бы этой ужасной истории в Бодайбо.

— Совершенно верно...

— Вы за политические свободы?

— Я в стороне от этого.

— Как же так, вы сейчас сказали, что вы за свободу стачек, а это—одно из требований социал-демократии... Но, повторяю, не буду пользоваться вашей откровенностью. Итак, мы с вами оба—за свободу стачек, за республиканский строй.

— Только вы—допрашиватель, а я—допрашиваемый.

— В сущности, разница небольшая: когда вы возьмете власть, положение будет обратное. Не правда ли?

— Все может быть.

— Значит, мы—борющиеся стороны, борющиеся благородно, т.-е. мы ищем компромисса. Если бы вы мне сочли удобным сказать, какие сейчас требования и лозунги циркулируют в рабочем классе, в организации,—это и было бы платформой для обсуждения возможного удовлетворения рабочих требований. И вы в этом деле, как культурный рабочий, сыграли бы выдающуюся роль.

— Я уже вам заявлял, что я не знаю, я не соприкасаюсь с этой средой, ни с эсерами, ни с эсдеками.

— Так соприкоснитесь! В чем же дело?! Я первый вам дам связи, да впрочем вы и без меня их имеете немало.

— Оставьте меня в покое: я хочу учиться.

— Одно другому не мешает. Как развитой рабочий, вы даже будете пользоваться влиянием в среде пролетариата. А мы вам поможем экзамен сдать на аттестат зрелости.

— Нет, уж от вашей помощи увольте.

— Как хотите, не настаиваю. Я говорю это потому, что вижу с вашей стороны горячее стремление стать настоящим человеком и действительно принести пользу труду, борющемся с капиталом. Я вас считал на голову выше вашего приятеля Абрама. Кстати, как он поживает?

— А я почему знаю?

— Ну, уж это нехорошо: ведь вы же с ним в одной камере сидите, имеете возможность беседовать каждый день. Ничто меня так сильно не поражает в вас, господа социалисты, как вот такая бессмысленная ложь!

— Я нисколько вам не врал, как вы думаете. Я в самом деле с Абрамом не разговариваю. Они все теперь меня бойкотируют.

— И Сергей?—вставил ротмистр.

— Конечно и он. Положительно все! За то, что я отошел и занялся науками.

— А они—революцией?

— Я этого не говорю.

— Но это вытекает из ваших слов. Даже и с этой точки зрения для вас было бы полезно связаться с ними. Они бы прекратили бойкот, включили бы вас в организацию.

— У них вероятно никакой организации нет.

— Ой ли?! Тогда бы они вас не бойкотировали. За одно занятие науками не бойкотируют, а вот если вы отошли от революционной работы, которой они заняты, то—тут я согласен с ними—это нехорошо с вашей стороны, нехорошо покидать товарищей в борьбе, не по-рыцарски это, некультурно даже, если хотите.

— Я вас прошу освободить меня.

— Сейчас. Я только хочу для себя набросать сущность нашей беседы.

— Да зачем же это?

— Вот тебе раз: у меня с детства привычка—записывать всякий интересный разговор. Поверьте, если бы вы были ординарная личность и разговор с вами не имел бы ничего интересного, я не записывал бы. Даю вам слово.

При этом ротмистр нажал невидимую кнопку на столе. Вошел унтер.

— Отведите в камеру,—быстро сказал ротмистр.

Петька встал, очень вежливо поклонился и вышел в недоумении за унтером. Тот отвел его в узенькую комнату, камеру при жандармском управлении, потом туда на подносе принесли довольно вкусный ресторанный обед. И книги—из библиотеки жандармского управления. Книжки были Шеллер-Михайлов и

Боборыкин. Затем принесли на подпись Петьке застенографированный его разговор с ротмистром. Петька отказался подписать, возмутился. Унтер покорно пожал плечами и ушел с протоколом. Вечером Петька стал укладываться спать.

Постель была мягкая, после хорошего обеда и тюремной койки спалось прекрасно. Наутро Петьку разбудил сам ротмистр. Лицо его было еще культурнее вчерашнего. В руках он держал протокол, который Петька отказался подписать. Ротмистр держал его, словно проситель, готовящийся подать ходатайство губернатору.

— Простите за беспокойство. Меня до глубины души огорчил ваш отказ.

— Боже мой, это же невыносимо— вы меня все время допрашиваете.

— Я с вами корректен.

— Мы с вами вели частный разговор.

— Хорошенький разговорчик в стенах жандармского управления. Элементарная порядочность и культурность требуют того, чтобы вы подписали. Вы или должны были молчать, или обязаны подписать все, что тут застенографировано с ваших же слов. Я понимаю, если бы мы вас заставляли подписать что-нибудь такое, чего вы не говорили... Полно вам, подпишите и впредь с жандармами не разговаривайте. А мне это нужно по службе. Я обещаю вам, что дальше моего портфеля ваши показания никуда не пойдут. Но я—тоже человек да еще на казенной службе. Поэтому, если не подпишете, придется принять по отношению к вам такие меры, о которых вы даже и не мечтаете. При этом вы будете переданы в руки грубых и беспощадных людей, а меня больше не увидите. Подпишите вашу правду, в ней ей-богу, ничего нет особенного.

— Дайте, я прочту.

— Извольте.

— А вы меня освободите, если я подпишу?

— Непременно: ведь мы выяснили, что вы действительно к организации никакого причастия не имеете. Ваш арест—

сплошная ошибка, вытекающая из невежественности наших агентов.

— Мне кажется, что в моих словах есть немного предательства... Выходит, что меня бойкотирует организация, а в организации этой — Абрам и Сергей, потому что про них сказано, что и они меня бойкотируют.

— Мы на таких умозаключениях обвинений не строим. А потом я ведь вам обещал, что дальше моего портфеля ваши показания никуда не пойдут. Ваша подпись—только проформа, чтобы скорее вас освободить.

— Нет, я не смогу подписать: там есть много предательства!

— Не желаете? Как угодно. Имею честь кланяться. Долго не видать вам свободы.

— Послушайте... А если... У вас есть ордер на мое освобождение? У меня на воле невеста...

— Как же, как же, знаю: Настасья Ивановна Зарядина, черненькая, прекрасно сложена, видимо, добрая...

— Откуда вы это знаете?—Петька растерялся окончательно.

— Вот видите, мы знаем. Поэтому мне лично и хотелось бы вас не задерживать в тюрьме неповинно и зря. Но формальности, формальности...

— Покажите мне ордер на освобождение!

— Поздравляю вас: вы мне не верите? Этот ордер я напишу на любом клочке бумаги, потому что освобождение зависит от меня. Извольте, не будем терять времени. Вы уже пили кофе?

— Нет еще.

— Ах, лентяй! — ротмистр открыл дверь и крикнул унтеру:

— Скажи постовому, чтобы принес кофе господину, да поскорее, лодырь!.. Петька тем временем трясущейся рукой подписал...

— Благодарю вас... Я могу вас сегодня освободить, если желаете, но боюсь, что ваши товарищи Сергей, Абрам, Репьев и пр., пожалуй, станут вас подзревать в нехороших делах. Им покажется странным, что вас так скоро освободили. Поэтому мой совет: подождите недельки три. Но впрочем, как хоти-

те, дело ваше. Если вы не боитесь подозрений на вас,—прикажете: я напишу ордер на освобождение хоть сейчас. Мой совет, как опытного человека, посидеть немного. Мы пустим к вам на свидание вашу невесту, разрешим передачу, даже переписку с невестой, если только вы будете держать в секрете от ваших товарищей, опять-таки из тех же соображений, о которых я вам намекал.

— А долго ли сидеть-то?

— Зависит от вас. Дело всей этой компании кончится, думаю, недели через три-четыре. Я бы думал так: мы устроим вам через две недели еще вызов сюда. Вы скажете вашим сокамерникам, что едете на допрос. Погостите у нас, пригласим к вам невесту и потом, спустя еще дня три, освободим. Это—самый лучший план.

— А вы знаете, господин ротмистр, что меня уволили с того места, где я работал?

— Да, но уж тут я бессилен. Итак, до свидания—через две недели, и потом освобождение. Только в ваших же кровных, жизненных интересах никому из ваших и даже вашей невесте ни гу-гу о том, что вы у нас на особом положении.

Ротмистр показал Петьке свой лысеющий пробор и скрылся.

Петька рухнул на кровать, повторяя про себя в смутном ужасе: «На особом положении», но внесли горячий вкусный кофе, румяные, мукой обсыпанные калачи.

Седой неуклюжий вестовой, принесший это, был добр, как дедушка.

Ротмистр Кошко вел две записки изодня в день: одну, краткую,—для себя, другую—для департамента полиции. Департаменту полиции он писал про Петьку:

«Повидимому, скоро будет завербован. Мне удалось получить от него такие показания, которые подтверждают правильность наших агентурных сведений, а именно: «Сергей» по приезде вошел в организацию, организация и ее комитет восстановлены, к работе привлечен и Абрам, известный нам по предыдущей переписке, и Репьев, и Перов. При помощи показаний, которые мне

удалось добыть от Петра Сырова, мы его заставим войти в связь с организацией и давать нам информацию о ее работе».

У себя же, в маленькой клеенчатой записной книжке, отметил:

«Я думал, что Петька умнее и будет дольше сопротивляться, а он повалился в мои руки, как водянистый кисель с опрокинутой тарелки. Сознательный «фармацевт» тоже...»

## ГЛАВА V. ТИПУН

К тому же Кошко был приглашен на допрос Перов. Этот вошел шумно,—вращал глазами, делал какие-то движения плечами, словно на них грязь налипла.

— Что еще вам?—спросил он ротмистра.

— Садитесь. У вас много детей?

— Не ваше дело.

— Мне это нужно для сведений.

— А я говорю—не ваше дело.

— Если вы в таком духе будете со мной разговаривать, я попрошу вас вывести.

— Это будет самым лучшим,—и встал.

— Ну, ну, успокойтесь, садитесь,—мягко сказал Кошко.

— Я спокоен, как блин. Может быть, в а м валерианки?

— Ну-с, начнем допрос. Предупреждаю вас, что нам от вас нужна только правда. Вы, я вижу, человек храбрый и практический. Если у вас хватит гражданского мужества рассказать всю правду про вашу организацию, про ее личный состав, про ее связи и средства, тогда вы немедленно отсюда же пойдете на свободу. Если же вы будете лгать, упираться, врать и т. д., то останетесь надолго в тюрьме. Тем временем ваши дети успеют пойти помиру с сумой или перемерут с голода в ожидании своего отца, который так мало о них думает. Мой искренний человеческий совет вам поэтому отойти от этого дела раз и навсегда, не связываться с верхоглядами которым нечего терять. Вы должны в корне изменить свою жизнь, быть чест-

ным тружеником. И лично я, как человек, который сам перенес немало нужды, в этом вам помогу всемерно. Вы нам скажете, из кого состояла организация...

Ротмистр не заметил, как под воротом рубашки Перова надуваются жилы, как лицо его темнеет, наливаясь черной кровью. Не успел окончить ротмистр, как Перов с быстротой тигра схватил со стола хрустальную чернильницу и со всего размаха бросил ее в лицо ротмистру. Тот не успел даже крикнуть о помощи или нажать кнопку, а только отскочил в простенок между книжным шкафом и окном. Перов встал, плюнул ротмистру в лицо, сам открыл дверь, заорал:

— Эй, вы, свистуновы, спасайте вашего начальника: он осмелился пролетарию предложить быть провокатором!—Перов добавил при этом еще одно известное ветвистое слово...

Прибежали унтер и вахмистр. Из простенка вышел ротмистр. По его синему мундиру с белыми аксельбантами в три ручья стекали чернила, а с переносицы в рот—плевок Перова. Ротмистр был бледен, как бумага. Лицо его искажалось, он едва слышно проговорил:

— В карцер, в карцер его, в карцер негодяя!

— А я бы тебя, подлеца, не в карцер, а повесил бы... Я бы...

Унтер и вахмистр опытно заткнули рот Перову тряпками и отнесли его в темный, безоконный подвал.

В самом интимном дневнике ротмистр записал о Перове: «Типун бы тебе...» Дальше ему не хотелось ничего писать.

Сергею в тюрьме жилось не скучно. В камере сидел он вместе с одним молодым эсером, обвинявшемся в покушении на жизнь прокурора. Фамилия юного террориста была Серебрянников. По натуре это был веселый и озорной мальчик. У него откуда-то завелся нож, что никак не полагается иметь арестанту.

Этот настоящий, хороший столовый нож Сергей и Серебрянников прятали в печку-голландку: там вынимался один кирпичик. Надзирателю не найти.

Из озорства Сергей и Серебрянников к вечерней и утренней поверке, когда начальство обходило тюрьму, приготавливали целую тарелку тонко нарезанных ломтей хлеба и сыра.

Начальство спрашивало:

— Где достаете нож?

— Нигде, — смеясь, отвечали политики.

— А чем же вы режете?—громовым голосом вопрошал «старший», огромного роста, с лицом ломовой лошади.

— Ниточкой, — язвительно отвечал ему Серебрянников.

Однажды старший решил проверить, можно ли в самом деле ниточкой так нарезать хлеб. Он пыхтел, потел: хлеб не резался. Серебрянников тоже (давя в горле хохот) потрудился немало, чтоб доказать недоказуемое. Старший решил внимательно следить за озорниками и то и дело сам посматривал тихонько в прозурку камерной двери. И однако на следующей поверке начальство опять обозревало изящно нарезанные ломти, со злобой дивясь тюремному чуду.

Перов сидел как-раз под камерой Сергея. Между камерами была непрерывная связь, устроенная Серебрянниковым: он изловчился, опустил из своего окна в окно камеры Перова темную, незаметную на стене нитку, к которой по мере надобности привязывалась маленькая записочка либо от Перова к Сергею, либо обратно. Если Перову нужно было, чтобы Сергей подтянул нитку вверх, Перов осторожно стучал в потолок половой щеткой. Тогда Сергей или Серебрянников тянули нитку вверх и получали записку. При обратном движении корреспонденции сверху стучали Перову, и тот тянул нитку вниз. А нитка была устроена по принципу непрерывного вращения, как трансмиссия, на катушках.

Перов долго не возвращался с допроса. О нем стали сильно беспокоиться. Только через две недели Сергей и Серебрянников учили снизу осторожный стук щеткой. Быстро подняли нитку.

Перов писал:

«Жандармы меня мучили предлагали провокацию сам кошко конечно я ему

в харец шандарахнул чем то да еще наблевал в мурло дескать вот тебе медаль от пролетария за то меня все дни держали в карцере кормили селедкой и не давали пить два раза по ночам пугали будто вешать ведут я их конечно крыл с высокой полки но имейте ребята ввиду что эта сволочь добивается того то из нас сделать предателем предлагаю товарищам на допросах отказываться отвечать вовсе все равно каждому обеспечена архангелка или нарым как чувствуешь себя Сергей ходят ли к тебе кто на свиданку неужто все время один без передачи твой перов».

Через полчаса вся политическая тюрьма знала, что жандармы предлагают провокацию и прибегают к утонченным пыткам.



Следующим на допрос пошел Репьев.

Сергей и Серебрянников слышали его приятный бархатный баритон из коридора, снизу.

— Я пешком не пойду... А что, прислали лошадь или эту собачью клетушку для арестантов? Можно вас просить, господин помощник, если придет жена, передайте ей, что я в гостях у жандармов...

Репьев говорил неторопливо, по-барски. Сергей так и представлял себе всю его фигуру: молодецкий высокий рост, благородная осанка, немного выдающийся вперед подбородок, горбатый нос, гладко выбритые щеки, умные, немного презрительные зеленые глаза, высокий лоб и удивительно красивые руки.

Значит, и до Репьева очередь дошла.

Репьев вошел в кабинет Кошко неприужденно, как истинно светский человек. Поклонился. На пригласительный жест мягко опустился в кресло. Предложили закурить. Закурил. Кошко посмотрел на него пристально. Молчали.

— Вы уже однажды привлекались? — спросил наконец ротмистр.

— Совершенно верно.

— За принадлежность к Российской социал-демократической рабочей партии, поставившей себе целью ниспровержение существующего в России строя. При чем вы обвинялись в том, что при-

мыкали к левому, большевистскому крылу названной мною организации.

— Да, все это в обвинении, а затем и в приговоре так и было сформулировано.

— А вы отрицаете свою принадлежность?

— Я не принадлежу ни к какой революционной партии.

— Мне известно, что у вас у всех есть правило, прием—отрицать свою принадлежность, ибо таковая карается, согласно 102-й статье, каторжными работами либо, как минимум, вечным поселением.

— Я и в самом деле не принадлежу...

— Вы находитесь в связи с нелегально приехавшим в Россию из-за границы Сергеем. Вы находитесь также в связи с рабочими Перовым, Абрамом и другими, вместе с ними вы составляете комитет социал-демократической партии, фракции большевиков.

— Блажен, кто верует, тепло ему на свете,—независимо ответил Репьев.

— Вы это про кого? — искренне не понял Кошко.

— Про вас, ведь вы всему перечисленному вами верите.

— Простите, если бы я верил, я бы вас не допрашивал.

— Так я уже вам сказал, что все ваши сведения—ерунда на постном масле.

— Господин Репьев, прошу вас выбирать выражения.

— Я именно это и делаю: специально выбираю нечто подходящее для учреждения, которое вы представляете.

— Вы будете лишены свидания с женой.

— Жаль, но ничего не поделаешь. Будем переписываться.

— И переписки лишу,—раздражался ротмистр.

— Ну, положим без основания к тому вы не имеете права,—равнодушно, как бы про себя, сказал Репьев и закурил вторую папиросу, заложив ногу на ногу.

— Скажите... сколько раз вы виделись с Абрамом?

— Дайте, пожалуйста, мне лист бумаги, я все там напишу и избавлю себя и вас от ненужной комедии.



— Бумага? Извольте? Что же вы собираетесь писать?

— А вот увидите.

Репьев пододвинул себе большой лист бумаги, немного поморщил лоб, снял с пера волосок, сдул пыль и пепел со стола, чтоб не запачкать локоть, и размашисто написал:

«Отвечать на какие бы то ни было вопросы господина ротмистра (в этом месте он поднял свои зеленые большие глаза и спросил: «Как ваша фамилия?»— «Это еще вам зачем?»— встрепенулся ротмистр, вскочил и обошел стол, чтоб прочитать, что пишет допрашиваемый. А тот тем временем ответил: «Ну, все равно») отказываюсь вовсе. Мог бы отвечать лишь на публичном суде. Алексея Репьева».

— Это—безобразие,—ротмистр вырвал из-под рук Репьева написанный им лист,—это неслыханно, нагло, неприлично. Как вы смеете?!

— Мое неотъемлемое право.

— Почему же на суде вы соглашаетесь отвечать, а здесь нет? Ведь суд тоже, собственно говоря, «мы».

— Это верно, но там не делают подлых предложений стать провокатором и не заманивают людей на опасный путь сначала невинного, а потом и серьезного предательства.

— Ах, молодой человек, в каком вы заблуждении, как мне от души вас жалко! Я готов вашему отцу, которого мы все уважаем, написать письмо о вас. Посмотрите на себя: статный, высокий, красивый барин, породистый дворянин, способный человек, вероятно в будущем ученый с крупным именем, который мог бы человечеству дать не одно открытие, который расширил бы горизонты мысли и знаний человека, оказывается, увлечен низкими людьми бог знает в какую трущобу. Ну, кто такой этот Абрам, несчастный портной, горизонт которого—штаны и пиджаки? Кто такой этот Малиновский, Перов, другие, даже этот Сергей—недоучка,—все они ногти вашего не стоят, вы, человек с родом и с самостоятельным именем, увязались с этими...

Говоря так, ротмистр расхаживал по

комнате, но в этом месте вдруг остановился, потому что услышал тихое пошвыстывание арии «Если красавица...».

— Вы что, вы что это?—недоуменно спрашивал он Репьева.

— Это аккомпанемент к вашей мелодекламации,—ответил невозмутимо тот.

Ротмистр на каблуке сделал «кругом марш», открыл настежь дверь и крикнул:

— Вахмистр, отправьте арестованного обратно в тюрьму.

— Слушааась,—раздался из темноватого коридора сиплый, услужливый голос.

Ротмистр отметил у себя: «Свистун», а начальству рекомендовал отдать Репьева под надзор... родителей...

## ГЛАВА VI. ИУДА

Через несколько дней перед тем же ротмистром предстал Малиновский.

Тоже человек немалого роста, гордый, орлиный вид, мутные глаза, немного веснушчатое лицо, кудреватая красивая голова.

Допрос начался с обычных вопросов.

У Малиновского дрожала рука, когда он писал. Лицо его менялось то и дело от разных вопросов, которые ему ставили. В общем Малиновский, как и другие, отрицал свою принадлежность к какой бы то ни было «преступной» организации.

— А вот один из ваших товарищей предал вас всех. Мы знаем, что и вы входили в организацию, играли там видную роль и собирались даже ехать за границу. Не бледнейте!

Хотя Малиновский и не бледнел, но от этого «ободрения» и в самом деле побледнел. Ротмистр продолжал:

— Ваша организация бойкотирует тех прежних работников, которые теперь не примыкают к ней. По своему приезду Сергей видался со всеми вами, а в первую голову с Абрамом—этим воодушевленным организатором. Ведь обо всех этих людях вы нам сами когда-то достаточно порассказали. Чего же вы теперь упираетесь?

— Нас никто не слушает?—встрепенулся Малиновский.

— Конечно нет.

— Вы иногда стенографируете разговоры. Разрешите мне с вами обойти соседнее помещение.

— Ради бога,—ротмистр щелкнул шпорами, и они пошли.

В темном коридоре ротмистр близко подошел к Малиновскому и сказал ему:

— Не бойтесь: в вас мы видим серьезного друга и ничего плохого не сделаем.

— Но имейте в виду, что наша дружба не должна быть основана на предательстве: я предавать никого из моих товарищей не намерен.

— Помилуйте, мы этого и не требуем, и не можем требовать. Нам важно, чтобы вы осветили нам лишь деятельность организации, время ее возникновения, политический характер и размеры ее влияния,—рабочая она или интеллигентская.

— Только это я могу, а больше, больше ни о чем меня не спрашивайте. Почему я так поступаю?..

— Да это неважно... (Они возвратились в кабинет.)

— Нет, важно. Я, как уже вам говорил, не верю, не верю я в эти ихние дела, но в каждого в отдельности, в его искренние стремления, в его преданность идее, наконец в его веру я верю и поэтому ни одного имени не назову...

— И прекрасно. Скажу вам по секрету, что имена участников нам сообщает один из тех ваших товарищей, которого вы считаете наиболее преданным и наиболее верным.

Малиновский совсем скис, сжался в кресле и, пряча дрожащие руки в карман, спросил:

— Кто же этот негодяй?

— Разрешите не называть фамилий, мы тоже не хотим предавать... Он рассказал полностью о составе вашей организации, о том, как вы собирались ставить типографию, как подыскивали для этого людей.

Дрожь начинала пробегать по спине Малиновского. Он покачал головой и как бы про себя:

— Цену показаний этого вашего... я могу взвесить только тогда, когда вы

мне назовете его. Может быть, вы добились эти сведения от филеров?

— Если вы настаиваете, извольте, скажу, но только под условием, никому ни слова, а впрочем дело ваше: с предателями и в самом деле надо расправляться. Фамилия его—Перов.

— Не может быть, дайте мне его показания!

— Ну, уж это извините. Верьте или не верьте, дело ваше. Вся ваша только что возникшая организация у нас—как на ладони.

Глаза Малиновского,—уже не орлиные, а скорее совиные, круглые, пустые,—бессмысленно устремились в одну точку—на аксельбанты ротмистра, на его грудь, которая дышала так спокойно, почти величественно. «И что, в сущности, нужно человеку? Вот это спокойствие—самое главное в жизни, которая, вдобавок ко всем прочим неприятностям, так чертовски коротка. Как же выйти из беспокойной жизни, из этих отуманивающих голову Малиновского споров, из вечного дрожания, из боязни, что кто-то предаст тебя? И потом самое тяжелое—это момент, когда, как вот сейчас, узнаешь, что самый, казалось бы, надежный и верный не только товарищ, но даже друг оказался предателем. Нет, этого почти невозможно вынести. Рука сама найдет револьвер... Тяжко. Во что бы то ни стало—вон из этого мрака! Революция—стихия, притти—так сама придет. И уж во всяком случае не кружковые крысы станут ее руководителями»—такого рода мысли пронеслись в голове Малиновского, и, как апокалиптический звериный знак, надо всем этим огненными буквами пронеслось: «Перов! Перов! Перов!» Кому же после этого верить!? Да и в самом деле, что то подозрительное рассказывал сам Перов. Он говорил, что ему предлагали провокаторство, но что он будто бы, ответил не то оплеухой, не то чем-то в этом роде. Подозрительно и не похоже на правду.

Ротмистр успел выкурить вторую папиросу, пока Малиновский, подавленный всем слышанным, сидел и думал, стараясь найти свое место среди тех, ко-

го он раньше считал товарищами, кому он раньше так беззаветно верил, с которыми он мнил себя связанным кровью и железом.

— Я знаю, вам трудно,—сказал ротмистр,—я вполне понимаю вас, не будем продолжать допроса, отправляйтесь обратно в свою камеру. Обдумайте все наилучшим образом и, когда придете к решению, к окончательному решению открыть нам истинный характер деятельности комитетов и кружков, о которых вам хоть что-нибудь известно, тогда дайте мне знать. Сделайте это таким образом: вызовите к себе старшего помощника тюрьмы и дайте ему заявление, что просите вас вызвать на допрос.

— Нет, нет, я ничего писать не буду.

— Ну, что ж, это, пожалуй, только благодарно с вашей стороны. В таком случае вам достаточно будет сказать помощнику начальника тюрьмы, что вы хотели бы «делового свидания». Так и скажите. Вы в одиночке или в общей?

— Я с Абрамом и с Петром.

Ротмистр быстро что-то отметил в своем блокноте.

— Хорошо, через три дня мы вас рассадим каждого по одиночке, а заодно и еще пару-другую разрядим, вам будет удобнее сноситься с ними из одиночки.

Малиновский встал и двинулся к двери.

Ротмистр взял его под локоть, и они в ногу сделали несколько шагов по мягкому ковру. Тем временем ротмистр опять внятно шепнул ему:

— Имейте в виду, что на ваше имя в Азовско-Донском банке лежат пять тысяч...

Малиновский остановился, как вкопанный, и инстинктивно, чтоб не упасть, ухватился ротмистру за плечо, прошептал глухо:

— Не смейте этого, я не приму!

— Как хотите, счет в вашем распоряжении.

В камеру пришел он бледный и расстроенный. С возмущением говорил, как его на допросе пытали. О Перове он умолчал.

Через неделю их раз'единили. Через две недели Малиновский вызвался к

ротмистру. Он добросовестно и по всей правде рассказал все, что знал о деятельности организации, назвал даже главных ее участников.

В своем интимном дневнике ротмистр записал про Малиновского: «Являет пример того, как трусость подавляет здравый рассудок».

А официально доносил: «В лице Малиновского мы приобрели постоянного и крупного сотрудника. Для маскировки однако его придется выслать, хотя бы недалеко...»

## ГЛАВА VII. ПЛОХОЙ СОН

Сергей плохо спал. Ему представлялся Париж, юная, рыжеволосая девушка. Она всю ночь его обнимала, а как стало рассветать, превратилась в Катю Свинцицкую. Катя слезно каялась, что тогда не отвечала ему взаимностью, что предпочла ему Репьева, что, в сущности, Сергей в сравнении с Репьевым—чистейший и достойнейший человек. И вот Катя, она же француженка Флера, теперь пришла к нему. «Кончено все старое, начнем новую жизнь»—говорила она ему, нежно называя его Сережей. Надо всем этим звучит какая-то музыка, тело Сергея горит,—он просыпается. Камера молчит. Сергей опять закрывал глаза, ворочался на железной койке, с жадностью пытался заснуть, и вместо образов Флеры и Кати перед ним вырастало что-то мохнатое, угрожающее, дразнящее...

Утром Серебрянников сказал Сергею, что он, Серебрянников, не спал, потому что вырабатывал план побега из тюрьмы. После этого Сергею уже невозможно было рассказывать про свои постыдные сны. Он почувствовал себя вдруг жутко одиноким. Однако искренне обрадовался плану Серебрянникова и даже заранее предложил ему зайти к Кате Свинцицкой.

Серебрянников расхохотался.

— Если она недурна, отчего же?

— Недурна-то недурна, да уж очень святая, тихая.

— Тут-то самый грех и есть: в тихом омуте черти водятся. Дай мне ее

адрес, может быть, она меня укроет на ночь, другую.

— Несомненно,—Сергей говорил так, будто Катя была его жена и будто он направляет приятеля к своей любимой, близкой ему телом и душой женщине. Он сам перед собой фантазировал и гордился фантазиями. Приятели особенно деликатными кусочками нарезали хлеб. Сергей — опять фантазии!—представлял себе, что это она угощает их и каждый кусочек побывал в ее милых руках.

В это прекрасное утро открылась камера, и надзиратель в вульгарным голосом возгласил:

— Сергей Захаров, со всеми вещами приготовьсь...

— Значит, или освобождение, или перевод в другую тюрьму, или в другую камеру.

— Как же так, а побег твой?..

— Труднее будет без тебя,—сказал Серебрянников.—Если сможешь, дай мне знать, где ты будешь.

Сергей завещал приятелю хранить нож.

— Я из него пилку сделаю, решетку пилить. Мне только надо бы побольше масла и мыла, главное—мыла, чтобы пролезть, а то много-то не перепилишь, хотя бы одну, мне достаточно, я худенький, намажусь мылом... жалко, эх, как жалко... Мы так сдружились с тобой. Не забывай Серебрянникова.

— Что ты, никогда в жизни. У тебя есть невеста на воле?

— Нет, я один. Невесты, брат, нас не принимают.

Приятели чуть-чуть прослезились, крепко обняли друг друга и едва успели сказать один другому: «Ну, что ж, гора с горой не сходится, а человек с человеком...» как были раз единены надзирателем.

Прежде всего Сергея привезли на допрос к тому же ротмистру Кошко. Ротмистр был не один: с ним сидел другой, которого Сергей сразу узнал. А между тем он его допрашивал еще до заграницы, по прежнему делу. При появлении Сергея оба ротмистра почтительно приподнялись и поклонились.

— Здравствуйте, так называемый Захаров...

— Здравствуйте, — ответил Сергей, будто не поняв намека.

— Он или нет?—спросил Кошко своего ассистента, нарочно громко, чтоб слышал Сергей.

— Безусловно он. Дайте-ка карточку.

Кошко передал другому ротмистру карточку Сергея того времени, когда Сергей привлекался в первый раз.

— Вам не знаком этот человек?—спросили ротмистры в два голоса.

— Нет,—твердо, чуть-чуть озорно ответил Сергей.—А что это за тип?

— Про этого «типа» вы нам лучше расскажете, чем мы вам. Я извиняюсь за слово «тип», но вы первый его употребили. Не правда ли, как он похож на вас: у вас волосы торчком сзади—и у него, у вас взгляд исподлобья—и у него, глаза, нос — все, удивительное сходство.

Сергей решил, что если уж он открыт, то не стоит времени терять на дальнейшее заперительство.

— Это—я,—сказал он.

— Значит, вы не Захаров, а Важнов?

— Совершенно правильно.

— Вы были за границей?

— Нет,—в этом пункте Сергей решил упираться, ибо посредством его жандармам удалось бы доказать принадлежность Сергея к партии. Сергей предположил, что у жандармов не может быть доказательств его пребывания за границей.

— Неправда,—сказал Кошко. — Вы были в Льеже, в Париже. Вот например ваши письма вашей матери, они со штампом «Льеж» и с адресом «Рю Та-никс, 31».

— Это ничего не значит,—просто и настойчиво отвечал Сергей,—ведь я был нелегальный. Жил, предположим, в Козьмодемьянске и переписывался даже с матерью через Льеж из конспиративных соображений.

— Ого-го-го.—завздыхал Кошко. — Вы полагаете, что видите перед собой дураков. Может быть, вы еще осмели-

тесь сказать, что вы и к организации РСДРП не принадлежите? И не видались по приезду со здешними комитетчиками, Абрамом, Малиновским и т. д.?

— Первый раз слышу такие имена, а к организации не принадлежал.

— И в музей к Малиновскому на свидание не ходили?

— Не мог, потому что не знаю никакого Малиновского.

— А Петра Сырова тоже не посещали и не приглашали его в организацию?

— Впервые слышу названное вами имя.

— А у рабочего Перова тоже не были?

— Не знаком с таковым, не знаю, кто он такой.

— Какая странность, он, представьте, говорит, что вас знает, что вы у него были. От него мы между прочим узнали и число, когда вы вернулись из-за границы. Вообще, молодой человек, нечего вам запирается. Перов—человек прямой и правдивый, он все нам преподнес, как на ладошке, а вы упираетесь до смешного.

Сергей не менял равнодушного выражения лица.

— Кроме того, что я вам уже сказал, ничего прибавить не имею,—отрезал он.

— А не вам ли комитет поручил типографию ставить? Не вы ли входили в техническую группу?

— Я считаю бесполезным дальнейший разговор на подобные темы. Я ничего общего не имею с организацией, о которой вы беспокоитесь.

Тогда другой ротмистр произнес:

— Мы господина Захарова знаем, он—человек упрямый, как Тарас Бульба, это было видно из допросов по первому делу. Он и тогда утверждал, что невинен, как новорожденный.

Кошко заходил по кабинету.

— Оно и понятно,—говорил он, как бы размышляя сам с собой,—ведь у них, у революционеров, интереснейшая жизнь, подумать только, сколько опасностей, сколько переживаний: удрать от шпика, провести за нос провокатора, под носом у жандармского управления поставить нелегальную типографию,

разбросать прокламации, удрать из тюрьмы или из ссылки, нелегально перейти границу... да, ей же ей, я бы сам с удовольствием бросил нашу бюрократическую работу и пустился бы в их жизнь, полную опасностей и интересных приключений. Они, в особенности молодые, не откажутся от этой жизни, как бы мы их ни преследовали. Поэтому возможным лозунгом уже давно стало: по возможности не преследовать людей, а только пресекать деятельность организации. Поэтому, если бы вы, господин Захаров, сказали правду только о себе, хотя бы подтвердили то, что другие про вас говорят, например тот же Перов!—то, клянусь вам, мы бы вас пальцем не тронули, мы бы вас освободили, конечно немного замаскировав это от других... Вы понимаете, чтобы...

— Позвольте мне выйти отсюда,—мрачно сказал Сергей.

— Вы на допросе...

— Так потрудитесь задавать вопросы, а не...

— Сбавьте, сбавьте тон,—вмешался другой ротмистр.—Вы ведь не на комитетском собрании в конце концов.

— Не раздражайтесь и вы, коллега,—мягко сказал ему Кошко в тоне арбитра.

Сергей резко встал и направился к дверям.

Кошко ему вслед:

— В таком случае вот вам бумага, сядьте и напишите, что хотите, если вам не жаль ни своей жизни, ни сил и жизни ваших родителей, всей вашей семьи.

Сергей вернулся к столу, сел и написал на бумаге:

«Настоящим заявляю, что я—такой-то—отказываюсь от каких бы то ни было показаний, потому что решительно ни в чем виновным себя не признаю».

— Хорошо, ооочень хоррашо,—угрожающе-тихо процедил Кошко.

Сергея сначала оставили в камере при жандармском управлении, а потом перевели в пересыльную тюрьму.

О Сергее ротмистру у себя записал: «Враг», а департаменту полиции доносил:

«Предлагаю сослать в отдаленные губернии Сибири или в Архангельскую. Требуется особо бдительного надзора, как склонный к побегу».

В этот день Сергей написал письма домой и Званову, который все еще был в ссылке, и наконец Черному, в Швейцарию. Ему еще и еще хотелось писать, потому что он переполнен был впечатлениями допроса и хотелось кому-то все это рассказать, тем более, что он привык беседовать с Серебрянниковым. А тут вдруг один. Он ходил, курил, писал, вспоминал что-то, волновался немного тем новым, что ему предстоит, и уже заранее рисовал планы побега. Прожить мирно в ссылке, как делают другие, обзавестись хозяйством, может быть, женой,—нет, не бывать тому. Лучше сухой посох, пыль дороги, птицы в небе, вольность в сердце и опять все свое, дорогое и сильное, отдать на борьбу, на бой с врагами человечества. Говорят, что жизнь—борьба. Этого мало: для многих это означает борьбу за себя, за свой самовар, Сергей же исповедывал другое: жизнь—война против всех эксплуататоров. Впрочем в мотивах его предполагаемого бегства было и другое, чего он, может быть, и сам в себе не подозревал, это—никак не выраженное в сознании, детское стремление удивить других чем-нибудь особенным: у него был избыток неистраченных, неиспорченных физических сил...

Вместе с планами побега, которые теснились в его взволнованной голове, в его внутреннем мире росло нетерпение: скорее бы ухоть хотя на самый дальний Север, лишь бы озутиться прямо под небом. И тут начинались к планам примешиваться мечтания: Сергей напишет письмо Кате, она вдруг восплачет к нему несказанно-нежной любовью и приедет, бросив все, и в дальнейшем, на баррикадах неравной героической борьбы, они будут уже оба рука с рукой, до самой смерти или почетной гибели. Сергей читал и перечитывал, как к Чернышевскому приехала в ссылку жена.

Неизвестно, долго ли продолжались бы мечтания и фантазии Сергея, но на пятый день его опять вызвали на до-

прос, и не к жандармам, а к прокурору. Тут только Сергею стала известна ужасная участь тов. Серебрянникова. Он перепилил решетку, намылился, сделал «кошку» из подштанников, изодранных в тесемки, которые он сплел в веревку, сделал на конце крючок из гвоздя, просунул свое намыленное и намащенное тело в подпиленную часть решетки, предварительно выгнув подпиленные части в направлении своего движения, и по «кошке» спустился с третьего этажа во двор, держа в руке узелок с одеждой. Спустившись во двор и дрожа от холода,—дело было зимой и глубокой ночью,—Серебрянников оделся. Другую «кошку», которая была с ним, он стал забрасывать на высокую каменную стену тюремного двора, которая выходила в глухую улицу. Серебрянников знал, что часовой каждые четверть часа обходит тюремный двор, поэтому всю операцию—выпрыгивание из окна, одевание, а затем перелезание через стену—нужно было закончить в течение десяти минут: от обхода до обхода часового. Наверху тюремной стены была покатая железная крыша. Между ее карнизом, выходящим на улицу, и самой стеной намерзло много льда и снега. Поэтому крючок «кошки», сделанный из гвоздя, все время срывался. Раз десять закидывал Серебрянников. Два раза зацепил было, но едва он полез, как гвоздь сорвался с ледяного нароста. Серебрянников упал в снег. Время истекло. Пошел часовой. Серебрянников юркнул в сугроб. Но часовой немедленно же обнаружил следы на снегу, ведущие сначала к стене, а потом к сугробу. Часовой дал выстрел по сугробу, ранив Серебрянникова в плечо. Беглец вылез из сугроба и, шатаясь от усталости, от волнения, от раны, сдался. Его немилосердно избили рукоятками револьверов, заковали в ножные и ручные кандалы и отправили в больницу, так как на другой же день Серебрянников почувствовал повышение температуры. Началось воспаление легких.

Прокурор допрашивал Сергея, не знает ли он чего-нибудь по этому делу, так как он сидел несколько месяцев в

одной с Серебрянниковым камере. Интересовался, откуда Серебрянников достал пилку для решетки, как выработал план побега и с кем он был связан на воле. Сергей показывал, что о своем намерении Серебрянников никогда с ним, Сергеем, не делился, и поэтому Сергей ничем прокурору полезен быть не может.

На том и кончилось. Но Сергей решил во что бы то ни стало стеснись с Серебрянниковым и, главное, сообщить на волю о происшедшем. Он попросил прокурора разрешить написать несколько дружеских слов больному Серебрянникову. Прокурор разрешил. Тем временем Сергей написал два письма: одно — Серебрянникову, а другое — на волю, товарищам. Когда его везли в закрытой коляске, Сергей незаметно для жандармов выбросил письмо на мостовую. Кто-нибудь, добрая душа, найдет и перешлет, авось... Вся надежда на авось...

## ГЛАВА VIII. ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

(Пессимист и оптимист)

Все сотрудники жандармского управления почувствовали себя неловко, — как пойманные шулера, — когда, громко и отчетливо разговаривая и гулко стуча своими двумя клюшками, Абрам пришел на допрос к бледнолицему Кошко. Абрам по дороге затеял какой-то небольшой скандалчик с вахмистром, а потом пустился в агитацию, утверждая, что очень скоро гнев народа опрокинется на сие учреждение. Это дало повод вахмистру сказать какому-то писцу:

— Посмотрите-ка, анвалид-то, кажется, пьян...

Приподнятый тон Абрама даже ротмистра воодушевил: тот при появлении Абрама протянул ему дружески руку. Абрам остановился, как вкопанный, и сказал:

— Вы с ума сошли. вы честному человеку — руку!

Кошко улыбнулся тонкими злыми губами. Губы его были всегда чуть-чуть синеватые. Говорили, что он их подкрашивает слегка.

— Эта рука, — сказал отчетливо ротмистр, — вовсе не к вашей направлялась, а приглашает вас сесть. Вы поспешили нанести мне незаслуженное оскорбление и позволили себе говорить со мной неподобающим тоном. Но отложим личные обиды одного и личную неуклюжесть другого в сторону. Дело — прежде всего. Вы знаете, в чем вы обвиняетесь?

— Нет, не знаю, хотя сижу уж, слава богу, пятый месяц.

— Вы обвиняетесь в систематическом изнасиловании малолетних девочек.

— Господин ротмистр, я думал, что меня вызвали на допрос.

— Ага, значит, вы приблизительно представляете себе, в чем вас могут обвинять? Ну, что ж, для первого раза и это хлеб. Вы обвиняетесь в принадлежности к РСДРП, к комитету этой партии.

— Отрицаю начисто. Это, видимо, голословные донесения ваших филеров.

— Вот видите, на это обвинение вы отвечаете по существу. Значит, вы допускаете возможность существования такого обвинения против вас и тем самым сознаетесь, что при известных обстоятельствах вы могли бы заняться политическими преступлениями. А раз могли бы вообще, то как знать: может быть, вы ими уже и занимались.

— Очень просто, почему: то, что вы именуете политическим преступлением, есть деятельность, которая может входить в состав жизни любого порядочного, элементарно честного человека, а то, что вы мне раньше загнули — просто безобразие.

— Благодаря, благодарю, вот вы нам сделали и еще одно признание: оказывается, политические преступления совершать — это не безобразие, это — дело, достойное честных людей. Так и запишем. Скажите, вы давно знакомы с Сергеем?

— Не знаю такого.

— Ну, неужели? А вот тут один из ваших, этот, как его, все забываю его фамилию... как его, из главных он у вас там. Постойте...

Кошко стал рыться в бумагах.

— Ах, да вот, вот его показание. Он пишет следующее (Кошко прочитал показание Малиновского): «По приезде своем Сергей первым делом отправился к Абраму, с которым было условлено о восстановлении организации и о привлечении в нее...» Ну, тут идут имена, должно быть, хорошо вам известные. Пока не будем их называть. Что вы на это скажете?»

— То, что вы мне прочитали, — бесовские враки какого-то против меня злопыхателя.

— А хотите, я вам назову этого злопыхателя?

— Назовите.

— Перов.

— Вы... Вы... — нижняя губа у Абрама дрожала. — Вы лжете. Вот Перова я знаю, так знаю. Не отопрусь. Покажите мне его подпись. Вы мне ее не сможете показать.

— А вот не угодно ли, что он дальше пишет...

— Да что вы в самом деле ко мне в душу с сапогами лезете?! Вообще как вам не стыдно постороннего человека вдруг пытаться вопросами и непременно залезать к нему сапожищами в душу? Как вы, образованный человек, не понимаете, что ведь это в высшей степени стыдно. Посмотрите на себя в зеркало. Ведь вы должны краснеть за свою деятельность...

Кошко опять заулыбался одними только тонкими синеватыми губами, а зрачки его смотрели на Абрама, как зрачки собаки, делающей стойку.

Абрам неожиданно для себя воодушевился — и пошел, и пошел, и пошел...

Когда он кончил, ротмистр подал ему воды. Тогда только Абрам как будто почувствовал неловкость. Но сказанного не вернешь. Абрама пригласили в камеру и через час подали на подпись стенограмму всего им наговоренного.

Разумеется, Абрам швырнул в лицо вахмистру листки стенограммы так, что они разлетелись, как прокламации.

Кошко записал про Абрама:

«Честен, следовательно, самый вредный».

А официально:

«Предложил бы Абрама никуда не высылать, он страшно удобен для нас, так как именно вокруг него всегда вращаются революционные, в особенности социал-демократические элементы. Он — прекрасный след».

Сосланными в разные отдаленные губернии необъятной российской деспотии оказались Репьев, Сергей, Малиновский и некоторые другие. Очень немногие из организации остались на воле, среди них Абрам и Петр Сыров.

## ГЛАВА IX. МАРИЯ

В пересыльной тюрьме заброшенного среди снегов маленького губернского города процедура отправки арестантов была такая же, как во всех других российских тюрьмах. Вызывали «со всеми вещами» в коридор, выстраивали тихо, торопясь, потом вели вниз, где ожидали другие группы арестантов. Начиналась проверка-переключка. Названный должен был подойти к столу, спрашивали, какие на нем есть казенные вещи. Приказывали раздеваться донага, развязать арестантские узлы, раскрыть дешевенские скрипучие корзинки. Привычными руками надзиратель прощупывал все тело. Неприятно, щекотно, холодно, гадко. Проворными пальцами теребил он вещи, раскидывая их, как что-то вредное, недостойное человека. Потом скажет надзиратель: «Оденьсь», и каждый поспешно попихает, сомнет свое, может быть, единственное в жизни дорогое в мешок и опять станет в ряды себе подобных. Подойдет конвойный, наденет наручни.

Темным и морозным зимним утром, часа в четыре, вызвали и Сергея. Под низким сводчатым потолком мигал огонек в закопченном стекле керосиновой лампы. В дальнем углу был черный стол. За ним сидели тюремщики и конвойные. Лица тюремщиков и старших конвойных склонились над ведомостями, где записаны имена и приметы людей обреченных, — все, как на картинах Гойя.



В первых рядах выстраивают каторжан, за ними идут так называемые «арестантские роты», это — по большей части бродяги, имена которых никто не мог открыть, а они называют себя так, как хотят, притворяясь непомнящими ни рода, ни племени: истинный вид мудрецов, которые встречаются только в России да на Аляске в Америке. За арестантскими ротами — воры, за ними — воришки, карманники, за ними — босяки, извечно пересылаемые «на родину», которая значит за ними только по полицейским ведомостям, но которой на самом деле нет. За босяками — «политические» и наконец — женщины. Политиков было всего-навсего двое: грузин Вазо, пересылаемый в Вологодскую губернию, и Сергей Важнов — в Архангельскую. Женщины почти все были проститутки, тоже гонимые «на родину» для того, чтобы они, придя туда, опять ее покинули ради искания «счастья».

Арестанты, выстроенные и еще раз по списку проверенные, стояли, соблюдая гробовую тишину. Конвойные выполняли еще кое-какие формальности за инквизиторским столом. Слышались стальные взвизги: конвойные обнажали шашки и становились кольцом вокруг закованных и незакованных.

Сергей оглянулся на гонимых грешниц. Среди потрепанных, профессионально улыбающихся полунамазанных лиц он заметил одно, со спокойными карими глазами, с черной родинкой на правой щеке. Скромно одетая в черное, она явно была не из «тех». Молодая, в глазах много любопытства.

Сергей спросил:

— За что?

— Я — политическая, — ответила девушка.

— Эсдечка или эсерка?

— Эсдечка, большевичка...

— Рабочая?

— Увы, студентка, психо-неврологичка...

— Ну, так будем знакомы: я — тоже политик и ваш однопартиец. А это вот — Вазо, он закоренелый дашнак.

— Поедемте вместе... в санях, — предложила девушка.

— Чорт побери... — громко заговорил Вазо. Сергей толкнул его коленкой. Тот подавился словами.

— Мы пехтурой, — пояснил Сергей. — Но можно конечно попытаться.

— Конечно попытайтесь, попроситесь...

До вокзала идти предстояло шесть верст. Сергей знал, что на дровнях, которые вероятно стоят на тюремном дворе, поедут только женщины да больные — по свидетельству врача. Однако Сергей решил попытать счастья. Как-раз конвойный проходил мимо:

— Господин старший, — не особенно громко, чтобы сохранить почтительность, сказал Сергей. — Разрешите мне на санях ехать?

— Что у тебя?

— Ломота в ногах, болею, — чуть-чуть жалобно прохрипел Сергей.

— С такими рожами не может быть ломоты нигде.

— Господин стар...

— Молч-а-а-а-ть!

Девушка толкнула Сергея в спину, чтобы не настаивал: может быть хуже.

— В поезде будем устраиваться вместе, — шепнула она по-хорошему.

Чей-то зычный заунывный голос отдал команду. Будто своды опрокинулись на головы.

— Каттааржанныы, вперед, аарш!

Цепи лязгнули со стоном, заглушая арестантские шаги по асфальтовому полу. Дверь во двор распахнулась. Навстречу выходящим — белые кудрявые клубы мороза. Передние крикнули. Кое-кто закашлялся. Колонна арестантов двинулась в морозную черноту двора.

С другого конца обширного тюремного двора неслась тормозящая команда: — Маааать твою, стойий!

Серая колонна остановилась во дворе.

Сергей посмотрел на небо. Оно было ясное и мигало земле мириадами звезд. Млечный путь — как рассыпанные буфы на темнобархатной груди.

— Юпитер справа, видите, он над колокольней мигает? — шепнула девушка глухо — от мороза.

Сергей стал искать на небе Юпитер. Но он был за колокольней. Глаза Сергея

нащупали зеленоватую, с вечно изменчивыми отливами света Венеру.

Конвойные по запискам врача вызывали тех, кто имел право сесть, вернее, лечь, на дровни, запряженные рыжими малорослыми вятскими клячами. Надзиратель светил фонарем старшему, у которого мерзли руки даже в рукавицах. Он неуклюже возился с записочками, они то и дело выскальзывали из плохо сгибающихся пальцев и падали в снег. У старшего нехватило силы воли морозить руки.

— А ну их к матери... Пускай идут...

Послышались глухие голоса, как из загробного мира:

— А я, господин старший, а я, у меня была записка, и у меня...

Один конвойный заметил девушку большевичку:

— А ты что, Маруська, не бежишь к саням? (Солдаты и арестанты почему-то всех женщин зовут «Маруськами»).

— Откуда вы знаете мое имя? — негодуя смутилась девушка.

— Все вы... — начал было конвойный, но, поймав в темноте горящий взгляд Марии, изменил тон. — Ты что, политика?

— Да.

— Садись, — сдавленным голосом сказал конвойный и подтолкнул Марию, раздвинув винтовкой тех, кто толкался около саней. Для Сергея Мария утонула в темноте двора. Сергей посмотрел на обнаженный меч конвойного и сказал ему:

— И меня пусти в сани, господин конвойный.

— Нет.

— Но я хочу быть с той девушкой, я — тоже политик.

— Гм... — промычал солдат. — Ступай, но только нежно не смей сидеть.

— Что вы, товарищ... ээ... то-есть, господин конвойный, я ведь знаю порядок. Разве можно на этапе «нежно» сидеть?

— Молчаать, — гаркнул конвойный, чтобы заглядеть то доброе, что он сделал.

Сергей шмыгнул в темноту двора, стараясь не звенеть наручниками: если

услышит конвойный, с наручниками ни за что не пустит в сани. Сергей в зубах перенес свою скатанную и перевязанную веревкой постель и сел рядом с Марией. Опять в морозном воздухе застучали в ушах:

— Шашки воон... Шагом маарш!

Кандальное железо на морозе завизжало еще страшнее. Пошли, зашагали сильные русские ноги, поколениями привыкшие к кочевью и бегу по необъятным равнинам.

Скрипнули полозьями, потянулись дровни с бабьем и барахлом, с хромыми и болезными.

— Где, вы говорили, Юпитер? — начал Сергей вежливую беседу с Марией.

— Вон он, теперь прямо над тюрьмой. Вам не холодно?

— Нисколько, я привык, — говорил Сергей, весь дрожа и стараясь как можно меньше открывать рот, чтобы не наглотаться сухого морозного воздуха. — А вот вам-то как, товарищ Мария? Возьмите мое одеялишко, вот...

— Не беспокойтесь, товарищ, товарищ...

— Сергей,

— Не беспокойтесь, Сергей. У меня шаль теплая, оренбургская. Я и сама оренбургская. А вы, Сергей?

— Я, Мария, с Волги. У нас тоже...

Он не знал, что собственно тоже.

— Сегодня какой-то исключительный мороз.

— Ничего, Мария. Сядьте ближе.

Над Сергеем и Марией плыли звезды и Млечный путь. Под полозьями стонал снег. Сергей осторожно дотронулся до руки Марии. Она ответила легким пожатием. Они старались согреть друг друга, они заботились друг о друге.

На вокзале арестантов выстроили по платформе: ждать поезда предстояло часа два, а может быть, и три. На востоке небо чуть-чуть позеленело. Люли, скованные цепями и морозом, под охраной стальных штыков, старались сбиться как можно теснее в кучу. Все ожидали либо смерти, либо поезда. Пришел поезд.

Если бы не постоянные окрики конвойных, то Мария и Сергей могли бы представить себе, что путешествуют из любопытства. Они пили хороший чай из жестяного чайника и разговаривали о произведениях Кнута Гамсуна.

Обоим им одинаково нравился Кнут Гамсун. Оба они хотели бы попасть в фиорды, обоих их манила природа, лесной воздух, морской шум. Они рассуждали, как пантеисты.

Станция Вологда положила конец увлекательным мечтаниям, теплоте нарастающей близости. Только теперь около них появился Вазо, который, чтобы не мешать товарищам, держался все время в стороне. Сергею и Марии стало неловко, что они забыли своего спутника и товарища. Но Вазо был весел и не считал мечтателей виноватыми.

Второпях Сергей и Мария обменялись своими адресами, условились о некоторых секретах в переписке. Мария должна была остаться в Вологодской губернии, а Сергей пойдет в Архангельскую. На прощание долго не отрывали рук друг от друга. У Сергея вертелось на языке предложение Марии просить перевести ее в Архангельскую губернию. Это — более тяжелая ссылка, и полиция, несомненно, с удовольствием исполнила бы просьбу Марии.

Сергей повторял:

— Товарищ, Мария, друг, товарищ! Мария, лучший человек!

Сергею самому было удивительно, как все такие слова спадали с его губ.

Да и Мария наговорила ему многое. Сколько тепла и счастья испытал Сергей, и какое глубокое горе ощутил он, когда расстался с Марией! Первые глаза его по-настоящему открылись на мир. Вот девушка, женщина, в отношениях с которой не было ни кривых, болезненных изломов, ни надуманности, ни недоговоренности, ни неловкости, ни внутренней фальши. Просто, просто, как небо и земля. Сергей только с сожалением улыбнулся, когда ему вспомнилась Катя Свинцицкая. Теперь Сергею ясно было, как много было там надуманности, младенческого воображения, детской фанта-

зии. А Флера-парижанка? Стыдно вспомнить.

Когда Сергея ввели в камеру пересильной деревянной вологодской тюрьмы к другим политикам, Сергею показалось, что он переступил порог камеры не один, что будто бы об руку с ним вошла и Мария.

Мария — женщина-товарищ. Такая женщина — это всяческое богатство, полнота, сила. Великое и непостижимое переживал Сергей. Может быть, все это несбыточно? Идеализация? Но — зачем сомнения в такой великолепный момент! Скорее бы начать переписываться!

— Вы, товарищ, должно быть, устали с дороги? — сказал Сергею симпатичный интеллигент чеховского типа.

— Ах, нет, давайте знакомимся.

Через некоторое время Сергей получил письмо от Марии, — нашелся передатчик. Вместо хоть сколько-нибудь толкового ответа о своей участи, о том, как поддерживать связь в дальнейшем, Сергей ответил ей стихами. Хотя Сергей никому не показывал этих стихов, но почему-то все в камере узнали и подсмеивались над ним. Вероятно неуклюжий, покривившийся уголовный арестант, передатчик записок между Марией и Сергеем, рассказал кому-то о тайной переписке. После первого письма дело пошло очень интенсивно. Несчастный передатчик не успевал бегать от женской половины тюрьмы к мужской и обратно. После отправки своей записки Сергей высчитывал часы и минуты, когда может получиться от нее ответ. Неизвестно, с таким ли же нетерпением ждала Мария писем Сергея, но во всяком случае она всегда кончала письмо так: «С нетерпением жду скорого ответа».

Наконец Марию освободили и оставили в Вологде под наблюдением полиции. Сергей каждый день ждал, что она придет на свидание, как обещала, но дни летели один за другим, а Мария не приходила. Хуже всего было то, что она и не писала ничего. Сергей не знал ее адреса. Следовательно, связь окончательно порвалась.

Когда вечером в камере разгорались жаркие споры между марксистами и эсерами, Сергей отчаянно топил в них свою тоску и поэтому прослыл, пожалуй, самым горячим и остроумным спорщиком.

Однажды в разгар такого спора открылась дверь, и в камеру вошел толстый, дебелый вологодский губернатор. Спица его тучным накатом налезала на затылок. От губернатора пахло одеклоном, хорошим мылом, чистым бельем, кофе и медными пуговицами мундира. Губернатор был молод, но уже обрюзг, и тело его все тряслось, как желе или кисель. Все знали, что он — либерал и хорошо относится к ссыльным. Поэтому при его появлении стража не отдавала команды заключенным, как обычно: «Встать».

Губернатор открыл свой большой рот с золотыми зубами и изнеженно сказал:

— Здравствуйте, господа. Ваша петиция мною получена. Вы просите скорейшей отправки всех вас в места ссылки. С удовольствием я это сделаю.

Тут только Сергей вспомнил, что он вместе с другими действительно подписал коллективное заявление о скорейшем направлении его в определенное ему место. Как это некстати! Зачем ему торопиться, когда он не знает, что с Марией и где она?! А потом ведь она обещала притти к нему на свидание! Сергей так заволновался, что готов был просить доброго губернатора, по крайней мере в отношении его, Сергея, не выполнять так скоро петицию ссыльных. Но разве это можно сделать? Оставалась надежда, что этот губернатор, как почти все губернаторы, забудет свое либеральное обещание. Вот было бы хорошо! Здесь все так мило — и тюрьма, и нежный начальник ссыльных. Из всех заключенных Сергею сочувствовал бы, пожалуй, один только грузин, потому что он утверждал, что в этой тюрьме дают самый свежий хлеб и «доветру» выходить можно сколько угодно и когда угодно, даже ночью. Не тюрьма, а отель. Сергей взглянул на грузина, грузин — на него.

Поняли друг друга. Помолчали. Подчинились суровому большинству.

Губернатор сел на нарты и стал вызывать по фамилиям тех, которые скзывались больными и ходатайствовали о больничном пайке и об оставлении в городе Вологде. Такими оказались почти все заключенные. Губернатор матерински покачал головой и сокрушенно продолжал:

— Боже мой, все революционные партии состоят почти исключительно из болезненных людей, слабых и немощных. Как же вы, господа, хотите революцию делать? Если бы я был на вашем месте и, предположим, в самом деле больным, я бы из одной гордости не стал просить к себе снисхождения или лучших условий. И, кроме того, если в революционных партиях только немощные, то это — богадельня, а не партия, и теории таких партий — теории больных людей.

Кто-то стал всерьез возражать губернатору.

Губернатор стоял на своем, советуя:

— Возьмите лучше, господа больные, ваши прошения назад и подчиняйтесь общему суровому режиму. Это будет лучше для ваших нервов. Скорее проникнетесь идеей эволюции общества.

— Мы — сторонники теории мутаций, — заметил интеллигент чеховского типа.

— В животном мире — да. В мире разумных существ — нет, — меланхолично ответил губернатор и опять потребовал взять прошения обратно. Никто не согласился. Губернатор жожал плечами и сказал:

— Если бы взяли прошения, я бы для всех вас сделал в тюрьме больничный режим, более сносный. А вы упрямитесь. Поэтому я принужден прислать врача, и только те, кто действительно болен, получают больничный режим. Желаю вам счастливо продолжать ваш интересный спор, который я невольно прервал. Простите. Всего хорошего.

— Всего (неизвестно чего), — хором пожелала камера заключенных хеленуму губернатору.

В эту ночь Сергей написал два больших письма: одно — Марии, в надежде, что ее найдет и передаст грузин, которого намечали оставить в Вологде (к его сожалению: он мечтал об отдаленных местах!), другое — своему другу Званову, который жил недалеко от Вологды, в Тотьме. Письма, написанные ночью, бывают проникнуты особенной искренностью и близостью к тому, кому пишешь.

Письмо Марии вышло великолепно. Сергей словно предчувствовал разлуку. Через день его вызвали «со всеми вещами». Опять обычные обыски во дворе. Выстроили в ряд с кандалниками, надели наручни и — на вокзал, к поезду, который понесёт его все выше и выше — к полюсу, к концу земли.

Эх! У Сергея вся надежда на грузина. И еще — Званов. Он тоже может согреть Сергея ответом своей глубокой дружбы.

Полный надежды на дружбу и, может быть, на любовь, Сергей долго смотрел из окна вагона: мимо плыли седые зимние поля, а за ними синел старый северный бор.

## ГЛАВА X. РОМА

Отвернувшись от окна, Сергей сейчас же различил среди арестантов двух политиков. Один был татарин, судя по акценту, другой — грузин, звали его Рома. Они тоже сразу узнали в Сергее товарища. Перезнакомились.

Татарин был народный учитель Уфимской губернии, писатель и эсер.

Грузин — профессионал-большевик.

Татарин Гаяс предложил пить чай с лимоном и, приготавливая чай, все время смеялся своими маленькими огненно-кочичневыми глазками, чуть-чуть косыми, монгольскими, и то и дело пощипывал бородку и почесывал в подусниках. Когда кипяток в жестяном чайнике был готов, Гаяс подмигнул часовому, не хочет ли и он разделить компанию. Конвойный отверг лукавое предложение. Гаяс вынул чистый носовой платок, белой скатертью благовеинно расстелил его на маленьком столике. Из листа белой бумаги искусно сделал подобие че-

тырехугольной сухарницы. Положил туда хлеб, разломав его аккуратными ломтями (ножей иметь не полагалось), сделал еще маленький квадратик бумаги потолще первого и попросил у конвойного ножичек, чтобы нарезать лимон. У конвойного ножа не оказалось, но конвойный был парень любезный: нарезал лимон своей шашкой. Куски лимона были Гаясом сложены на маленький бумажный четырехугольник, как на розетку. Запах лимона сразу придал всему начинанию нечто уютно-домашнее.

Грузин был в изрядно потрепанной студенческой куртке. Но сидела на нем эта форма ловко, приглядно, даже немного франтовато. Грузин непрерывно шагал по маленькому пространству вагона.

Густые черные волосы его так были отброшены назад, словно их обдувало ветром и бурями. Рот, когда он улыбался, принимал форму лунного серпа. Черные глаза его были похожи на сверла. Он покорял ими собеседника. Грузин много курил, а это запрещалось. Табак у него был в рукаве, в штанине была зашита тонкая бумага. Грузин ухитрялся потихоньку свертывать и курить.

Лицо его было длинное, с небольшими черными усами. Лоб выдавался вперед и носил на себе неясный отпечаток многих дум. Во всех движениях его была какая-то веселая смелость. Этот человек вероятно не потеряется в любом трудном случае. При всяком несчастье, казалось бы непоправимым, он, должно быть, скажет: «Ничего, можно, конечно можно преодолеть!»

Гаяс ушел в отделение конвойных — просить кружки.

Грузин перестал маршировать по вагону и сел осторожно, сначала дотронувшись руками до скамейки (грузин всегда так осторожно садился), рядом с Сергеем.

— Захотел чайку попить, скатертку накрыл, бумажечки расстелил, интеллигент, — озорно сказал грузин и весело рассмеялся, сморщив длинный нос.

— Вы — тоже интеллигент? — спросил его Сергей.

— Эта скатертка с лимончиком сразу всего человека показывает, — продол-

жал свои мысли грузин, совершенно не обращая внимания на вопрос.

Пришел Гаяс с кружками. Все поближе подвинулись к столу.

Гаяс оказался довольно-таки «зажиточным»: у него были масло, баранки, колбаса, даже шоколад. Но — вот какая досада! — Гаяс забыл в тюрьме чай. Предстояло пить пустой кипяток. Грузин насмешливо посмотрел на щедрые угощения Гаяса и сказал:

— У вас, друзья, нет чаю. Собрались чай пить без чаю, зато на салфетках. Погоди... — грузин, порывшись в карманах своей тужурки, достал маленький сверток в оловянной бумажке. Он подставил его Гаясу. Тот запустил туда три пальца и опытно извлек щепоть ароматной китайской травы. Бросил ее в жестяной чайник.

— За это первый стакан вам! — торжественно заявил Гаяс грузину.

— А я не очень китаец, спасибо, пожду.

Был всего один стакан, пить же предстояло троем. Гостеприимный Гаяс волновался, потчевал Сергея. Тем временем грузин говорил Гаясу:

— Товарищ, товарищ, погоди. Нет ли у вас в кармане там цветочков, незабудков, что ли, на скатертку бы постелить, для уюта, а?

Гаяс не уловил иронии.

— Сейчас видно, что вы эсер, — продолжал озорничать над ним грузин.

— Горжусь этим, потому что мне становится скучно от одной бороды вашего Карла Маркса.

— А зачем же вы в бороду смотрите? Зачем вам его борода? Вообразите, что он бритый.

— Борода его — это просто, если хотите, характерно для марксистского мещанства.

— А вот ваша борода и скатертки к чаю характернее для этого самого...

Начался колкий спор. Торжественность чая была сорвана. Сергей увлекся и вслед за грузином обрушился на уфимского эсера. Воодушевленный грузином, Сергей отвечал порою так метко и так беспощадно, что все время искренне сожалел, почему нет тут Ма-

рии: вот бы когда она его увидела в боевом действии. Гаяс изощрялся в парадоксах и часто прибегал к цитатам не совсем хорошо понятым им трудов Ленина и Плеханова. А грузин бил его короткими ударами конкретных примеров, как самый заправский, опытный сподвижник. Он не рекламировал перед врагом свою идею, он даже, собственно, не выдавал целиком того, что думает, он вуалировал иногда свои положения, чтобы направить возражения врага на ложный путь и потом бить его с тылу. Грузин наносил эсеру удары так быстро и с таких неожиданных сторон, что Гаяс не успевал осмысливать направления и цели его ударных вопросов и все дальше и дальше залезал в петлю противоречий.

К ночи однако грузин подружился с Гаясом. Впрочем к тому времени грузин успел подружиться почти со всеми обитателями вагона, даже с некоторыми конвойными. Над всеми реял примиряющий махорочный дым, добродушно «не замечаемый» конвойными. Грузин выиграл сражение в споре и теперь был счастлив и великодушен, как истинный победитель. Это всем понравилось, потому что народ любит победу.

## ГЛАВА XI. ЗИМНЯЯ ПРОСИНЬ

Из архангельской тюрьмы Рома пошел на юго-восток, в Пинегу, а Гаяс и Сергей — на северо-восток, в Мезень, к берегу океана.

Все то же, то же: сначала хорошо знакомый Сергею обыск в темном тюремном коридоре, потом выход во двор, занесенный снегом, наконец Сергей и Гаяс — в скрипучих розвальнях, запряженных низенькими лошаденками.

Предстояло покрыть 700 верст. В день такие лошади по сугробистым дорогам и лишь засветло (ночью с арестантами опасно ехать) сделают не больше 30—35 верст. Значит жизнь в дороге продлится недели три, а если что случится с лошадьми или людьми, то и месяц.

Первые четыре ночевки попадались в деревнях. Потом поселки и людское

жилье стали встречаться все реже и реже. Пришлось ночевать в лесу, в ямах, вырытых специально для ночных станций (словно вверглись в старую Ивана Калиты Русь, когда тоже ночевали по ямам, откуда и слово: ямщик). В такой яме был всегда приготовлен чьей-то заботливой рукой сушняк для костра. Над ним, на закопченном железном тагане, стоял открытый ветрам и омываемый воздухом чугунный котел. В нем можно варить и щи, и кашу, и чай. В соседнем болоте из-под льда, а то и просто из снега добывали воду. Чаще всего арестанты и солдаты делали мессиво с пшеном. В том же чугуне варили чай. Ночевали у тлеющих угольев, в яме. Сергей не так мерз, как Гаяс, потому что у Сергея было зимнее пальто, а у Гаяса — изящное демисезонное, в каких ходят в городах.

Сергей уговаривал Гаяса меняться пальто. Гаяс отклонял это и рассказывал, почему, собственно, он оказался лютой зимой в легком европейском одеянии:

— Вы ведь знаете, что в архангельской ссылке я уже был один раз и бежал на оленях, с самоедом. Счастливо добрался до Питера, потом — за границу и поселился в Константинополе. Прожил там около двух лет, нашел массу социалистов среди младо-турок. Наконец решил нелегально вернуться в Россию. Это мне тоже удалось. Я устроился в Питере. Стал сам делать переводы моих романов и пьес на русский язык и давал их в один толстый журнал. Иду я раз по Невскому. И вдруг кто-то меня так дружелюбно окликает по моему настоящему имени: «Гаяс!» (а я был по паспорту вовсе не Гаяс и даже не татарин). Я оглянулся. Никого. Все идет спокойно мимо меня. Не успел я сделать и трех шагов, как чья-то наглая рука очутилась у меня на плече, и с Невского повели меня прямехонько в «Кресты». Это, оказывается, шпики окликанием проверяли, действительно ли я Гаяс, чтоб не дать промаха. Дело это было в начале осени. На мне было пальто, купленное в Константинополе. А зимой вот отправили в ссылку. Не надо

было оглядываться. Инстинкт проклятый подвел, привычка к имени, которое мать дала.

— Вас никто не навещал в «Крестах»?

— Кому же было? Я одинок.

Помолчали.

Сергей:

— После Константинополя, теплого моря и отражающихся в нем минаретов — яма у Ледовитого океана.

— И наоборот, — добавил тихо Гаяс, потом погромче: — Хорошо, что мне в архангельской тюрьме дали арестантский бушлат<sup>1)</sup>.

Тем временем поспел ужин. Сергей, Гаяс и другие арестанты дружно запустили в хлебово деревянные ложки.

Во время пути Сергеем мало-помалу стало казаться, что в мире ничего нет, кроме мутного неба и белого снега. Все остальное, даже зеленые луга и цветы, выдумано и сделано людьми. Между мутным небом и белым снегом — черная точка: человек. Эта черная точка все движется, движется, словно гонимая ветром в мерзлом пространстве, неизвестно куда. Москва—Париж, Париж—Москва, свет, смех, толпа, народ, массы, классы, борьба — все это — сон. А может быть, где-то еще все это осталось? О, да, конечно осталось, потому что там осталась и Мария. Уж не сон ли и Мария? Нет, она была так реальна той морозной ночью, когда они ехали от тюрьмы до вокзала, она так ясно говорила о Гамсуне. Да что там: вот под грязной, обовшившей и обветшавшей рубашкой, у самого сердца Сергея, истлевают ее записки, где карандашом начертаны слова любви к нему, к Сергею. Мария была и есть, значит, есть еще что-то, кроме снега, ветра и хмурого неба. Там Мария — среди огней и людей, а здесь — яма, тьма, метель, тлеющие угли, угрюмые голоса бессонных солдат и арестантов. Сверху яму запорашивало снегом, как медвежьим берлогу. Тлеющие головешки чадили, курились, как старое брошенное дикарями пепелище. Сергей познал, что значит легкий воздушный сон: он чувствовал

<sup>1)</sup> Арестантская шинель.

свои тяжелые веки, чувствовал, как они красны, воспалены и как их саднит. Ощущал холод, пробегающий по спине каждые пять минут. Но все вместе сливалось в прекрасную мечту. Выплывала, залитая мягким зеленоватым светом, студенческая комната, маленький самовар на столе, недопитый чай, груды книг и бумага. Посредине лампа с абажуром — источник тихого света. Сергей слушает, как Мария, его жена, читает ему что-то захватывающее, интересное. У нее полурастегнут ворот кофты, у нее тонкие руки, волнистые, пышные волосы, ласковые умные глаза. Голос — материнской доброты. Сергей еще знает, что у Марии горячее, белое тело: он это видел, он уверен в этом. И никому другому не дано это знать и видеть. Мягкий свет, наполняющий комнату, струится не от лампы, а от нее, от Марии, от ее глаз и тела. Стук в дверь. Входит приятель Сергея, Званов. Его приход почему-то всегда для Сергея радостен, всегда несет что-то новое. И это новое — всегда возвышающее, обнадеживающее. Сергею приятно, что Званов немного завидует его, Сергея, счастью, а он непременно ему завидует. Когда Званов обращается к Марии, в глазах Званова столько чистого, товарищеского уважения к ней, как к жене его друга, как к товарищу.

Тепло...

Сверху за ночь нанесло много снега. Под ним — как под стеганым одеялом. Головешки перестали дышать чадом, захладели. Ветер задохся в тайге.

Сергей открыл глаза, и все, что пришло, что приснилось, показалось ему бесконечно далеким, вернее — прошлым и, следовательно, невозвратным.

Как только добрались до Кулугур и Сергей очутился наконец в человеческом жилище, он испытал приступ страшной жажды и слабости. Он лег на полати. Гаяс давал ему воды. Свесив свое раскрасневшееся лицо с полатей, Сергей жадно глотал воду ковшами. Утолив жажду, он впадал в забытие. Смутно слышались ему пение и крики. Они в конце концов разбудили Сергея. Он опять свесил голову с нар и попро-

сил пить. На столе среди ошурок яиц и обглоданных костей стояла жестяная лампа — коптила. Гаяса не было в избе. Конвойные, не поняв, что Сергей просит воду, подали ему водки. Сергей жадно выпил ее. Достал из мешка зеркалаще. Взглянул в него — и в полутьме рассмотрел свои горящие, воспаленные глаза и распухшее, жаркое лицо. Он поспешил начал писать длинное письмо Званову. Сергей подробно рассказывал своему другу об этапных приключениях, о страшном морозе, о том, что повстречал интересную большевичку, которая живет недалеко от того городишка, где жил Званов. Он мог бы повидать ее. Сергей расхваливал ночевки в ямах, восхищался удобством отопления их кострами, хвастался, что пил превосходный чай из чугунов в яме, что северная природа закаляет человека и вообще все так чудесно и превосходно, даже конвойные; что это путешествие, кроме хорошей, здоровой закалки, ничего другого не может дать. Поэтически описывал природу Севера, состоящую из одного только ветра и снега. Все письмо было проникнуто подкупающей бодростью. Он даже подпись на нем поставил с веселым росчерком, как прежние волостные писаря. Потом стал писать Марии. Ей он жаловался на боль в висках, на пронзительный, беспокоящий стук сердца, на то, что все, даже душа человека, здесь засыпано снегом, завяено ветрами и что если бы Мария была здесь, то она наверное дала бы ему теплого молока, сладкого, с сахаром, чтоб преодолеть жар, ломоту в пояснице и боль в висках. Сергей бросил в этом месте писать и попросил у старухи-крестьянки горячего молока с сахаром. Крестьянка подала ему глиняный горшок с «томленным» молоком, покрытым розово-коричневой пенкой. Сергей опустил туда несколько кусков сахара и жадно выпил густую, румяную жидкость.

Пришел Гаяс, — он гулял по деревне. Увидав, в каком состоянии находится Сергей, Гаяс с нежностью, которую в нем трудно было подозревать, начал ухаживать за Сергеем: он прежде всего старался закутать и уложить спать Сергея. А Сергей, возбужденный водкой,



все хотел двигаться, говорить, даже петь. Гаяс его уложил. Сергей сомкнул глаза. К полуночи он стал изрядно потеть, еще теплее укрылся дубленным полушубком, который достал где-то Гаяс, и окончательно взмок от пота.

Утром Гаяс, старательно заслоняя Сергея от холодного воздуха (конвойные то и дело приходили в избу и выходили), передел его в свое белье.

Сергей чувствовал себя вполне здоровым. Гаяс рассказал ему, что Сергей всю ночь бредил Марией.

## ГЛАВА XII. ГАРТМАНОВЦЫ

У политических ссыльных была очередь принимать товарищей, приходящих очередными этапами. Но встречать этап приходили все ссыльные. Они скоплялись у ворот полицейского управления и оттуда разбирали освобожденных товарищей по своим домам для обеда и ночевки.

В три часа январского дня (на Севере это — уже сумерки) Гаяс и Сергей очутились на свободе, посреди широкой улицы, окруженные ссыльными, которых было человек двенадцать. Расспросы, разговоры, зачатки споров, первые наметки симпатий и антипатий. Большинство тут были большевики. Гаяс обозвал их «ленинскими молодцами». Его обозвали «лавровским старичком». В общем любезничали.

Из толпы ссыльных к Сергею подошел низенький, немного толстоносый человек, с очень выразительным лицом, с приятным, чуть хриловатым, украинского тембра голосом. Он был в барашковой полушубке и в круглой барашковой шапке набекрень.

— Как отобедаете, — сказал он, — обедать будете у товарища Марии, — он указал на низенькую женщину, тоже стоявшую в толпе и тоже в полушубке, — так приходите ко мне, у меня ночуете. Товарищ Мария, — обратился он к женщине, — потрудитесь, покажите товарищу Сергею, — так, кажись, вас зовут? — где моя хата.

Низенькая молодая женщина важно, ничего не ответив украинцу, взяла не без нежности Сергея под руку и, гусы-

ней выступая, повела его по широкой улице по укатанному снегу.

В чистенькой мещанской светелке пахло белыми скатертями, вкусным, выпеченным дома хлебом и треской. На столе были расставлены приборы — по всем правилам светского обеда. Молодая девушка лет 17, самое большее 18, высокая, худощавая, с широким умным лбом и чуть заметной родимкой на левой щеке, поставила на стол последнюю тарелку, натертую до блеска.

Девушка протянула навстречу вошедшему Сергею свои белые руки. Здороваясь с ней, Сергей так низко поклонился, что чуть было не поцеловал ее тонкие пальцы. Низенькая женщина рассмеелась над остоленением Сергея, но, как человек, привыкший и умеющий справляться со всякими неловкостями в обществе, мягко подтолкнула Сергея к другому товарищу — знакомиться.

— Моисей, — отрекомендовала она его Сергею.

Моисей был настолько сухощав и тонок, что при входе Сергей сначала и не заметил его. Он стоял, прислонившись задом к подоконнику и перелистывая только-что полученную книжку журнала «Современный мир». Лицо его было нездоровое, веснучатое. Нос большой, острый. Кожа тонкая, прозрачная. Очки в золотой оправе. За ними — глаза, светлоголубые, одновременно и колючие, и добрые. Очень по-деловому, без признака улыбки, взглянул этот юноша на Сергея. Выждав секунду, спросил:

— На сколько?

— На три года... Вы, товарищ Моисей, откуда? — атаковал его в свою очередь Сергей.

— Из Петербурга.

— Эсер?

— Нет, эсдек, большевик.

— Как хорошо, я — тоже.

— Восхитительно! — воскликнула низенькая женщина, — стало быть, мы все здесь марксисты! Мы организуем свою коммуны. Вообще надо вплотную заняться организацией и переменить расписание встреч по партийному приказу... Садитесь есьте треску.

— Мария, все у вас треска да треска, — меланхолично заявил Моисей.

— Пьжшу вы тоже не любите, сайда вам не нравится. Мясо вы не уважаете, — отвечала низенькая. — Я уж не знаю, что вам, родной Моисей?

— Привыкайте, Моисей, я тоже привыкла, — грустно встала девушка с тонкими пальцами.

— Да, Юличка, — ответил ей Моисей, — голос у него был сухой, и каждый конец фразы казался отрубленным. — Помните, как вы на этапе впервые вкусили черного арестантского хлеба? Понимаете, — обратился Моисей всем корпусом к Сергею, — эта деточка только что из маминых и папиных теплых рук попала на этап. Дело было в Киеве. Дали ей краюху черного хлеба. Она его, как деревяшку, — в рот, а из глаз слезы градом, градом. Деточка еще: ей бы манную кашку, а тут солдаты с черным хлебом, арестанты, этап. Вот, Юличка, что значит в революцию итти.

Юличка покраснела, стала защищаться:

— Выдумки, все это — выдумки. Легенда. Я вовсе на этапе не плакала, вы, Моисей, — сочинитель, — и мило грозила ему ложкой.

Постучали в дверь. Вошел стройный студент среднего роста. Глаза его были яркосиние, студенческая тужурка — синяя, брюки — синие, рубаха-косоворотка — синяя, фуражка в руках — тоже синяя. Даже под синими глазами — синие круги. Отбросил в сторону, на кушетку, фуражку, закутался:

— Вот он где, новичок-то, а я целый час проторчал у полицейского управления. Я немного опоздал... Ну, что, как на воле, там?.. В Петербурге? В Москве?..

— Да не знаю. Я ведь в тюрьме порядочно сидел. Это вам скорее можно знать, что делается на белом свете, вы хоть газеты читаете.

— Ах да, верно, верно, — охотно поправился студент. — Я вас на свой аршин меряю: я ведь не шел этапом. Мне разрешили на свой счет...

Всем стало немного неприятно: чего он хвалится милостями врага к нему?

— Юличка! — обратился синеглазый к девушке. — Да?

— Что «да»? — Юличка покраснела.

— Вот он всегда так смущает нашу барышню, — заметил Моисей и засмеялся немного деланно.

— А вам что, пусть смущает, — рассердилась Мария и сразу сделалась старой.

— Всегда все надо мной смеются, — заключила Юличка тоном жертвы.

Сергею вдруг стало жалко всех и в особенности самого себя.

Обед затянулся, потому что на десерт был горячий спор между марксистами и эсером — синеглазым студентом. Юличка тоже была марксисткой и спорила горячо. Но синий ей не отвечал или же ее возражения приписывал Моисею и тогда их парировал. Сергей курил и только иногда вставлял свои замечания. Мария вывела Сергея из неопределенности:

— Где вы будете ночевать?

— Ах да, — захлебнулся Сергей табачным дымом. — Я обещал притти к тому товарищу.

— К Ефиму? Ну, что ж, если хотите, идите к нему. Он — интересный собеседник. Немножечко грубый... Вы могли бы рассчитывать и на наш диван. Оставайтесь, если хотите.

— В этом доме, — поспешил пояснить синий, — Ефим считается монстром.

— Ничего подобного, — возразили в один голос Моисей и Юличка.

— Я уж обещал к Ефиму. Пойду к нему, — настаивал Сергей.

— Он — парень хороший, — рекомендовал его Моисей.

— На Лондонском с'езде был, — встала Юличка, и вдруг какая-то неловкость сразу наступила. Моисей из-под низу блеснул глазами куда-то в угол. Мария досадливо притопнула кончиком ботинка, сама Юличка растерялась, словно ступила ногой не туда, куда следует. Это замешательство передавалось и Сергею, хотя он не понимал, в чем дело. Радостно выглядел только один синий. Он первый и взял слово:

— Идемте, дорогой товарищ Сергей, я вас провожу к Ефиму.



Мезень — городок маленький, улиц в городе — всего одна, зато широкая и длинная. Дома — высокие, чистые, внутри просторные. Народ в них живет рослый, широкоплечий — мужики и мещане русобородые. Женщины, как это ни странно, часто встречаются смуглые, с большими черными глазами, как испанки. Вокруг города с одной стороны на необъятные пространства — тундры, с другой — до конца земли, до полюса, Белое холодное море и океан. Море — во льдах. Тундры — в снегу. Снег до того чистый, что кажется прозрачным под лучами солнца.

Сергей раньше никогда не предполагал, что не очертания, не рисунок, а сам цвет может быть таким привлекательным. Он наслаждался первым вечером на свободе. Болтая с «синим», спешил к Ефиму. Было какое-то еще особое чувство в Сергее. Оно только-что возникало и самому ему было еще неясно, — чувство какого-то еле уловимого внутренне-го холода и жутки, может быть, одиночества, может быть, сиротливости.

«Синий» нажал щеколду калитки маленького, покряхтевшегося и почерневшего домика. Прямо от калитки шла высокая лестница, вся запорошенная снегом. «Синий», открывая дверь в жилище Ефима, торжественно пропустил вперед Сергея. Перед дверью стоял Ефим. Он радостно приветствовал Сергея, но чувствовалось, что Ефим вместе с тем остро и пристально наблюдает за ним. Глаза Ефима искрились весельем, пожалуй, немного озорством, на щеках у губ проступали лукавые ямки смеха. А в общем большая привлекательность была в лице этого человека. Ефим начал:

— У меня попросту: ночевать будете без комфорта, садитесь.

— Прекрасно, — ответил Сергей и покосился на убогую, узкую, с кривыми ножками кровать.

Ефим моментально уловил:

— Не беспокойтесь, найдется место, найдется...

Однако все грое, несмотря на приглашение, стояли. Ефим нарочно, как видно, не садился. «Синий» догадался:

— Всего вам хорошего, приятных разговоров и сладких сновидений, — сказал он.

— Мое! — твердо, словно скомандовал, ответил ему Ефим и почему-то даже подал руку смущенному студенту. Тот, неуклюже повернувшись, вышел.

— Калитку прихлопните, не забудьте, — вдогонку ему крикнул Ефим.

Сергей нашел, что у Ефима приятный, задушевный тенор, — он, должно быть, хорошо поет под гитару...

— Вы играете на гитаре? — спросил его Сергей, несмело садясь на скамейку (стульев не было).

— Нет. Что, они тебя обедом-то подкормили?

Неожиданный переход Ефима сразу на «ты» вдруг сделал его как-то роднее Сергею. Совсем не грубо, а ласково выходило это у Ефима. Сергей же, как человек, вечно во всем и больше всего в самом себе сомневающийся, никак не мог так быстро перейти на «ты». Чтоб говорить другому «ты», Сергею — подсознательно — казалось, что надо, чтоб произошло какое-то особенное событие.

— Да, я хорошо поел, поговорили, занятные люди...

— Находишь?

— А что?

— Ничего. По-моему, это — какое-то святое семейство... Народец вообще.

— Вы, я вижу, недолюбливаете их. Но со мной они обошлись очень приветливо, тепло приняли...

— Еще бы, ведь ты — интеллигент. А приди к ним какой-нибудь в стоптанных веленках и вот с этаким носом, — Ефим приставил к своему носу два кулака, — так они его едва и на порог пустят: «неинтересный собеседник». Им бы все беседовать, а народом они брезгуют...

— Гм, гм... И Юличка такая же?

— В роде. Но самая злобедная у них — это Мария. Меньшевичка. Чем меньше явление, тем она его легче охватывает. Рабочелюбка. Как и все, конечно на словах. Из них порядочный парень только Моисей. Он — большевик, и за-калка у него есть. Жаль мне его, что он затесался в святое семейство. Но это потому, что он пришел раньше меня, я

бы не допустил. А то они приняли, обогрели, а он и растаял. Смотри, ты туда не попади. Держись в стороне.

— Я буду с тобой... поближе, — вырвалось у Сергея так неожиданно и сердечно, что он покраснел.

Ефим размяк, расположился. Стал рассказывать про себя. Он в ссылке уже не впервые. Однажды он бежал из Пиннеги, был некоторое время нелегальным на воле, все время на революционной партийной работе, пока снова не «сел». Теперь его отправили подальше. Здесь он и женился, тоже на ссыльной. Она раньше его окончила срок ссылки и только недавно уехала. Не без застенчивости, но с большою охотою и даже гордостью Ефим, порывшись на столе в газетах и бумагах, достал оттуда портрет той, с которой он связал свою судьбу. Пока Сергей рассматривал портрет молодой девушки, типичной украинки, стройной, с лукавым взглядом смеющихся глаз, Ефим еще раз тихо пояснил:

— Наш товарищ... однопартийка.

— В любви это роли не играет, — заметил Сергей, сам не совсем веря в то, что говорит.

— Ну, не скажи,—ответил Ефим,— попадется вот такая меньшевистская баба, язык с ней обломаешь, когда надо работать. Разве это жизнь была бы...

— С боевой точки зрения, ты прав.

— А на какой же прикажешь быть!?

У Сергея язык так и чесался сказать Ефиму, что он прав и что, в сущности, Сергей тоже имеет невесту, которая в то же время и сотоварищ по партии. Но ему стыдно было в этом признаться. Ефиму тоже стало немного неловко, что слишком рано едва знакомому товарищу рассказал все это. Он осторожно вынул из его рук карточку и опять не утерпел:

— Она ждет меня. Как кончу здесь, так поеду, поженюсь окончательно.

— У меня тоже, собственно, — начал было Сергей, но не закончил, потому что и сам хорошенько не знал, ждет ли его кто-нибудь, или нет, кажется, что нет.

— Эге, брат!—подбодрил его Ефим.

— А чего ты не бежишь опять?

— Сейчас трудно. Да потом в моем

положении нелегальным недолго проходишь и немного шользы партии принесешь. Легальный-то я буду устойчивее, долговечнее. Впрочем, если надо будет, — готов...

— Ты, говорят, был на Лондонском с'езде?..

— Тссс. Эх, дураки, болтают. Это наверное в овятом семействе тебе сказали. У Марии — недержание языка.

— Мне-то, думаю, можно.

— Да ведь не тому надо говорить, кому можно, а кому нужно. Я бы сам тебе сказал, а она, меньшевистская душа, не имеет права распространяться.

Ефим много и увлекательно рассказывал о Лондонском с'езде, картинно изображал революционную работу в его родном городе Луганске, на заводе Гартмана, много рассказывал про екатеринославских рабочих, про погромы... Говорил о меньшевиках и большевиках. Ефим не находил слов, чтоб изобразить ничтожество своих идейных врагов. Он часто говорил:

— Среди меньшевиков есть люди с башкой, вообще они много знают, но ничего не понимают...

Говорили так до первых петухов...

— Ты постой-ка, — сказал Ефим как-то по-родному, — в тюрьме-то ты назаябся, так я положу тебя на печь. Я сам там всегда греюсь.

— Нет, что ты, я лучше на койке, на кровати, — поправился Сергей.

Началось обычное уговаривание и куражение. Ефим заставил Сергея забраться на печку, даже подсадил его туда, и отдал новому своему товарищу все, что имел теплого. Глаза Сергея тотчас же слиплись. Но он еще разобрал долетевшие до него слова Ефима:

— Завтра пойдем к моему земляку Юрию — тоже гартмановец.

— Это хорошо, — услышал Сергей свой — и в то же время как бы чужой — ответ и утонул окончательно в океане тепла, добра, начавшейся дружбы.

Длинноносый гартмановец Юрий показался Сергею настоящим запорожцем. Глаз его был меткий: на прищел брал всякого человека. А сам — веселый, остроумный, анекдоты сыплет не уста-

вая. Вообще он был говорун, певец, гармонист. Но за этой веселостью чувствовалось и нечто другое. Не всего себя показывал Юрий.

Кто хоть раз говорил с Юрием или в особенности соприкасался с ним по работе, не мог не чувствовать, что этот человек притягивал и вместе с тем пугал, отчего становился еще притягательнее.

Подступала скупая северная весна,— Юрий первый, на удивление мещан и даже своих товарищей, открыл окно. Его видели сидящим у окна с гармошкой. Волосы его теребил ветер. От висков по лбу у Юрия шли глубокие, острые залысины. И все лицо его было озорное, наполненное страстью. Лучистыми, мутноватыми глазами (светлые прожилки у зрачков) смотрел он поверх улицы. Сила, молодость и нечеловеческая тоска были в нем. Юрий не заметил, как к его окну приблизился Сергей.

— Ты так играешь, за душу хватает... — сказал Сергей.

Юрий оборвал звуки «подруги» и свои собственные (он подпевал ей глухозатым, но красивым запорожским басом).

— Отставь душу в сторонку, не будет хватать, — сказал он и сразу рассмеялся, протянул руку:

— Здорово, брат!

— Здравствуй!

— Где ты у человека душу нашел?

— Не придирайся к словам, не будь строг.

— К чему же придираешься, как не к словам, без них ведь ни черта не поймешь.

— Может быть, я помешал тебе, могу уйти.

— Наоборот, я все хотел тебя спросить про Париж, про то, как там рабочие живут.

Сергей не испытывал ни малейшей неловкости говорить с Юрием. Охотно стал он рассказывать о Париже. Однако незаметно, но очень скоро Юрий столкнул его к другой теме: к отношению между мужчиной и женщиной. Сергей, может быть, впервые в своей жизни охотно взял слово и поспешил сказать, что он любит, что женская ласка, про-

никнутая пониманием, — великая, движущая сила. Юрий неожиданно расхохотался, назвав Сергея средневековым рыцарем.

Сергей хотел обидеться, но, во-первых, Юрий не давал ему слова, а во-вторых, Сергей чувствовал, что на Юрия обижаться нельзя, ибо он со своим дьявольским смехом более искренен (если не более прав), чем Сергей со своим признанием и восхищением любовью. Вдруг так же неожиданно, как начал нападение, Юрий смутился, даже покраснел и объяснил, что это он шутит, что он над всеми шутит, кто тоскует о любви.

— Ты сам о ней недурно поешь под гармошку...

— Эх, так ведь я только пою...

— Я тоже так же, как и ты, думал когда-то, но теперь я могу тебе ясно рассказать, что такое любовь.

Юрий до пояса вытянулся из окна, ветер развевал его волосы, улыбающееся лицо Юрия стало классически-клоунским, циничным. Сергей осторожно, но откровенно говорил об удивлении перед новым чувством к Марии, оставленной в Вологде.

— А где теперь твоя шмара? — подчеркнуто грубо перебил Юрий изящный рассказ Сергея.

— Она не здесь, она в Вологде, — нейтрально, сдерживаясь, ответил Сергей.

— Наверно теперь там кому-нибудь шарики крутит...

Сергей решительно не понимал, как он все это сносит, как смеет Юрий играть на таких сокровенных струнах. А отчего же все-таки Сергей не уходит отсюда?

Юрий закурил трубку. Сергей понял, что Юрий иронизирует над жизнью, потому что она не идет так, как он хочет...

В конце широкой улицы, упирающейся в близкий белый зимний горизонт, показалась ловкая фигура Ефима в полубубке, — руки в фарманах, шапка набекрень. Он шел вперевалочку, ставя ноги немного косолапо, как медведь, но походка была легкая и быстрая.

— Эх, здорово...—приветливо сказал Ефим, — пойдем в тайгу гулять. Кажется, самоеды приехали, юртами расположились недалеко.

— Я у них в прошлом году был, — сказал Юрий.

— Я нынче тоже хочу по тем же делам, по которым ты у них был в прошлом году...

— Лонись, как говорят здешние («лонись» на языке северных крестьян значит «в прошлом году»).

— Вот именно «лонись», да только у тебя лонись-то ничего не вышло.

— Я совсем было с ним сговорился, да у меня Гаяс его перехватил и удрал с ним аж до самой Вологды.

— Вот и мне бы... — Ефим осторожно огляделся вокруг себя. — У тебя там никого в избе-то нет?

— Пусто, — ответил с грустью Юрий. — Ты бежать собираешься?

— Угу.

— А ведь хотел теперь оставаться? — заметил Сергей.

— Нет, я пришел к другому выводу. Не хочу я, подобно святому семейству, изучать французский язык да историю философии, да Ферварна, да спорить о Богданове и Махе. Я без массы, как рыба без воды.

Юрий бесовски подмигнул:

— И «она» там ждет!

Ефим добродушно мазнул его пятерней по губам.

— Нет, это правильно, — примиряюще заметил Сергей. — Я тоже собираюсь удирать.

— Чорт возьми, тогда и я тоже. Ты из какой ссылки бежишь?

— Из третьей,—ответил Сергей.

... Ефим отечески похлопал его по плечу:

— У Сережи, брат, нога набита на побегах, молодец!

— А что ж,—ответил Сергей,—стопинский режим хотя и строгий, да на наше счастье дураков хватит в России. Всегда проскакивал без сучка, без задоринки.

— Тебе легко, а мне каково с гармонией-то, жаль ее оставить.

— Конечно трудно, если ты обвешан всякой дрянью. Гармонь... возьми еще

самовар, корыто. Надо летать, чтобы ничего не было жаль, ровным ровнô!

Решили прежде зайти за Гаясом: так как он один раз уже удирал с самоедом, то про него шла слава, что он с ними хорошо сговаривается, к тому же та-тарин...

\*\*\*

Гаяса, как и следовало ожидать, застали за чаем. Он сидел за белоснежным столом и нежно, с любовью, весь истекая потом, тянул чай из чашки с золотым ободком и золотой розой. Чай был ароматный, вся комната была им пропитана. На столе чинно и торжественно были разложены разных сортов баранки. Гаяс был отзывчивый человек, приятный собеседник и тем не менее находился на каком-то почтительном расстоянии от товарищей. Это чувствовали все и разговаривали с Гаясом только на самые серьезные темы, не открываясь перед ним своими интимными и сокровенными сторонами. Да и сам Гаяс словно побаивался, как бы не заговорил с ним кто на «тонкие» темы. Во всяком случае он старался всегда руководить беседой, держа ее на определенном уровне.

На этот раз он заговорил с товарищами о полицейском режиме в Мезени. Гаяс считал, что здесь самые суровые условия потому, что в этом краю мало было настоящих политиков. Все дело, по его мнению, портили так называемые «общественники», то-есть крестьяне, высланные по приговорам сельских обществ. Однако на самом деле из числа общественников было много политиков. Высылки по приговорам обществ были диктуемы полицейским начальством, которое именно таким образом хотело освободиться от беспокойных элементов в деревне.

Тут было и другое намерение: зараннее дискредитировать эти «беспокойные» элементы в глазах крестьян. Поэтому официально такие высылки мотивировались каким-нибудь уголовным деянием.

Товарищи Ефим, Сергей, Юрий отчасти соглашались с ним, что действительно есть некоторые черты режима в

Мезени, против которых надо восстать. Юрий возмущался тем, что каждое утро стражник обходит ссыльных, осведомляясь «о их здоровье», как в тюрьме! Ни в одном уезде таких проверок не существует. При этом стражники врываются грубо, рано, в валенках, пытаются, если спишь, пошарить на столе в бумагах.—вообще не ссылка, а целая каторга! Юрия поддержали все и решили, что нужно в самом деле дать отпор полицейскому хамству.

Тут же был намечен такой образ действий. все ссыльные запираются на несколько дней в своих жилищах и на все стук и домогательства открыть дверь отвечают молчанием. Если возмущенные стражники решатся ломать дверь,— пусть: этим будет нанесен убыток несчастному обывателю, и, следовательно, вызван конфликт между населением и властью. Эту линию ссыльные должны вести с истинно революционной настойчивостью до тех пор, пока исправник Лапин (толстый, невысокого роста мужик с длинной пегой бородой и бессмысленными перепойными глазами) не отменит визитов стражников по квартирам ссыльных.

Ефим, Юрий и Сергей взяли на себя заботу переговорить с остальными товарищами, вовлекая в революционное предприятие и общественников (от Гаяса сие намерение было скрыто), и добиться единодушно решения всей ссылки.

Политики в общем делились на три группы. Во-первых, та, которую Ефим, а за ним Юрий и Сергей называли «святое семейство». К ней примкнул и Гаяс. Во-вторых, так называемые «французы», т.-е. группа, где изучался французский язык. У этой группы была своя обеденная коммуна, как и в «святом семействе». Только Моисей иногда шатался то туда, то сюда. Ядром третьей группы были гартмановцы: Ефим и Юрий. У этой группы была тоже своя коммуна по обеду. В этой коммуне больше всего ели сайду и пикшу, дешевую вонючую рыбу, соленые огурцы и моченые яблоки. Сергей примыкал к этой группе. Но когда обнаружилось, что он знает французский язык и даже жила в Пари-

же, его стали приглашать к французам, с которыми он одно время занимался. Одиночками были по большей части общественники. Самым заядлым одиночкой из них был армянин, сельский учитель, горячий и лукавый человек. Он причислял себя к дашнакам. Синеглазый студент Рожанский жил, как бродяга: он то обедал с гартмановцами, то у «французов», а чаще всего просиживал в «святом семействе». Его недолюбливали, хотя и сами не могли понять, почему.

Когда однажды в обеденной коммуналке ели хорошо отмоченную и вкусно приготовленную треску, синеглазый студент сказал Ефиму:

— Если протест, который вы предполагаете организовать, должен быть проведен всеми ссыльными, то едва ли это выйдет. Среди нас есть один, которого лично я подозреваю в том, что он служит в полиции.

— Кто это такой?—внутренне встреонулся, но внешне просто осведомился Ефим.

— Армяшка, — прошипел ему в ухо синеглазый.

Речь шла о дашнаке. Действительно, поведение его было необыкновенно. Он казался остервененным на весь свет, был очень беспокоен, постоянно гоним из квартиры в квартиру, вечно искал угла и заработка.

— Во-первых, почему вы его называете «армяшкой»,—с достоинством говорил Ефим,—а во-вторых, какие у вас основания?

— Основания—извольте: прежде всего мое никогда еще мне не изменяющее чутье, далее—неясность его личной жизни: мы не знаем, с какой он женщиной живет, и наконец вы и сами знаете, что нам всем отказали в одежных (денежное пособие, выдаваемое ссыльным на приобретение зимней одежды), а он получил.

— Что нам отказали—это мне известно, а откуда вы знаете, что он получил?—говорил Ефим, аппетитно жуя треску.

— Вот еще, для кого это тайна? Любый чиновник полицейского управления подтвердит мою информацию.

— Весьма возможно, но мы с ними не разговариваем и не доверяем им

— Я тоже с ними не разговариваю. Но он сам сболтнул своей хозяйке, а она — моей, а от нее—я...

— А мне было бы неловко говорить об этом с мезенской мещанкой.

— Я, собственно, не могу ей закрыть рот.

— Значит, вы так себя перед ней поставили.

— Позвольте-ка однако, речь идет не обо мне, а о дашнаке.

— Если бы он был провокатор, то полиция нашла бы способ так его комиссировать, что никакая хозяйка не узнала бы, и уж во всяком случае не одежным пособием.

— Ваше дело и право не верить, но я, как член колонии ссыльных, вношу конкретное предложение—не включать армянина, в число товарищей, организующих протест.

— Посмотрим...

— То-есть как «посмотрим», когда я сделал слышанное вами предложение?!

— Если вы настаиваете, создадим комиссию и проверим ваши сведения.

— Я решительно против комиссии, ибо для меня дело ясно.

— А я—«за», потому что мне совсем неясно. Ты как, Юрий?

— Да уж конечно, если сделано заявление, без комиссии не обойдешься.

— Дело Азефа рассматривали по крайней мере 10 комиссий...

— А вот там, в комиссии, поговорим, — угрожающе резюмировал Ефим.

Накануне намеченного выступления Юрий встретил дашнака на базаре: армянин продавал свое зимнее старенькое, истертое пальто. Юрий отозвал армянина в сторону и добросовестно, откровенно объяснил ему, что с завтрашнего дня ссыльные должны запереться от стражников, чем бы это ни угрожало. Армянин прохрипел:

— Это—святая мысль, товарищ, это правильно. Я напишу своему приятелю на Печору, там тоже варварские порядки.

— Писать-то еще погоди, а то разглагольствуй раньше времени, да и своего прия-

теля подведешь. Имей в виду, что и по отношению к нам будут репрессии, мы все рискуем. Нужно быть готовым, не падать духом...

— Да что ты со мной торгуешься, я прежде тебя на все готов. Не пропадем. Имеем, как и ты, две руки, две ноги и всего одну голову. Достаточно—не пропадем. А вот если нас рассылать будут по разным отдаленным местам, не купишь ли у меня мой жар-халат?—армянин тряхнул перед Юрием пыльным пальто. — Сколько дашь, а?

— Прости, друг, мне не нужно. А у тебя что, с харчами трудно?

— Эге. Семья на Кавказе: куча детей, и каждый требует, жить хочет. До того довели меня, что я пришел на-днях в полицию, для храбрости белого кахетинского (водка) выпил конечно и с большого размаха по столу—бац!—и пошел кричать... кричал, кричал, как шайтан, кричал. Ультимативно сказал: пока не дашь одежных, не уйду. Вырвал в конце концов у подлецов способность.

— Нехорошо, брат, индивидуально действуешь...

— Тебе сколько лет? Двадцать? Вот ты и не индивидуальный, а мне сорок пять. Меня из вас наверное никто не поймет.

— Все-таки нехорошо, о тебе могут чорт знает что подумать...

— Думай, пожалуйста, думай. Кто меня уважает, никогда не будет «думать», а кто не уважает, на того я чишаю с высоты Казбека... Слушай, купи жар-халат, недорого прошу, ей-богу. Или вот шапку. Или, знаешь, у меня есть совсем новая колода карт...

В назначенный день утром началось пассивное сопротивление. Ни один ссыльный, в том числе и армянин, не пустил стражника. Кампания началась дружно.

Исправник распорядился не выдавать ссыльным почты. Начальник почтовой конторы опротестовал это решение, как незаконное. Начался конфликт в самом гнезде администрации. Почта победила. Исправник рассвирепел и дал приказ взламывать двери, арестовывать бун-



товщиков и высылать в разные, еще более, чем Мезень, отдаленные места.

Впрочем двери начали ломаться, можно сказать, сами собой еще до приказа исправника. Прежде всего это произошло у армянина. Он не только не открывал двери стражнику, как другие, но вследствие своего темперамента осыпал стучавшегося за дверью стражника и всю полицию во главе с исправником и всем императорским домом,—а заодно и божью троицу,—всевозможными и невозможными ругательствами. Он довел стражника до остервенения, и тот раскромсал дверь шашкой. Спinoй к нему сидел голый армянин перед зеркалом и выстригал в ноздрах волосы. Армянин был арестован и сослан в Печорский край (поближе к его приятелю). Так был прорван фронт. Двери были взломаны. Некогорые стали открывать «сами». Всех решено было разослать, рассеять по необъятным лесам и тундрам. Ефима отправили в Погорельцы, Сергей, Юрий и их приятель Макар пошли в «Долгую щель» на Канин полуостров, синеглазый попал в Холмогоры (его все считали счастливецом, потому что Холмогоры, с точки зрения Канина по-

луострова или Печоры, все равно, что блестящий Петербург). Все «французы»—в Кемь. Мария и Юличка временно, до лета, из уважения к слабости их пола были оставлены в Мезени. Эффектнее всех вышло у Гаяса. Когда вскрыли его комнату, его в ней не оказалось. Все поиски по городу были безрезультатны. Совершенно очевидно,—Гаяс бежал. Он, повидимому, сговорился с самодомом. И какое прекрасное время выбрал бежать! А может быть, и протест, и в особенности самую форму его он предложил в целях задуманного побега. Во всяком случае ловко законспирировал свое намерение.

— Вот блестящий восточный интриган!—говорил с завистью Сергей Юрию, когда они оба полулежали на драных дровнях, на лукошке, тыкаясь затылками в сухощавую спину безносого мужичонки, который с унылыми взвизгами гнал пару кляч все севернее и восточнее, к Ледовитому океану.

А тем временем Гаяс в тех же снежных пространствах двигался все южнее и западнее—к берегам других, лазурных и теплых морей.

# Великий или Тихий

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Окончание <sup>1</sup>)

## XVIII

Так егерю и не пришлось побывать на городском следу. И без него уже давно ухватили, вытягивали звено за звеном эту цепь. И без него давно наполнились смыслом иероглифы. В третий раз широкой дугой уходил пограничный катер. На кавасаки уехал в город Свяжинов. На допросе, валясь и сваливая других, показал Головлев, что есть и иные, постарше его в должности, скрывающие каппелевское свое прошлое. Однако продолжают они благополучную жизнь, а он должен за них отвечать. Так всплыл бывший штабс-капитан из разведывательного управления. Только ни сложного его калмыцкого имени, ни места службы и жительство не знал Головлев. Знал он лишь его облик и то, что жительствоует человек во Владивостоке. Были и двое других, тоже скрывших каппелевское свое прошлое, но слышал он, что находятся они оба в Улоне \*).

Еще с пристани напрямик в гору направился Свяжинов. Некая сложная догадка выростала из головлевских признаний. Откуда пришел во Владивосток Алибаев? Даже в первый день своего возвращения всем чутьем он ощутил нелюбимость, недружество этого человека. Тогда объяснил он боязнь, что останется он, Свяжинов, в их тесном доме,

стеснит семейный порядок жизни. Но в памяти подбиралось сейчас и другое: память сохранила давний алибаевский облик. Откуда пришел он тогда в развороченный, еще не остывший Владивосток? Почему так торопливо перекинуло его в эту горячку из Забайкалья? Все было неверно и смутно: и обладание этим городом, и молодые неокрепшие силы, и возможность новых вторжений, и горячий след оккупации. Впрочем в те годы не слишком пристально останавливал он себя на многом. Девчонка по-девчоночьи выскочила за случайного человека,—он не одобрял тогда этого. Но жизнь складывалась стремительно и только как-то мельком не взлюбил он с самого начала этого полумонгольского Еида, гораздо старше Ксенни—человека. К тому же облик, который в подробностях восстановил Головлев, какими-то отдаленными своими чертами совпадал с этим обликом.. На самом деле, не именно ли калмыцкое, степное, скуластое было в этом человеке? А ведь именно калмыцкое каппелевское войско разоружали они в Никольске-Уссурийском. Как бы просвечивающей географической сеткой покрывало еще прошлое этот берег. Борьба с отсталостью, борьба за то, чтобы поднять, промышленно его вооружить, тысячи могил, наскоро насыпанных в распадках и на склонах сопок,—он сам шел этой дорогой, сам хоронил, сам набивал себе щеку отдачей от винтовки, сам восстанавливал, сам заново

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 10—11 с. г.

<sup>\*)</sup> Уссурийский лагерь особого назначения.

строил... а здесь все еще гнезвился, высматривал, срывал работу недобитый враг. «Ну, а если так...»—правая рука привычно прошлась по бедру, по надежной жестковатости браунинга. Эти охровые заборы провинциального бытия. Он ударил в знакомую с детства калитку. Даже скрип ее остался прежний, как в детстве. Он вошел в дом. Шипел примус. Сестра готовила завтрак. Старший племянник был в школе. Младший пересыпал песок возле грядок. Ксения обрадовалась брату в своем одиночестве.

— Где же ты пропадал? Хочешь чаю... может быть, кофе?

Он сел.

— Нет, не надо. Я завтракал. Как ты живешь?

Она развела худыми руками.

— Как видишь.

— Ну, все-таки хорошо живешь, мирно?

— По-семейному живу, Алеша.

Она была все еще миловидна в своем утреннем платье с цветочками.

— Муж не обижает?

— Все мужья одинаковы. Да и забот вемало... даже нельзя осуждать.

Ему стало ее жаль. Стародавняя бабья судьба. А были задатки... могла бы увидеть не только эти целенки и примусы.

— Муж на службе?

— Уехал.

— Куда?

Сразу как-то завяла основная цель его приезда. Он хотел его видеть, рассмотреть, наложить головлевское описание на его облик.

— В инспекцию.

— Далеко?

— Вероятно к Посвету. Он тебе нужен?

— Да... хотел побеседовать. Говорят, он толковый человек. Не перешел бы он за другую работу?

Она покачала головой.

— Наверяд ли. У него есть сейчас визы... может быть, мы уедем в Дайрен.

— Вот как. Это зачем же?

— Открывают представительство.

Ей хотелось поговорить с ним искренно. Конечно выветрился он за эти годы,

но все-таки был он—брат, и вместе они росли в этом домике.

— Разве в Дайрене открывают представительство?

— Да, говорят. А он знает языки. — добавила она не без гордости.

— Вот как... какие же?

— Знает китайский.

Он помолчал.

— Ты довольна?

— Как сказать... разумеется. Все-таки интересно. А Владивосток поднадел... Я сварю кофе.

— Нет, не хочу кофе.—Он прошелся по комнате.—Когда же он успел научиться китайский? —спросил он мельком.

— Еще в Забайкалье...

Он вдруг усмехнулся.

— Все-таки чудно... в детстве мы росли с тобой вместе, а теперь я даже не знаю, кто твой муж, откуда родом... как ты его встретила... ничего не знаю.

— Ну, это давняя история, Алеша. Встретила, как все девчонки встречают. разве тут запомнишь. Кажется везожили на всех... ну и всё.

Она прищурилась, словно вызывая себе давний образ.

— А ведь в нем наверное монгольская кровь...

— В нем не монгольская... в нем бешеная кровь. Когда он вспылит, он может убить человека.

— Бил тебя?—поинтересовался он.

— Нет, меня не бил.

Он решил—бил. Бил эту бледную режавшую жену. И детей наверное называл щенками.

— Бешеная кровь—не определение... в русский может быть бешеным. Все-таки он монгол или бурят, что ли... Он ни когда тебе не говорил?

— Степи он любит,—ответила она задумчиво.—Конечно, есть у него это в крови. Говорят, он на калмыка скорее похож... и ребята вот в него тоже... ни чего от меня не взяли. И такие же упрямые, с норовом... характеры уже образуются.

— Живешь с мужем, имеешь детей и даже не знаешь, кто он... эх, ты!—Он прошлепал и хлопнул ее шутливо по

лбу.—А видишь ли, все-таки прежде, чем приглашать человека, хотелось бы лучше его узнать. Он ведь в армии был?

— Да...—сказала она неуверенно.

— В царской?

— И в царской.

— Офицером?

— Должно быть. Я никогда не спрашивала.

— А зачем из Забайкалья в Приморье приехал... в ту пору ведь и поезда не ходили, и вообще заворощка была?

Она вдруг посмотрела настороженно.

— Ты точно допрашиваешь...

— Ну, вот еще... бабье рассуждение. Не желаешь, могу не спрашивать. Я в твоих же интересах.

— Я бы очень хотела, чтобы вы поближе познакомились,—сказала она успокоенно.—Он не плохой человек... конечно со странностями. Скрытный. К людям относится подозрительно. Но у него было тяжелое детство... он рассказывал, как его бил отец. Потом он бежал из дома.

Он слушал ее рассеянно.

— У тебя нет его карточки?

Она улыбнулась.

— Нет. Как глупо, что мы ни разу не снялись. Всё не до того. Да он и не любит сниматься. Раз только я его уговорила сняться с детьми.

Она порылась на столе в альбоме и нашла карточку. Это был бледный, чахлый снимок улычного китайца-фотографа на Семеновском базаре. У скуластых детей были выпучены глаза. И он сам с запавшими узкими глазками деревянно сидел между ними. Позади был южный полотняный пейзаж с морем и пальмами.

— Впрочем, свари кофе... я выпью,—сказал он вдруг.

— Ну, вот... ведь я предлагала.

Она готовно засуетилась. Он приоткрыл альбом и быстро сунул снимок в карман.

— Ты уж извини... настоящего кофе нет. Приходится пить такой.

Он пил, похваливал кофе. Пришел малыш, смотрел на него исподлабья. Он протянул ему сахару. Малыш не взял.

Была у него отцовская недоверчивость к людям. Свяжинов допил кофе.

— Ты приходи, Алеша... не провайдай.—Сестра провожала его.

— Я приду.

Со знакомым скрипением захлопнулась калитка за ним. Он шел насусленно. Не было жалости. Не было жалости даже к этому скуластенькому малышу. Если всё именно так, то три поколения выполоты!—Он был жесток. Классовая борьба... в этримиримость, в кровь, в ненависть! Даже как-то осязательно-грубо в наглядном своем приближении стало это сочетание слов. Он спустился по улице и разыскал учреждение, где служил Алибаев.

— Мне нужен заведующий личным составом.—Он достал свой горкомовский мандат.—Тут встретилась надобность... учет специалистов.

В личном деле Алибаева лежала старательно заполненная анкета. Была она излишне подробна. Только на некоторые вопросы он отвечал глуховато. Работал в Забайкалье сначала доверенным фирмы... после революции—инструктором по пушному делу. В царской армии служил в должности писаря в Забайкальской казачьей дивизии. После демобилизации был отправлен в Тюмень. Работал в переселенческом управлении. Из Тюмени возвратился на промысла по Амуру. Гражданская война застала в лимане Амура. Два года была отрезан. В Николаевске-на-Амуре попал в восстание Якова Тряпицына. Был приговорен японцами к смерти. Удалось скрыться. Жил у гиляков в стойбище Тыр. Затем вернулся в Хабаровск. Захотелось поближе к морю. Переехал во Владивосток. Здесь женился. Дальше шло перечисление служб. Три дня назад Алибаев уехал в инспекцию. Катер должен вернуться наутро. Оставался снимок. На углу Свяжинов остановился. Дорога шла в гору. Серый дом на горе—бывшая гимназия, ныне Политическое управление—был виден издалека.

... Долгий день. В витрине китайца-фотографа на Семеновском базаре выставлены остолбеневшие плоские лица. Моряки в классических позах берегово-

го содружества. Дети—головастые младенцы, унаследовавшие уродство отцов, как семейную добродетель. Да, именно на таком же бледном, иссера-зеленсватом снимке признал Головлев далекие черты штабс-капитана... он вспоминал его имя. Он вытягивал его из корявого сырого вещества своей черепной коробки. Военный обшлаг двигался по бумаге. Следовательно, восстановил черты прошлого. Слово снятая десятилетье назад, была проявлена эта пластинка. Ветерок гнал пыль между рядами уже пустого базара. Оставались шелуха, торговашеский прах. Утром возвратит катерок в покинутое лоно Алибаева. Его встретят деловито, как делового человека. Нет, поглядит, поглядит и он в калмыцкие, ничем не прикрытые и обнаженные глаза!

Он пошел дальше. Возле прохода на Миллионку стояли, как обычно, сидели на корточках, торговали, ели, просто слонялись, оглядывали проходящих—китайцы. Пахло сложными запахами всех этих харчевок и булочных. Он прошел китайским кварталом, и опять простиралась дорога в гору—к дому его детства, который готовился теперь он разрушить...

Катерок с Алибаевым возвратился не утром, а в ночь накануне. Попутный свежий ветер подгонял его от Посыета. На море развело волну. И не к обычной стоянке возле морской пристани причалил он, а возле самого ковша с его мешевом кунгасов, катеров и шаланд. Лестница круто вела по откосу в город. Луну затушило. Погода портилась. Даже на Миллионке уже погасали огни. Лицо еще горело от ветра. Алибаев одолевал крутизну. Он не торопился. Ветряная чернота покрывала улочки. Окна дома были темны. Он не стал открывать скрипучую калитку, а пролез в щель недостающей доски забора. Все спали. Он поцарапал по стеклу. У жены был привычный чуткий сон—дети приучили к полусну. Тотчас забелело, она подошла к окну, всматриваясь.

— Это я... открой.

Тепло и мирно пахло детской.

— Как это ты ночью?..

— Управился раньше, да и ветерок подгонял. Всё в порядке?

Он поцеловал ее в лоб.

— В порядке.—Она зажгла свет.— Да... был брат, Алексей. Он хотел тебя видеть. Говорил про какую-то службу.

— Про какую службу?—Он спросил подозрительно.

— Я не знаю... и вообще интересовался тобой. Я бы хотела, чтобы вы подружились.—Она села с ним рядом на диван. От него еще по-морскому пахло свежестью. Она прижалась к нему. Даже как-то по-новому ощутила она его сильное, широкое плечо.—Ты знаешь, как странно, Миша... я подумала сегодня—ведь мы никогда не снимались вместе. И даже ребят-мальшами не сняли.

— С чего это ты?

— Алеша хотел посмотреть твою карточку... и у меня ничего не оказалось, кроме той плохой китайской фотографии.

Он подвинулся. Теплое плечо жены стало ему неприятно.

— Зачем ему моя фотография?

— Просто хотел посмотреть. Ведь он тебя мало знает.

Лампочка была не прикрыта. Окружность ее волосков золотела павлиньим пером. Он собирал в один фокус все это ночное, по-женски размягченное близостью признание. Она могла бы признаться во многом. Как-то заново разбудил Алексей дальний образ человека, который несочувственно и выжидательно слушал ее сейчас.

— Завтра поговорим. Пора спать,—сказал он сухо.

Он равнодушно поцеловал ее в лоб и пошел умываться. Она посидела еще на диване. Алексей был прав. Она не знала, совсем не знала этого жесткого и грубоватого человека. Да и не рада была она сейчас его ночному возвращению. Постель уже остыла. Ксения легла и заложила руки за голову. Младший почмокивал губами во сне. Алибаев вернулся в комнату. Руки его были еще сыры от мытья. Он быстро подошел к сто-

лу и перелистал альбом с фотографиейми.

— А где фотография?—спросил он вдруг.—Я спрашиваю: где фотография?

— Какая фотография?

— Где я снят с детьми... китайская фотография.

— Господи, да в альбоме же... где она может быть.

— В альбоме ее нет.

— Ну, поищи хорошенько.

— Я говорю—в альбоме ее нет...

Пойди сюда.

— Завтра найду.

— Пойди сюда,—повторил он в ярости.—Где фотография?

Она снова встала с постели. Внезапно разом, мгновенно хлынули слезы.

— Зачем ты меня мучаешь? Ты не любишь меня. Ты никогда меня не любил.

Она даже стала ломать руки—так несправедливо, жестоко, мелко было это ночное его приставанье. Он смотрел почти брезгливо на ее искаженное слезами, по-лягушечьи вдруг раз'ехавшееся лицо.

— Я спрашиваю, где фотография?

— Господи... пустяки какие... глупости какие... вот она... вот фотография!

Она быстро перелистала альбом. Фотографии не было.

— Сам выронил наверное...—Фотографии не было ни под столом, ни на диване, ни под вышитой скатерткой.—Я не знаю, где фотография,—сказал она наконец.—Завтра найду!

— Нет, ты сегодня найдешь...—Он схватил ее за руку повыше кисти.—Ты сегодня найдешь или... я дам тебе в морду... ломака!

Какое-то бранное, гнусное слово застряло еще в его зубах. Это было даже больше того, к чему она привыкла. Слезы ее мгновенно просохли.

— Ты с ума сошел... Хам! Кому нужна твоя фотография.

Его рука даже от'ехала на сторону,—так с размаху ударить по этой тоненькой шее, по искаженному некрасивому лицу.

— Иди, спать... дура. А фотографий не смей показывать... никому не смей!

Кровинушка... недалеко от братца шагаешь. Его вот выкинут из партии за разные художества... голым останется. Партийный билет только и есть. Ни образования, ни способностей—в чистую

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Небось, разболталась по-семейному, размякла... Ложись спать. Смотреть тошно.

Он забрал подушку и одеяло и ушел спать на диване. Она лежала и смотрела перед собой. Жизнь была испорчена, безрадостная жизнь, отягощенная детьми. Дети. Больная жалость к ним. Завтра ушла бы. Сумела бы еще повернуть свою жизнь. Не все проскользнули годы. Ночь шла. Только под утро, с мокрыми непросыхающими щеками, она заснула. Разбудил малыш. Привычно вознялся, покряхтывал, привычно стояла она подле него. Младенчески позвякивало. Он утоленно, с глазами, еще опутанными сном, полез под одеяло. Она оглянулась. Диван был пуст. Алибаева не было. Время едва подползало к половине восьмого. Уже ушел и даже не вскипятил себе чаю. Так и надо. Бешеный, сумасшедший человек. Из-за чего? Из-за дрянной ненужной фотографии! Она даже содрогнулась—так невидела она его сейчас. Хорошо, что он ушел, очистил воздух от своей злобы. А она-то обрадовалась его ночному возвращению, подседа поближе... даже хотела просунуть голову под его руку. Дура. Можно было еще на полчаса закрыть глаза, забыться, пока не проснулись ребята.

В девятом часу Алибаев зашел в служебный свой кабинетик. Кабинетик был скучен и тесен. Накопились бумаги. Он полистал было их, но сейчас же оставил. Иное тревожило его в начальном разбеге дня. Полчаса спустя от заведующего личным столом, такого же унылого и грузного, как его разбухшие папки, он узнал, что интересовались вчера его личным делом. Какой еще учет специалистов? Швелится Япония. Да... знаете ли, Дальний Восток... всегда как на вулкане. Поверх очков смотрели обвислые геморроидальные глаза. Кто спрашивал его личное дело? У человека

был мандат от горкома. За грязным окном кабинетика краснела кирпичная стена с незрячими окнами лестницы. Подтеки известки несокрушимо связали эту тюремного вида стену. Ни одного часа, ни одной минуты в этой просиженной, прокуренной комнате! Приход Свяжинова, пропавшая фотография, личное дело, которое вдруг кому-то повадилось... Денек на бережку. Золотые коронки во рту. Щегольская панاما и негодование, и испуг, и отчаяние тучного, захотевшего тоже хлебнуть, но так, чтобы только хлебнуть и сейчас же отползти, отдышавшись,—человека. О, он повалит его, если придется... опадет туговатый животик, и перестанут атласно лосниться выбритые самодовольные щеки. А пока... запросто себя он не сдаст. Не одними только инспекционными целями была ограничена трехдневная его поездка. Только бы сегодняшний единственный день протянуть до ночи.

— Гавриил Петрович.. просьбишка. Я еще даже не побывал дома. Прямо к пристани. Если кто спросит... скажите, что буду к двенадцати.

Он не вернулся к двенадцати. За ним шли по следу, и где-то на сопке затерялся его след. Сопка поросла мелколесьем. Валялись битый кирпич, цементные глыбы взорванных бывших фортов, гнусные следы человеческого уголения. Весь день пролежал он в бетонной норе этих бывших укреплений. День был туманный. Город парил внизу, просвечивал в подвижном молочноватом облаке. К вечеру опять потянул ветер, низкие тучи стали собираться в Гнилом Углу. Темнело быстро. Куски кирпича остро подвертывались под ноги. В одном месте он упал и порезал руку краем консервной банки. Он не вернулся к знакомой калитке. Он обошел дом с другой стороны и пробрался пустырем к садику. Сквозь щели забора видны были грядки с огурцами и дыньками. Еще недавно вскапывал он, навозил, полал. Как было это далеко сейчас! Другая жизнь. Он глядел сквозь щели и видел еще дом, окно комнаты, затянутое занавеской. Никто не шевелился за этим окном. Он

ждал. Земля пахла близко чужим в враждебным запахом. Внезапно чья-то тень прошла за этой освещенной изнутри, как экран, занавеской. Это была незнакомая тень. Только на миг он увидел чужой горбоносый профиль, сейчас же поползший и смазавшийся. Потом все исчезло. Занавеска попрежнему равнодушно светилась. Страшнее всего была эта горбоносая тень в его доме. Сердце замедлило ход. Пустота поползла, мятно потянула желудок. Алибаев пригнулся, прополз пустырем и вышел на улицу. Только бы не посвежел ветер. Дорога шла вниз. Скоро опять своими покинутыми ларьками и прилавками простерся Семеновский базар. За ним был ковш. В ковше стояли суда—десятки китайских шампунок, промысловых кавасаки, корейских кунгасов, моторных и парусных шхун... Вода плескалась, и мачты раскачивались. Каждый вечер четырехугольно поднимались сложенные паруса, начинали торопливый выхлоп моторы, уходило в море на лов, разбредалось по промыслам все это судовое скопище.

Он спустился к причалам, и так же вместе с другими, поглотил его этот вечерний порт.

## XIX

Десятилетия назад, гонимые голодом, пришли из Кореи первые переселенцы. Они осели на берегу бухты промыслом, и деревня уже обросла навыками, родами и годами. Были удачливые годы, когда много рыбы приходило к берегам. Бывали пустые, несчастливые годы. Тогда оставалось покорствовать, ждать перемен судьбы. Так жили из поколения в поколение—нищие дети нищих отцов. Десятилетия изменяли очертания бухты. Наносило новые мели, выветривались скалы, менялись глубины. Выветривались прежние привычки отцов. За одно только десятилетие широко расколосся, пополз этот старый берег. Молодежь опережала отцов. Она не хотела возиться с тяжелыми парусами кунгасов и готовилась стать мотористами. Суда становились общими, общим становился труд. Угрюмо и недоверчиво присматри-

сались старые силы к этому чуждому движению жизни. Колхоз отставал. Его улов сдавался на консервный завод. Завод работал не с полной нагрузкой. Нехватало сырья. Учащались невыходы в море. Двое из правления колхоза пришли к Микешину договориться об условиях работы. Он знал их обоих: один — молодой, спокойный кореец, хорошо разбирающийся в сложностях новых вопросов, недавно вернувшийся из рыбного втуза, — Ким-Синами, другой — комсомолец, выдвинутый в шкипера молодежью.

Микешин начал разговор с основным — с невыходов. За последние дни рыбы у берега не было. Надо было выходить на глубины. У корейцев были свои правила, свое восточное медлительное ожидание удачи. Глубинный лов был для них делом опасным и чуждым. Ничто не выходило никогда искать в море косяки. Косяки в свое время сами должны притти к берегам. Месяц был для него последний. На промысле наметился сдвиг. Колхоз попрежнему отставал, сыскался на непривычку, на трудности. Ким-Синами стал отвечать. Говорил он по-русски неспешно и обстоятельно, недавно усвоив язык.

— Корейский колхоз—новое дело... Все еще не поняли. Многие тянут назад. У стариков есть влияния. Далеко в море выходить не привыкли. Но мы с этим боремся. У нас две бригады по три кунгаса впереди всех. Недавно только мы провели, что заработок делится не половну между всеми, а кто сколько выловит, столько и получит. Это многим не нравится. Надо конечно сказать, что были и национальные влияния. Здесь действуют не только местные силы. Корейский народ—очень отсталый народ,— добавил он.—Ему никогда не давали никаких прав, особенно с тех пор, как оккупировала Корею Япония. Поэтому нельзя удивляться, что кореец не так скоро верит хорошему.

Он замолчал.

— Давай рассчитаем вплотную. На сколько единиц можно рассчитывать по существу?—спросил Микешин.

— По-ударному будут работать шесть кунгасов... пока только шесть. Но мы надеемся, что будет работать и третья бригада... значит, девять кунгасов.

Пошли цифры. Микешин развернул карту с нанесенным профилем берега.

— Теперь подумаем, как расставить суда, чтобы охватить весь район.

Он стал отмечать карандашиком.

— Наша главная беда—отсталость,— сказал снова Ким-Синами.—Кореец привык, что царский чиновник его обижал и обманывал. На родине его тоже обижают. Он никому не верит. Мы, молодежь, увидели другую жизнь. Старики все неграмотны. Когда начали строить колхозы, многие решили, что это обман. Отберут кунгасы и сети, заставят работать на других. Мы разясняем. Но нас нехватает. И потом молодые хотят учиться и идти своей дорогой.

— Агитировать мало,—ответил Микешин.—Старика агитацией не возьмешь. Ему примером надо показывать. Пускай посмотрит, что техника делает. А то держатся за прошлое конечно... лучшего не видели. Все эти ваши кунгасы со временем начисто скосим. Без мотора не переделаешь жизнь. Я видел, как ваши ребята мотористами делались... другие люди. И сноровка другая.

Все-таки сидели в правлении, приходили из втузов, сколачивали бригады все эти молодые корейцы, видевшие новые выходы в жизнь... Старые навыки, предрассудки, восточная покорность стихии—валунами минувшего лежали все еще они на этом берегу. Молодежь неохотно возвращалась к старым гнездилищам отцов. Открывались иные дороги. Жизнь была доступна, и каждый мог двигаться в ней наравне с другими. Вековая трахома сползала с глаз. Все еще было в тумане, неясно и подозрительно. Но уже осваивались, приглядывались глаза к движению жизни.

Они договорились о выходе. Корейцы ушли. На ступеньках конторы дожидая Подсоснов. Давно уже—сначала шкипером, потом бригадиром—был на хорошем пути этот положительный коренастый парнишка. Его бригада шла впереди остальных, и остальные недовольно



оглядывались на этих слишком расторопных и беспокойно ускоряющих жизнь ребят. Сейчас впервые во всей истории промысла делали новый опыт. Две бригады выходили на круглосуточный лов — на целых пять суток. Давно сложилось поверье, что рыбу можно ловить только ночью, в размеренные сроки ежесуточных выходов, с огромной потерей времени на возвращение, на отцепку из сетей. Круглосуточный лов должен был изменить все понятия, все старые навыки. Микешин послал за Стадухиным. Схема была такая: в бригаде шли три десятитонных кавасаки. Команда каждого состояла из шкипера, трех ловцов, моториста и научного наблюдателя. Каждое судно имело тридцать шесть сетей. Поочередно одно из них выбирало на себя сети всех трех и отправлялось для сдачи к берегу. Остальные оставались в море и продолжали круглосуточный лов.

— Ты как полагаешь, Подсоснов... на пять суток дыхания хватит? Вернись — сорвете дело.

— За улов не ручаюсь, а срок надо выдержать, — ответил Подсоснов не сразу. — Дело не в одном только вылове... а и в примере, ребята это понимают. Ну, и вылов конечно должен себя оправдать. Главное, как со временем справимся, с выборкой сетей... дело трудное, новое. — Он стал озабочен. — И приборы неважные. А ведь надо и ветер рассчитать, и течение... суда на одном течении не поставишь — к утру их так разнесет, что не сыщешь.

— Наши наблюдатели составляют карту течений в районе лова, — сказал Стадухин. — Все это правильно. Однако хотелось бы проверить выхода и других судов... У нас есть такой план, товарищ Микешин: я бы с сотрудниками вышли на нашем катеришке к полуночи, а вы бы на своем. Так весь район мы бы и обошли и увидели бы полную картину лова...

— Да ведь катеришко у вас того... ненадежный.

— А что катеришко... болтается и болтается. Только мы выйдем пораньше, машина у нас послабее. Барометр с утра пошалил, но остановился.

— В колхозе тоже обещали, что две бригады пойдут на глубины. — Улыбочка дрогнула и пропала на рябоватом лице Микешина. — А ведь это все-таки сдвиг... скрипит еще, а движется. А там там винты, винты отстающих, — сказал он вдруг с шахтерской грубоватостью, заглядывая в профессорские очки. — Я отвечаю. В самую душу винти!

Дело было общее. Как на заводе. Как в шахте. Он хотел еще потолковать с ловцами... Берег был уже в вечернем движении. Свертывались сети, суда готовились к выходу. Из хлебопекарни несли подмышками хлеб. С разной частотой стучали моторы. У причальной пристани серел, покачивался катерок. В маленьком, тесном кубрике с койками в два яруса была походная лаборатория. На стене в деревянные прорези вставлены пробирки и склянки для мальков и планктона. Дежурный матрос чистил рыбу. Вернулся старшина.

— К полуночи выходим, товарищ Рябченко. Горючее захватите полностью. И хлеба возьмите на сутки.

Стадухин привычно нагнулся и пролез в кубрик. Барометр висел на стене. Старшина пощелкал ногтем по стеклу. Стрелка дрогнула и опустилась вниз на подделения. Он не любил этих выездов в море. Катеришко был мал, неустойчив... в сущности, только для работы в порту предназначались все эти моторные суденышки. А их гоняли по морю как мореходные посудины. Старшина был с Азова, знал спокойное портовое плаванье. А здесь, на далеком Востоке, ненадежно, изменчиво было море. Уходили в шталь, возвращались в шторм. И вдобавок этот неугомонный коротконогий, будораживший всех человечешка. Старшина был недоволен. Опять болтаться всю ночь. Да еще запастись горючим на сутки. Люди прут на рожон. Помещение было тесное. К тому же утыкали его какими-то склянками. Даже отоспаться нельзя было на этом чортовом катере. Он махнул рукой и полез из кубрика наверх.

Первой вышла бригада Подсоснова. Кавасаки один за другим отходили от пристаней. Кормовые огоньки двигались.

расходились, огибали мыс. Белое облачко спускалось с сопки. Облачко заметили позднее, когда флот был уже в море. Обычно перед тайфуном спускалось, такое молочноватое неспешное облачко. В двенадцатом часу ночи перебрались на катер Стадухин и гидробиолог Старожилов. Двое других наблюдателей вышли на кавасаки с бригадой. Стрелка барометра опустилась еще на деленье. Старшина выжидал уныло.

— Барометр падает... Клавдий Петрович, разве на таком катеришке выходят в море?

— А почему же нет? Машина в порядке? Где моторист? Вы ведь знаете, товарищ Рябченко, что мы этих разговоров не любим. Очень скучно.—Он раздражился.—Не было ни одного выхода, чтобы вы не возражали.

Старшина безнадежно вздохнул и ушел наверх. Катер задрожал. Моторист включил мотор. Вскоре заплескалась вода. Тучноватому Старожилову было в кубрике тесно.

— Я погляжу, как идем...—Он хотел было подняться наверх и остановился у лесенки.—А ведь по совести сказать... никогда еще у науки не было такой практической почтенной задачи, как в наше время. Здесь мы не в стороне наблюдаем... а прямо в середину боев. Натураллисты на первую линию.

И он стал подниматься. Катер начало покачивать. Вероятно огибали мыс. Привычно плескалась вода, привычны были эти ночные собеседования в тесном кубрике с его позвякивающими склянками. Старожилов поднялся на палубу. Огни промысла остались позади. С моря шла зыбь. Свежо и утробно пахла рассеканная вода. Легкая туманность застилала по временам, как плесенью, звездную осыпь. На траверсе оставался мыс Азиат. Из-за мыса подул с моря встречный шквалистый ветер. Впереди еле приметно виден был кормовой огонек мористо шедшего кавасаки. Старожилов подышал ветерком и вернулся в кубрик.

— Малость повалает. Зыбь. Часок все-таки можно поспать.

Он снял сапоги и улегся на койку. Стадухин приблизил было книжку к

близорукиим глазам и—на полчаса или на час—вдруг мгновенно над ней задремал. Левая рука затекла и была полна мурашек. Электричество горело тускло, неполным накалом. Спутник спал. Был третий час ночи. Катер качало. Вода с плеском перекатывалась временами по палубе. Стадухин сдвинул очки, протер глаза и поднялся наверх. Сразу ударил ветер. Придерживаясь за поручни, Стадухин пробрался в капитанскую рубку. Компас желто и тускло светился. Старшина был угрюм.

— Глядите, что делается... валит и валит. Скоро в открытом море окажемся.

— Кавасаки не видно?

Тяжелый старый бинокль незряче вбирал в себя черные округлости моря. Звезд уже не было видно. Все же нашупал Стадухин далекие огоньки судов.

— Не дальше, чем кавасаки, ушли. Пройдем еще с полчаса этим же курсом и начнем обходить суда. Я поднимусь... ровно в три.

Старшина не ответил. Стадухин снова пробрался вдоль поручней и спустился вниз, в кубрик. Барометр падал. Стадухин пошелкал ногтем по стеклу, не стал ложиться и снова на полчаса или на час заснул над столом.

## XX

Тревожно звякнул в машинной звонок. Мотор остановился. Сразу стало тихо. Плескалась вода. По палубе торпливо затопали ноги. Сон мгновенно слетел. Старожилов надевал сапоги. Глаза были еще в колющем песке мгновенного сна. Стадухин выбрался наверх. Катер болтался без движения.

— Старшина... что случилось?

— Едва не налетели на сеть. Ничего не видно.—Впереди качался буюк с огоньком.—Напоролись бы—порвали бы к чорту... Полный назад!

Катер задрожал. Буюк поплыл в сторону.

— Какое судно?

— Чорт его знает... должно быть, кунгас. Корейцы, сволочи... без огня плавают.

— Дайте сирену!

Сирена завывала. Голос ее, как всегда, был тревожен и неприятен. В стороне на судне появился огонь. Стали раскачивать фонарем.

— Замахал, дьявол, чорт... Самый главный вперед!

— Подойдите к судну.

— Как бы не запутаться снова. Где жид, эта сеть?

Букс уже уплыл. Катер крутился на месте. Все же пошли вперед.

— Кунгас,—сказал Старожилов

Старшина достал рупор:

— Эй... чей кунгас?

— Колхоза кунгас...

— Все-таки вышли на глубины койрейцы!—Стадухин повеселел.—Начало корешее. Давайте восточнее. Там должны быть наши кавасаки.

Катер опять покрутился и пошел. Все тесно стояли в рубке. Вдруг опять схватился за проволоку звонка старшина.

— Снова сеть!—Плавал освещенный букс.—Какого чорта... откуда здесь сеть?

— Да ведь это тот же самый букс! Куда вы держите? Я же вам сказал—за восток.

— Компас не действует.

— Как, не действует компас?

— А шут его знает. Крутится во всю катушку на каждом повороте.

Под тусклым, неопрятным стеклом свободно ходила, вращалась полным кругом магнитная стрелка.

— Почему вы не доложили, что компас не действует? Как можно выходить в море без компаса? Вас надо за это под суд!

Стадухин почти налезал на этого вислоусого туповатого человека.

— И отдавайте под суд. По крайней мере не трепаться на катере в море.

— Вы не моряк, вы...—Стадухин захлопнулся.—Впрочем поговорим после. Пока не наскочите на сеть. Старожилов, взгляните на звезды. Определим положение.

— Звезд не видно,—сказал Старожилов равнодушно.

— Посмотрите в бинокль. Нет ли судовых огней? У вас глаза посылнее чужих.

Старожилов увидел далекий неясный огонек кавасаки.

— Держите на этот огонь. Потом определим направление.

Букс остался наконец позади. Шла на далекий огонь. Боковая волна валяла с бока на бок. Из машинной воняло перегаром бензина. Стадухин посмотрел на часы. Четвертый час. Катер шел.

— Куда он девался, этот бисерный огонь?—спросил вдруг старшина.

Все стали искать. Огонь исчез. Минуту спустя Старожилов увидел, что неся, летел навстречу гуман. Это был мгновенный, стремительный, предвещающий ненастье туман. Все мгновенно затянулось. Компас не действовал. Позади виден был еще огонь кунгаса.

— Поворачивайте назад, на кунгас.. будем держаться поблизости!

Стадухин знал за все свои тридцатилетние скитанья по морю, что значит этот тихоокеанский туман. Опять звякнул звонок в машинной. Катер сделал полный круг, едва не залился на повороте водой и пошел обратно к кунгасу. Были видны кунгас, букс, ныряющий неподалеку от него.

— И компас... компас не действует! Моряк! Шляпа. Стыд!

Стадухин подбирал крутые слова для этого вислоусого бездарного человека. Внезапно на самых глазах кунгас стал расплываться, таять. Наперерез шла сплошная стена тумана. Катер отчаянно нырял. Стало тревожнее. Шли в предполагаемом прежнем направлении. Подывала сирена. Пришлось уменьшить ход из боязни налететь на кунгас или запутаться в сети. Прошло с полчаса. Кунгаса не было.

— Если будем так болтаться впустую—бензина нехватит,—сказал старшина.—А тайфун идет.—Он вдруг ожесточился.—Что бы я еще с вами плавал... сам сплыву к чорту!

Он готов был покинуть эту тесную рубку.

— Вымерять глубину! — приказал Стадухин матросу.

Шеста нехватило. Лот показал двадцать пять фут. Это была морская глубина. Становиться на якорь невозмож-

— нехватило бы якорной цепи. Двигаться дальше без цели—может не остаться бензина.

— Я предлагаю идти по воле,— предложил Старожилков.—Все-таки окажемся ближе к берегу... пойдём с промерами.

Это было ненадежно. Туман оседал на веках сыростью. Фонаря мачты не было видно. Зыбь все нарастала. Ветер менялся с остового до норда—норд-веста. Приближался тайфун. Как обычно, он шел от Формозы, через Японское море, захватывая своим левым краем. Команда тоже была неспокойна. Вдруг ощутились вся эта морская глубина, потерянности в тумане. Пошли малым ходом в направлении волны. Компас был бесполезен. Даже с ненавистью поглядывал Стадухин на светящийся желтый круг. При каждом толчке стрелка ходила от норда до зюда. Все было утеряно: время, направление, пространство. Сирена поглощалась туманом. Может быть, шли не по направлению к берегу, а дальше в открытое море. Стадухин пробрался со Старожилковым в кубрик. Несколько пробирок вылетели из своих гнезд. Осколки лежали на полу. Барометр падал.

— Положение неважное, Клавдий Петрович. Главное, неизвестно, где мы находимся... а тайфун надвигается.

Неуютно звенели и вздрагивали лабораторные склянки.

— Ну, какой же тайфун... пошторкуем—и пройдет стороной.

Но из опыта всех своих скитаний по этому морю Стадухин знал—все признаки приближенья тайфуна: ветер, зыбь и туман.

— До рассвета конечно потрепемся, а там будет видно. Не мы одни в таком положении. Кавасаки и вовсе открыты.

Это было неверно: кавасаки были надежнее. У них были устойчивые плоские днища. Катеришко при боковом ветре могло перевернуть первой сильной волной. Близко за железной стенкой обшивки плескалась вода. Пришел сверху мокрый матрос, достал хлеб, миску с зыбой и стал равнодушно есть. Матрос

принес какое-то деловое продолжение обычной жизни.

— Туман не меньше?

— Погода что надо... натворит делов,—ответил матрос обнадеживающе.

Он налил еще холодного чаю в кружку, запил свою скудную пищу и вышел. Вытянутая рука казалась обрубленной. Только равномерное килевое ныряние катера указывало, что идут по волне. Глубина уменьшилась до двенадцати футов, потом снова стала расти. Матрос на носу закидывал лот. Ветер сеял мелкий, холодный бус. Теперь уже оживленно кишело, носилось, распадалось с шипением водное встревоженное пространство. Внезапно что-то царапнуло днище, зашуршало внизу. Двойной короткий звонок в машинной. Машина остановилась. Тревожная тишина.

— Старшина, что случилось?

Старшина вылезал из рубки.

— Достукались... сели!

Он побежал на корму. Шест уткнулся в грунт. Только-что была пятнадцатифутовая глубина. Катер сидел на мели. Если сейчас же не сняться, волнением начнет его поднимать и постукивать, пока не разойдутся скрепы. Теперь в тишине были слышны раскаты ветра. Непогода предстала в своей безотрадности. Берег был близко. Были слышны в тумане шумы прибоя. Все перешли на корму, чтобы облегчить нос. Шесты, которыми упиралась в грунт, не помогли. Машина подвывала на полных оборотах обратного хода. Ветер усилится—катер перевернет. Сидят на какой-нибудь кошке. в сотнях саженей от берега. Но как мог оказаться здесь берег? Сеть со светящимся буйком сбита с направления. Разгильдяйство, беспечность... нелепые распоряженья старшины. Тычут шестами, расходуют горючее. Стадухин прошел на корму.

— Что вы делаете... сбили с толку людей. Я с вами говорю, старшина!—Даже какая-то привычная морская сноровка появилась в его коротконогой фигуре. — Отдать якорь!

Старшина не обиделся. С него снимали ответственность. Надо было завести якорь и попробовать сдвинуть корму.

Опять заунывно на полных оборотах заработал мотор. Помогали шестами с правого борта. Внизу зашуршало, корпус содрогнулся, пополз.

— Майна!—крикнули с носа.

Вдруг катер качнуло. Корма его была на воде. Еще шуршание—и он с'ехал с мели. Загремела выбираемая якорная цепь. Освободившись, катер стал отступать. Матрос на носу закидывал шест. Глубина увеличивалась. Стадухин вернулся в рубку к рулевому. Опять сигнальный звонок.

— Стоп! Отдать якорь!

Машина снова остановилась. Двигаться дальше было бессмысленно. Оставалось штормовать, надеяться, что тайфун пройдет краем. В кубрик набилось семь человек. Моторист остался в машинной. Дежурный вахтенный наверху. Горело электричество. После сырости и мрака было тепло. Можно было даже вытянуться на минутку на койке. Минутка вдруг растянулась. Все спали. Только плескалась за железной стенкой вода.

В пятом часу Стадухин вышел на палубу. Палуба была мокра и пустынна. В стороне, ухватившись рукою за поручни и дрожа после сна, жалко мочился старшина. Некая молочноватость появилась в тумане. Просачивался, светлел рассвет. К утру пошел дождь. Ненастье сваливалось на сторону. Хлопчато расслаивались, приходили в движение полосы тумана. Вдруг в стороне показалась, нырнула чайка. Появлялась видимость. Теперь слышней был прибой у близкого берега. Разбудили команду. Заспанные, измятые люди появились на палубе. Видны стали волны, гребни на них, вопящие редкие чайки. Надо было дожидаться, пока просветлеет береговая полоса, чтобы определить направление. Берег проявлялся медленно, как передержанный негатив. Скопища туч становились очертаньями сопок. Обозначались буруны на рифах. Тяжелый бинокль несыто вбирал пространство.

— Знаете, где мы?—сказал вдруг Старожилов.—Банка Бонсдорфа. Мыс Развозова видите?—Все поглядели и

узнали мыс Развозова.—Ведь это мы не меньше чем на восемнадцать миль на сторону махнули. Эх, ты, старшина!

Надо было двигаться, пока была видимость. Стук машины вернул к деловому продолжению жизни. Ночь отодвигалась. Катер снялся и облегченно пошел. Снова стало затягивать береговую полосу. Все же проглядывали по временам скалистые срывы. Пришлось уменьшить ход. Конечно разбросало ловецкие суда. Вернулись ни с чем в лучшем случае. Внезапно разом навалился, перехватил колесо рулевой. Впереди было судно. Судно стояло на месте. Сирена стала набирать высоту. Из тумана ответили звуковым сигналом. Старожилов взял рупор:

— Эй, на судне! Откуда идете?

Далекие срывающиеся ответили голоса. Еще минуты спустя суда сблизилась. Это был кавасаки из первой бригады. Бинокль тускло наметил знакомые лица ловцов. Старожилов снова взял рупор:

— Где остальные?

— Не знаем... растеряли в тумане.

Отчаянно ныряло и шлепало это затерявшееся суденышко. Свернутые мокрые сети были тяжело полны рыбой. Несмотря на шторм и туман, успели выбрать порядок сетей.

— Идемте за нами!

Казалось, кавасаки тоже потерял направление. Синдо стоял на корме, руки его были сложены рупором:

— Назад не пойдем... отыщите других... попытаемся перегрузить сети!

В тумане единицы бригады растеряли друг друга. Один из кавасаки должен был vybrать на себя сети всех трех судов и отвезти их для сдачи на базу. Ветер стихал, можно было сделать попытку перегрузить сети.

— Стоять опасно... штормит! Идемте за нами...

— Ничего... поштормуем... назад не пойдем!

Старожилов подивился:

— Вот черти. Я бы все-таки погнал их назад, условия трудные! Попытаемся найти остальных.

Катер снова двинулся, запела сирена. Кавасаки стал уменьшаться. Четверть

часа спустя из тумана принесли сигнал. Наплывал другой кавасаки. С него крикнули:

— Эй, на катере!

Машина застопорила. Мокрый конец упал в воду. Его поймали и закрепили.

— Кто на катере?—крикнули снова оттуда.

— Стадухин... что надо?

— Не видели наших судов?

— Дожидаются перегрузки сетей.

— Где стоят?

— Милях в двух... держите на запад.

Какой кавасаки?

— Номер двенадцатый.

Рупор лаюше доносил голоса.

— Кравцов с вами?

— Здесь я—Кравцов. Идем искать остальных... растеряли в тумане.

— Есть улов?

— Десять центнеров наберется...

Мокрая веревка сорвалась и стала выбираться на кавасаки. Моторист передал снизу, что бензин на исходе. Приходилось двигаться к берегу. Скоро стала слышна сирена маяка. Высокий голос, молчание. Низкий голос, молчание. Шли правильно. Огибали остров. Через час по направлению воды определили, что вошли в залив. Ночные пространства обретаю очертания. Еще час спустя увидели кавасаки, торопившийся к берегу. И этот был с уловом. Еще и еще становились видны суда. Корейский кунгас двигался наперерез. Его четырехугольный в ребризах парус был раздут ветром. Он шел ныряя, нагруженный рыбой. Ловцы пели песню. Это была знакомая песня. Сети с рыбой были закреплены, ненастье свалилось, впереди лежал берег. Можно было петь. Голос начинал песню:

Ирсим бада Даре-ра.

Голоса отвечали припевом:

Дариё!

Ури Нэ Донмуга ирсим бада

Дариё!

И Хан Беп-ыр Дан-гимен...

Дариё!

Буги гон-менын Да харира...

Дариё!

И он прошел наперерез, ныряя, со своей однообразною песней. Мокрые, растревоженные непогодой суда торопи-

лись к берегу. Земля, казавшаяся ночью утерянной, встречала знакомой береговой чертой. Навстречу из-за мыса выскочил катерок. Бинобль приблизил черную цифру микешинского суденышка. Катерок пошел на сближение. С воспаленными глазами, с рыжеватой неопрятной щетиной предстал Микешин.

— Стадухин... живы? Я беспокоился. Подсосновской бригады не видели?

— Остались в море... не хотят уходить!

— Какого чорта... перестарались ребята. Где находятся?

И катерок пошел дальше. Подходили суда. Тяжелый груз сетей вываливали на причальные плоты. Отцепщицы начинали работу. Только к полудню возвратились запоздавшие кавасаки. Не все были с рыбой. Люди хмуро подтягивались к мокрым плотам. Из всех ушедших двадцати четырех кавасаки только пятнадцать вернулись с уловом. Девять из них даже не закинули сетей, а зашли отстаиваться в бухты.

... Микешин выжидал за столом, пока сыро и тесно набивались ловцы в промысловой конторе. Дневная сводка улова была криво разграфлена чернильным карандашом.

— Девять кавасаки вернулись ни с чем... без улова,—сказал он наконец.— Пятнадцать успели поставить порядок сетей и успели их выбрать... а девять испугались погоды и пошли отстаиваться в бухты. Как же это выходит, товарищи... неравные условия. Одни трудились, а другие спали. Подсосновская бригада даже назад не вернулась, осталась на лове... а вы и сетей не закинули. Ветер поднялся—и к берегу?

Высокий худой ловец с озлобленным хмурым лицом сказал:

— Мы за других не ответчики. У нас своя приглядка.

— А какая у вас приглядка? Ты объясни.

— А такая приглядка, что нам своя жизнь дороже. Может, они и моря не нюхали... не знают, какое оно—море. А у нас отцы ловили и нам завещали...

— Что же они вам завещали—отцы... соху завещали? А у нас с сохой давно

кончено... отковырялись, будет! Другая техника. И ответственность другая. Ты раньше за себя одного отвечал, а теперь за весь промысел отвечаешь... ты за всех и все за тебя. Выхода вам не зачту. Считаю прогулом.

Рябой астраханский татарин, первый поведший свою бригаду к берегу, стал наступать. Длинные его руки размахивали, лицо было яростно.

— Как так,— считаешь прогул... наши выходили—и считаешь прогул?

— И считаю прогулом. Мало того, за вашими бригадами будем считать по двадцать центнеров недолову на каждый кавасаки... захотите оправдаться, покрыть недолов,—пожалуйста.

Началось наступление. Микешин выдерживал натиск. Ловцы, уклонившиеся от лова, считали себя обманутыми. Все напали на шкиперов. Только в третьем часу, оглушенный попреками, криком, отпустил Микешин этих незадачливых ловцов. Урок был поучительный. Он был доволен. Треть отставала, две трети шли впереди. Это был перелом. Бригада осталась на лове. Кавасаки уже вернулся на базу, сдал улов всех судов, загрузился снова сетями и ушел в море. Маленькая женщина беспечно дожидалась на пристани его прихода. Ловец достал из кيسета пропахнувшую махоркой записку Кравцова. Женщина шла к дому счастливой походкой. Записка была в ее руке.

— Вот видите... я говорил— всё в порядке.—Близорукие глазки оглядывали ее сквозь золотые очки.—А вот, знаете ли, если бы так же, как мы собираем планктон, можно было бы в скляночку поместить эти живые микроорганизмы мовой жизни... поучительную лабораторию удалось бы построить... чтобы видеть, чем все эти новые люди живы. А жить, знаете ли, дьявольски хочется,—сказал Стадухин вдруг с грустью.—Хочется на всё поглядеть... удивительная все-таки образуется жизнь!

Шапку по-стариковски держал он в руке. Ветерок шевелил, перекладывал гонкие волоски вокруг его лысины. В развале туч появилась радуга. Она была неполной и походила на реторту с

жидким светящимся газом. Радуга обещала конец непогоде — и день. Свежий приморский и прочищенный до блеска ненастьем—день.

## XXI

Все было распахнуто в доме, как ветром. Распахнуты были ящики стола ненужными бумагами, ружейными патронами, огородными семенами. Распахнута была эта тоненькая, худая, с сиреневыми жилками женщина. Распахнуто было потаенное глухое житьишко в закинутом на высоту свияжиновском доме. Мебель лезла под ноги. Турецкий диван с костлявой пружиной, сохранивший еще ненавистные очертанья алибаевского тела. Свияжинов остановился наконец в своем разбеге.

— И ты могла жить, жить... ничего не замечать и жить с этой бессовестной сволочью! Сам летел и всех вас осудил на то же... враг, негодяй!

Все казалось виноватым. Громкий будильник нагло стучал на столике. Алибаев исчез. Все ниточки вдруг разом полезли из сложной основы. Тучный человек с атласно-выбритыми щеками уже не носил своей щегольской панамы. На всегда должна была быть забыта и мечта о морском техникуме для любознательного сынишки. Огромная челюсть с зубами, как клавиши, уже не прикрывала ничего ремесла. Но Алибаева не было. С того самого утра, когда отлучился он домой на часок, его смыло с этого берега. Следы терялись в порту. Ночью на чем-то кунгасе или на шланге он перекинулся дальше, поближе к границе. На самом деле, ничего не знала, ни во что не была посвящена эта растерянная и жалкая женщина... его сестра. Он вышел из дома, чтобы больше в него не притти. Надо было возвращаться на промысел. Все же кое-что за это время успел он добиться... у кооперации урвал овощей, трест грузил наконец стекло и железо для постройки баракон. Давно уже широкие планы сменились ежедневной, незаметной борьбой. Борьба была за выходы в море, за овощи, за стекло для баракон, за тару... И скрипел, и сдвигался по-

всего, как севший на мель кунгас, этот тяжелый, привыкший к десятилетиям отсталости—берег.

Пароход пришел к промыслу вечером. Микешин был в море. Свяжинов миновал строения промысла и свернул на боковую дорожку в гору. Скоро запахло снотами. За сеткой вольтеры жили они своим городищем в дощатых домиках. Паукст был в конторе.

— Я к тебе... ты свободен?

— Минут через десять...—Он вел с бухгалтером какие-то счета.

— Я подожду.

Свяжинов сел на перильца террасы. Осень дозревала цветисто и обреченно. Не было ни умирненности средней полосы, ни золотого бабьего дыхания. Красное и желтое в настоянной яркости горели леса, чтобы облететь в одну ночь от северного ветра. Он набил свою трубочку и задумался, глядя на знакомый простор этой яркой уссурийской осени.

— Я ведь без особого дела,—сказал он, с трудом отрывая себя от внутреннего своего сосредоточия.—Захотелось тебя повидать...

— Хочешь, пройдем ко мне наверх?

— Давай лучше походим.

— Я только захвачу табак.

Паукст ушел и вернулся с деревянным большим портсигаром. Они пошли неспеша по дороге.

— Ты про это вредительское дело ведь знаешь?—спросил Свяжинов.—Имеет продолжение.

Он рассказал ему все. Паукст слушал, брови его были сдвинуты.

— Что же... все это одно к одному. Берег этот—особый берег, сам видишь.

— А меня это очень выбило... как-то вплотную поставило перед многим.

Дорога раздваивалась: одна шла вниз к морю, другая—наверх, мимо мрачного склепа Сименсов. Они пошли верхней дорогой. Зеленоватые плоды грецкого ореха сочились своим черным черничным соком. Зарос, одичал готический склеп. Все, что осталось от своеобразных надежд и владений,—сырой этот склеп с железными сквозными дверями и с цветными витражами окон, пропущающими розовый несвоевременный

свет. Они поднялись на горку и сели на изрезанную именами скамью.

— Я бы хотел поговорить с тобой Ян. По-настоящему, как товарищи... и отказавшись от некоторых своих планов в общем качеств. — Он почертил по песку сломанной веточкой.—Видишь ли я возвращался сюда, очень преувеличив себя самого, свои возможности. Это бывает так. Прежде это называлось индвидуализмом, что ли. Индивидуализмом я конечно не грешу, но вероятно от лезскитаний... а бросало меня все-таки много... я сам для себя противоположный вырос. Я сознаю это теперь. И работа казалась мне недостаточной для моего масштаба, и жизнь представлялась обновательно узнаваемой. Конечно я оторвался... скрывать здесь нечего—отрвался. И вот вернувшись—по совести—ни людей не узнал, ни самого берега. Люди показались мне скучнее и суше, деловитее, и не такими по-товарищески открытыми, какими я их знал. Я самолюбиво насторожился, и вот даже наша первая встреча... не понравилась она мне — наша встреча.

Паукст со вниманием посмотрел на него. Веточка разметала песочек.

— Ты показался мне сухим и неестественным... и твоя военная выправка сделанной. Знаешь, как партизаны снимались у китайцев на Семеновском базаре... в боевой позе. От времени все-таки выплело. Ты меня извини, говорю я в открытую... люди иногда от личной незадавшейся жизни выдумывают себе позу. Да и причины так думать у меня были. Тебе известны эти причины. Я впрочем скажу. — Он задумался, щурясь и глядя на далекий залив. — Ты ведь знаешь, что здесь, на этом берегу, остался кусок моей личной жизни. Так уж сложилось, что и тебя это с какой-то стороны касается. Не помню от кого, но услышал я еще на Камчатке, что будто ты и Варя снова встречается... Я тогда настроился жестоко и несправедливо, сознаюсь. И ехал я сюда, и тебя увидел в первый раз — с этим же чувством. А тут жизнь меня немножко ударила. — Он снова задумался, припоминая порядок этих



первых обид. — Первым сбил меня с моих преувеличений Губанов... сбил напрямик, в открытую. И вдруг все это, что я в самом себе преувеличил, оказалось необычайно мелким. Или я нужный, полезный работник, или я убывающий пассив партии. И я был поставлен сам перед собой: итти на конфликт или задуматься, как же все это так со мной произошло... и конечно догадать то, что пропущено. Тут, знаешь ли, коротко все и жестоко. Да иначе и не может быть. Время не сентиментальное. К этому надо добавить...

Паукст сидел, слушал. Веточка все еще старательно разметала песочек.

— ... и личные мои обстоятельства тоже сложились не так, как я предполагал. Говорить — так говорить до конца. Чувство все-таки у меня было большое... может быть, я сам его немного воспалил за эти годы, но возвращался я горячо. Самолюбиво возвращался. Но оказалось, что изменились и здесь. Я этому сначала не поверил... старался себя убедить, что это больше от самозащиты, да и от срока. Время все-таки проскочило большое. Но выводы оказались не в мою пользу. — Веточка приостановилась в своем движении. Песок был разметен. — И вот в личном порядке я сейчас одинок. Не всё в наших руках, Ян! — И даже с некоторой грустью он посмотрел на свои сильные загорелые руки с закаченными до локтей рукавами. — Не всё, к сожалению. Ты видишь, я ничего не скрываю... но я бы хотел и добавить. Только месяц назад между мной и тобой лежали еще все эти личные обстоятельства... нехорошо лежали, по-старому лежали. С обидой, с мужским самолюбием... по крайней мере с моей стороны. Я должен в этом сознаться. Тут кругом большие дела... огромные дела. И жизнь новая, и цели, и ответственность новые. А ведь это все от преферансика... от такого преферансика, в который на Камчатке играют от скуки, да еще чтобы выпить при этом, да и бабу отбить при случае... баба там — редкий гость. Так вот, весь этот разговор я начал к тому, чтобы сказать: ничего, кроме чувства товари-

щества и уважения, у меня к тебе нет. И как бы лично все ни сложилось, это ничего не изменит. Вот и всё.

Паукст ответил не сразу.

— Ты припомни, Алеша... я ведь тогда еще, в нашу первую встречу, сказал: не все годится, с чем ты вернулся. И жизнь ушла вперед, и человеческие отношения. — Он говорил глуховато и медленно. — Конечно многое еще осталось от прежнего. Особенно на этой окраине. До жестокости много. Глуховато залегание. Темнота, дикость, отсталость... да и подлое отношение к женщине, ты прав. Но мы-то все-таки революцию делали... и революция идет сейчас глубже, третьим горизонтом. И борьба глубже, и сопротивление глубже, хитрее, запятанней... ты в этом сам убедился. В лоции Тихого океана примерно так сказано: «Когда подходишь в туман к Владивостоку, то бросай каждые полчаса лот, чтобы он достигал глубины. Пока лот проносит, опасности нет». Я это твердо запомнил. А здесь не всегда проносит... чаще чувствуешь дно. Если об этом правиле забыть, скорее всего налетишь на банку. За каждую мелочь приходится драться... да и во всей нашей революции разве не то же? Ты посмотри газеты... каждый день новый фронт: сегодня борьба за прополку, завтра за свеклу, послезавтра за улучшение качества. Жизнь мы строим заново от самых корней. Вот ведь и к нашему делу ты отнесся сначала поверхностно. На самом деле, что такое олени? А ты подумай, какое это имеет значение для края. Факторами и питомниками для зверя населяем самые глухие места. Наши звероводы являются часто первыми носителями культуры. Дело здесь не только в сбережении зверя... а и в том, что в самое отсталое сознание чукчей или гиляков включается понятие о плановом хозяйстве. Наглядно, на примере включается. Не только истреблять, но и пополнять. Не только стихия над человеком, но и человек над стихией. Знаешь ли, в роде букваря, детских кубиков социализма, по которым можно научиться сначала читать по складам,

а затем и самому слова складывать. — Он хотел было добавить еще и вдруг замолчал — был и этот разбег необычен для его молчаливости. — А о личном... о личном я не буду говорить, Алексей. Скажу только одно: против тебя в этом смысле у меня никогда ничего не было.

Он сосредоточенно стал отрывать розовые сережки с куста бересклета. Оранжевые ягоды с удивленными блестящими глазками овоих семян падали на землю. Скулы его остро торчали. Как-то в давнем своем товариществе стал по-прежнему близок этот человек. Пуговица на его вороте была пришита неземной рукой. Нет, даже личной жизни не успел сколотить этот молчаливый и замкнутый Ян!

Они снова прошли мимо отсыревшей готической усыпальницы.

— Немного осталось от Сименсов, — сказал с усмешкой Свяжинов. — В детстве, я помню, они владели третью города... пароходы, склады, магазины и пристани... мне тогда представлялось, что и люди-то эти особенные, непохожие на обыкновенных людей.

— Да, люди в своем роде примечательные... и корешков они много оставили. До сих пор пускают ростки. — Они дошли до раздвоенья дороги. — Зайдем ко мне.

— Нет, пойду к дому. Надо еще разобраться в делах. У меня хорошее чувство осталось от нашего разговора, — добавил Свяжинов.

Даже как-то шире открывалась знакомая бухта, и там, за ней, одушевленно неслось большое, свежее дыхание моря. Земля возвращала себя постепенно. Он стал узнавать человеческие тропинки, с настойчивостью и усердием протоптанные за эти годы. Тропинки приводили к жилищу. Он входил, и крыша становилась для него крышей общего дома. Вот лес, который надо сообща выкорчевывать. Вот сопка, которую надо прорыть первой проходкой шахты, потому что в сопке руда или уголь. Грубые, первичные и счастливые начала.

На ступеньках террасы сидел и дожидался егеря. Паукст подсел и скрутил папироску.

— Ты знаешь, куда твое дело свернуло? Головлев — это что... чепуха.

И он рассказал ему все о дальнейших звеньях головлевского дела.

— Пропал мой заряд, — сказал сокрушенно егеря. — А я знаю, Ян Яныч, отчего он пропал. Я одной только кровью иду, наощупь иду по жизни. Кровью иду, сознания нехватает. У рабочего есть сознание. Другую школу прошел. А я и хочу идти правильно, и ведет меня кровь... а все-таки до конца не доводит. Я вам про главное скоро скажу... и вам скажу, и Микешину... Есть у меня разговор к вам обоим. — Он докурив полыхающую свою папироску. — А с завтрага я в обезд на два дня... гон начинается.

— Я вчера ночью слышал.

— Вы патронов пулевых пятюк не одолжите?

Он поднялся и перетянул свой кушак, почти раздвигавший его плоскую сухую фигуру. Они прошли наверх. Паукст достал из патронташа патроны.

— А с разговором я все-таки приду... как вернусь из обезда — приду.

— Да ты скажи.

— В свое время скажу.

Егеря подержал еще патроны в руке и сунул в карман. Окно было открыто. Вот вышел человек из дома, остановился, скрутил папироску. Вот пошел дальше. Кривоватые сильные ноги охотника. Широкие лопатки, узкая талия. Лошадь стоит у вольеры. Легкое, сухое тело перекинулось в седло. Ноги уже на ходу нашли стремена. Всадник скрылся. Паукст поглядел ему вслед и тоже вышел из дома. Он шел знакомой дорогой, обдумывая и решая некие сложные и уже неизбежные ходы жизни.

## XXII

Он постучал в окно.

— Вы извините, Варя, — сказал он через минуту. — Но мне очень хотелось бы с вами поговорить. — Он подождал в стороне, пока она вышла из дома.

Они пошли побережем, миновали последние палатки переселенцев, наскочившую на мель в тайфун и уже обглоданную водой и людьми рыболовную

японскую шхуну и сели на камень. Ледниковыми глыбами спадали прибрежные скалы, и внизу билось о них и ходило в пене и зелени море. Мыс был поворотный. Ветерок здесь был покрепче, помористей.

— Видите, как хорошо... совсем непохоже на нашу тихую бухту. Вот так, мапьямик, легко себе представить Японию... дальше какие-то острова, океан.

— Пути мировой колонизации и самых жестоких завоеваний, — сказал он просто. — Вступление широкое, а тема моя маленькая, личная тема. У меня был сегодня Свяжинов. Мы с ним о многом и хорошо говорили. — Он помолчал. — Я хочу задать вам один вопрос: как вы сейчас к нему относитесь? Я имею основания задать этот вопрос, — добавил он тотчас. — Я объясню.

— Вы объясните сначала, потом я отвечу.

— Хорошо. Объясню. Свяжинова я очень ценю, — сказал он, как бы приступая к этому сложному повествованию. — И за инициативу, и за размах, и за внутренние качества. Этот человек многое сделает в жизни. Кроме того, он не остановился... он движется. Есть у него критическое отношение к себе. А ведь мы многих растеряли за последние годы. Гражданская война было одно, а сейчас другое... старого разбега недостаточно. Многие отпали. А были отличные, горячие ребята. А Алексей не отпал. Хватало у него энергии почти на семь лет уйти на Камчатку, гонять с Командор чуть ли не до самого Берингова пролива... окраина, глушь. И поотстал он конечно, и много неправильных установок усвоил. Но он живой человек и быстро все нагоняет. Хотелось бы ему помочь, — добавил он сосредоточенно. — Тем более, что внутренюю он живет сейчас плохо. Я думаю, что именно вы могли бы ему помочь.

Она посмотрела на него. Его скулы торчали, как всегда, в напряженьи. Синеватые, как бы выцветшие глаза глядели мимо, на море.

— Я? — Она удивленно выжидала дальнейшего. Было непохоже все это на его скупую обычную замкнутость.

— Да, именно вы, — повторил он по-прежнему сосредоточенно. — Я вам сейчас объясню, как я пришел к этому. Еще на Камчатке Свяжинов предположил... или ему наболтали... что будто я стою у него на дороге. Я никогда не стоял ни на чьей дороге, — добавил он упрямо и хмуро, — тем более на дороге товарища. Сегодня я к нему присмотрелся и решил притти к вам... о нем говорят хуже, чем он этого стóит. Все мы делали в прошлом ошибки... и тем лучше, если их можно в свою пору исправить. А он их хочет исправить.

— Вы — настоящий товарищ, Ян... это я знала всегда, — ответила она не сразу. — Но в одном вы не правы. Если бы только оставалась ко мне дорога, то на этой дороге вы конечно стоите.

Он даже подвинулся. Лицо ее было серьезно. Знакомая косая морщинка лежала между бровей.

— Я сейчас объясню. Я тоже скажу все до конца.

Он ждал и слушал.

— Вы очень скрытный человек, Ян, — сказала она снова через минуту. — Вы мне никогда, в сущности, ни о чем не говорили... но так уже установилось у нас, что мы научились слышать друг друга. Сегодня все-таки будем говорить словами. Помните, я как-то сказала, что, может быть, приду к вам поговорить на одну тему. Вот эта тема.

Она повернулась к нему и глядела на его лицо, как бы изучая в скрываемых обыкновенно подробностях. По-военному короткие, ежиком, волосы торчали над его лбом. Пуговица натуго была прищита к вороту мужской рукой. И сам он весь вдруг заострился в скуластой и недоверчивой настороженности.

— Я решила, что нам нужно быть вместе... если вы этого хотите.

— Вы шутите со мной, — сказал он даже с какой-то отчужденностью.

— Нехорошо. Вы неискренно это сказали... — она не продолжила.

— А как же я должен все это понять?

— Именно так, как я это сказала... если конечно вам это важно понять. А сейчас я объясню главное.

Ветерок дул и дул, и все оживлялось, приходило в движение, обрастало беляками свежее к ночи море.

— Мы ведь вслепую, только по чувству шли в революцию. Вы помните... нам не было и восемнадцати лет. А ведь это все равно, что лететь через горящий лес. Многих конечно и отнесло, и опалило... Но я свою жизнь все-таки выровняла. Во многом помогла мне конечно работа. Мне остался до окончания год. Я хотела сначала все это закончить, а потом уже вернуться к себе. Но тут жизнь опять сделала какой-то зигзаг... — Она замолчала, как бби про-веряя в себе сложные противоречия. — Вернулся Свяжинов. Я думала, что все это забыто... но я не хочу вам агать сейчас, Ян: меня эта встреча встревожила. Из памяти не все можно вычеркнуть. И я поняла, что пора решать свою судьбу. Это странно, что я сама говорю вам об этом, но ведь и все необычно...

— А ведь я пришел совсем с другим к вам, — сказал он просто и искренно. — У нас умеют иногда искажать облик людей, которых не знают. А Алексей все тот же, он ищет... и ему сейчас не легко. Так вот я и думал, не лучше ли будет, если вы ему скажете сами, что меня на его дороге нет. Я давно отстранил себя... было это для меня просто или сложно — это другой разговор. Я думаю, что это лучше всего... для всех.

— И для вас?

— Мне важно, чтобы было хорошо вам.

— А если для этого вам нужно остаться?

Он молчал.

— Я об этом не думал.

— Зачем вы тогда, в овою пору, так легко отпустили меня, Ян? — сказала она вдруг с какой-то горькой нежностью, глядя на его необычное лицо. — Мне не было и восемнадцати лет. Я помню, как вы пробрались в наш город. У вас тогда были длинные светлые волосы. И мне вы казались необыкновенным человеком, который пришел откуда-то из другой героической жизни. А мы в нашем гимназическом подпольном кружке писали наивные про-

кламации, в которых никто наверное ничего не понимал. — Словно издалека, из этого прошлого, возвращался он теперь, и смягчались отдаленные временем, целым десятилетием, черты. — И потом... — и рука ее вдруг протянулась, — отпусти-те подлинней ваши волосы.

... Берег был в огнях. Пароход грузился на рейде. Загруженные шаланды двыгались к месту погрузки. Человек не вернулся обычным путем, а стал пробираться сквозь заросли, боковой тропинкой, протоптанной корейчатами. Душный запах эфирно-насыщенных трав. Упрямые колючие кусты цеплялись и обдирали в кровь руки. Парк глухо и настороженно стоял, населенный новым движением жизни. В распадах, на сопках ревели самцы. Начинаясь с тонкого, высокого звука, переходили протяжные их голоса на низкий и трубный рев. Ломались сучья, шел треск. Олени двыгались чащей. В субтропической своей душной, изобильной природе дышали все эти сопки Приморья, сходящиеся к непрерывной цепи хребта Сихотэ-Альяна. Он остановился на вершине горы. Широкий мир был раскинут до синей черты горизонта. И сверху безостановочно сыпался звездный блистающий ливень. Из далеких скитаний впервые за целое десятилетие можно было вернуться к себе, к скупой сердцевине своей жизни.

### XXIII

В октябре началась пора гона. Ночи и дни трубили, ревели олени. Они продирались сквозь заросли, уже гривастые по-зимнему, серо-желтые, с темной полосой вдоль хребта. Это были молодые самцы, впервые начинавшие гон, и старые могучие темные быки. Шея, грудь, плечи были у них уже густо вываляны в грязи. Как бы в панцирных этих доспехах, стояли они возле пасшихся самок, ревели и вызывали противника. И противник шел. Остервенело и шало двыгался он напролом, чтобы начать бой. Самки были согнаны в кучу и равнодушно дожидались, кому они достанутся. Посрамленный, забрызганный кровью и пеной, уходил победенный, и дальше отгонял победитель

табун. Нет, колесить без выстрела, ломать ноги задаром было Ленке не в охоту. Давно уже приспособился он к птичьему начинавшемуся перелету на лагуне.

Егерь вышел на рассвете один. Утро было легкое, в туманце, в воздушной пасности, когда задернуто небо парами, как дымкой. Он пошел напрямик через парк. Повсюду двигались, волновались, шумели, были доступны глазу олени. Для правильного содержания стада нужно было разумное соотношение сил: не слишком должны перевешивать в количестве самки; надо было постоянно высматривать и удалять бесплодных или приходящих с опозданием в охоту: поздний отел давал хилых последышей. Теперь не скрывались олени, разгоряченные гоним и равнодушные к близости человека. К полудню егерь прошел всю восточную часть полуострова. Солнце уже высоко и плоско стояло в зените. Рубашка была мокра. Он спустился в распадок и сел отдохнуть. Торопливо сбегал как бы остудившийся на вершинах родник. Свалившийся ильм мочил свои могучие ветви. Камышевка пролетела со свистом, увидела человека и испуганно наддала в высоту. Егерь снял рубашку, повесил ее на кусты и пригоршнями стал обливать свои плечи. Вода потекла по спине. Он только поживался и крикал—так утешительно было это холодное щекотанье воды. Умывшись, он сел полдничать. Капли еще круто блестя и просыхали на его плечах. Он достал из походной сумки хлеба и холодного мяса. Он ел и ел и запивал родниковой водой, и все не мог утишить этого полднего волчьего голода. Наконец он отдохнул и насытился. Теперь можно было двигаться дальше. Он надел непросохшую рубаху, запрятал в мешок остатки еды, перекинул ружье и пошел снова в горы. Блаженный холодок еще дремал на плечах от родниковой воды. За распадком начинался дубовый подлесок. Егерь стал подниматься на сопку. Внезапно на северной ее стороне, совсем близко, он увидел быка. Это был старый самец в темной зимней окраске. На его сильной раздутой шее уже отросла грива. Бык

ходил по увалу. Ноги его были выпрямлены. Егерь стал подходить не спеша, чтобы не спугнуть зверя. Но, казалось, равнодушно встречал олень приближение человека. Он был занят другим. Он поднимал морду вверх и яростно дул через ноздри. Его копыто нетерпеливо ходило по мху. Позади, в отдалении, пасся мирный табунок из десятка отогнанных самок. Бык был горбат. Он казался горбатым от напряжения, от настойчивой неутомимости, с которой догонял он по временам на ходу своих самок и закидывал на них передние ноги. Он яростно дул через ноздри, потому что вблизи бродили и выжидали другие самцы. Весь низ его поджатого живота и вся грудь были мокры и забрызганы. Ноги напряженно выжидали, готовые вскинуться на высоту. Морда у него была в пене. Он поднял вдруг голову и заревел, затрубил «и-о-у», начав высоко и закончив низким трубным звуком. И сейчас же в чаще, где-то за дубовым подлеском, такой же голос ответил ему.

Егерь встал в стороне, чтобы высмотреть бой. Не раз пожалев Ленку, предпочтя утиную свою охоту этому шумному и горячему движению жизни. Олень поднял голову и снова затрубил. И снова ему ответили из-за чащи. Он стал беспокоен. Он перебегал с места на место, мочился на ходу, тряс головой, дул через ноздри. Противник шел сквозь чащу, такой же шальной и яростный, готовый сражаться за жизнь. Жизнью был табун покорных рыжевато-серых самок, ошипывающих дубки в стороне. Самок нужно было сделать своей семьей, отогнать, бессчетно и неутомимо покрыть всех до одной, чтобы мирно делиться затем и, сбившись табунами самцов, успеть набрать тело до снегопада. Теперь олень все чаще трубил и безостановочно двигался. Скоро послышался треск. Противник шел напрямик и отвечал ревом. Задвигалась заросль дубового подлеска. Оленья голова оказалась в его чаще. Он был моложе—это был пятилетний олень. Егерь сразу определил его возраст по толщине прекрасных, широкой своей восьмиконечной короной стоящих рогов. Он шел сквозь

жодлесок, видел самок и ревел. Но бык стоял на пути. Это был старый, могучий бык, и он почувствовал его силу и замедлил движение. Они остановились друг против друга в отдалении, дули сквозь ноздри и выжидали. Внезапно бык, охранявший табун, ударил вперед. И сейчас же поднялся навстречу, столкнулся с ним грудью, страшно застукал рогами о рога противник. Удар был силен, но он устоял. Бык засопел. Ноги его снова поднялись, и он снова обрушился на него. Минуту шел стук рогов, храп, сопение, удары задними ногами. Затем, опрокинутый ударом рогов, противник упал, но сейчас же вскочил. Они опять стояли друг против друга и тяжело дышали. Помедлив и потоптавшись на месте, они снова столкнулись. Их наклоненные головы сплелись рогами, шеи раздулись от напряжения и ярости. Но не один не осилил другого. Старый бык повернулся и ударил противника задними ногами под брюхо. Удар был неожидан и глух. Противник ответил таким же ударом. Теперь они бились задними ногами, как бы давая отдохнуть своим натруженным шеям. Егерь даже приподнялся, высматривая. Молодой самец был выращен за последние годы. Если он не уступит, это значит — растет здоровое, надежное, не вырождающееся поколение. Подбор шел своим природным путем. Так и не кончилось ничем это взаимное ляганье. Они остановились друг перед другом как бы в растерянности. На стороне старого быка были сила и вес. Его мохнатая шея страшно наносила удары. Но он устал. Противник его завозил и замучил. Бока раздувались. Короткий хвост был поджат. Он постоял и ринулся снова. Его встретили рога. Опять, заплетшись рогами, их притнутые головы низко из стороны в сторону ходили над землей. Внезапно бык пошатнулся и упал на передние колени. Противник нанес ему новый удар. Бык все же вскочил и стоял, шатаясь. Его силы кончались. Мокрые бока ходили. Он отфыркивал обильную пену. Недавняя его вызывающая походка изменилась. Он постоял в мутном изнеможении. Они снова стали лягаться. Егерь видел белый внутрен-

ний цвет их лягающих ляжек, — и внезапно, отбрыкиваясь, мотая головой, останавливаясь, чтобы снова лягнуть, бык стал отступать. Впереди была чаща. В чаще можно было укрыться и отдышаться. Он отступал к этой чаще, и противник шел за ним следом. Минуту спустя они оба исчезли. Шел треск ломаемых сучьев. Противник гнал и не давал ему отдыха, пока тот не свадится или не уйдет совсем. Егерь ждал. Прошло с полчаса. Самки ставили уши тревожно оглядывались. Вдруг далеко захрустели сучья. Клонилась и колыхалась золотая листва подлеска. Снова показалась ветвистая голова. Олень возвращался к отбитому им табунку. Табунк принадлежал ему. Жены были добыты им с бою. Его худые бока были мокры. Он был изранен, избит, изнурен поединком и преследованием. Все же он шел напрямик короткими прыжками. И самки ожидали его. Он остановился возле самого табунка, прошелся вокруг, шумно нюхая запахи, и вступил во владение им.

Все было в парковом хозяйстве в порядке. Потомство рождалось не худосочное, не склонное к вырождению. Много труда ушло на восстановление кормовых ресурсов, на отстрел бесплодных и обременяющих стадо оленух. Стадо росло, прирост был нормальный, вес убиваемых пантачей показывал хорошую упитанность оленей. Клеветчатая книжка сберегала записи и наблюдения егеря. Километр за километром он шел целый день по следам оленей. Вечер надвинулся из-за хребта, уже приближенный осенью. Желтый конус западной сопки мерк в обруче от заходящего солнца. Кожа была грубо обожжена загаром. В стороне, на склоне горы, стояла фанза старика-китайца, разводившего культивируемый жень-шень. Китаец жил в одиночестве свыше восемнадцати лет. Прежде много приходило искателей настоящего дикого жень-шеня. Дикого жень-шеня становилось все меньше, искатели ушли за хребет, в тайгу. Китаец развел маленькую плантацию культивируемого жень-шеня. Революция не смыла китайца, он остался, был законтрактрован Охотсоюзом. Конечно был

ниже, дешевле культивированный корень. Но силы были не те, чтобы искать настоящий жень-шень. Звероловная трювинка тоже уцелела только прошлым своим протоптанным следом. Давно ушел крупный зверь. Было время — водился здесь соболю, дикие олени проходили стадами, доставляли большую добычу — пняты. Теперь покажутся редко кабарга, иногда енотовидная собака, барсук, бурундучки да водяная крыса на озере. У китайца в фанзе можно было отдохнуть до утра, чтобы начать дальнейший обход полуострова. Егерь поправил полуопустевший мешок и зашагал в горы.

Жалкая кумирня стояла возле дороги. Несколько приколотых пестрых картинок, остатки свечей, крошки пищи. Перед фанзой ровными своими, аккуратными, прополотыми до единой травинки всходами зеленели грядки маленького огорода. Собака залаяла. Китаец стоял у плетня, приложив щитком руку, и смотрел на путника. Было китайцу не меньше семидесяти пяти лет. Красноватая кожа собралась дублеными складками. Синевыбранный лоб зарастал, из-под черной круглой шапочки висели жалкие остатки старовойсковской косицы. Худые голые ноги были засунуты в непомерно большие сношенные улы. Собака, старая, худая, исчерна-желтая сука, скулила и давилась на цепь.

— Пэн ю ни хао!.. <sup>1)</sup> Узнаешь?

Раза два в год приходил сюда егерь, приносил табак, оставил раз большое сокровище — две целых стеариновых свечи. Рот китайца был полон длинных желтых зубов. Ни один зуб не выкрошили у него годы. Только пошутили со слухом — был он глуховат. Седой, густой войлок рос из его заросших ушей. Китаец слабым голосом прикрикнул на собаку и проводил гостя в фанзу. Такой же жалкой и нищей была эта фанза. Стены были мохнаты от копоти, глина между щелей осыпалась, и ветер широко задувал в непогоду.

— Так. Сначала помоемся. Потом будем пить с тобой чай.

Егерь говорил сам с собой, и китаец все улыбался и из вежливости кивал го-

ловой. Егерь умылся из деревянного ковша и развязал свой мешок. Закопченный чайничек уютливо закачался над очагом. Каны, покрытые стершимися цыновками, были еще теплы. Старость требовала тепла. На канах можно спать голым, и тогда нужно только поворачиваться с боку на бок, чтобы хорошо согреть тело. Они присели наконец на пороге фанзы и закурили. У охотника был настоящий табак. Китаец курил какие-то пережженные горькие травки. Он набил свою маленькую трубочку настоящим табаком и пустил две затяжки. Много было еще хорошего в жизни. Можно сидеть на пороге дома, курить настоящий табак, говорить об охоте, о погоде с охотником. Погода была хорошая. Овощи на огороде поспевали. Огурцов было много. Капуста уже скрутилась в кочаны. Здоровье его тоже еще хорошее. Недавно во время перелета он даже убил из ружья гуся. Гусь был тяжелый и жирный. Стрелять конечно сейчас уже трудно. Старые глаза. Скоро он понесет по контракту сдавать корешки. Жень-шень хорошо цвел в августе. Жалко, охотник не видел, какими красивыми красными цветами цвел жень-шень. Можно было еще и еще раз набить маленькую металлическую головку трубочки щепоткой табака. Одно плохо — слабые ноги. Трудно сгибаться над огородом, трудно ходить по сопкам. Скоро надо идти за мукой. Лошади нет. Никто не одолжит лошади.

— Моя везти помогай... моя на лошади везти помогай, — крикнул егерь в заросшее ухо.

К китайцу, к его старости, к трудовой одинокой жизни у него было сочувствие.

— О-о, — китаец охал, — твоя моя быстро холосо делай... О-о!

И он стал рассказывать дальше. В Тун-чу, в лунный праздник, сородичи принесли ему муки и свинины. Они напекли лепешек и наделали пельменей. Это был большой праздник. Всем было весело. Все пели песни и радовались празднику. Недавно в тайге он принял простое растение за дикий жень-шень. Никогда прежде этого не было. Очень слабые стали глаза. Недавно

<sup>1)</sup> Здравствуй, приятель!..

енот подошел к самому дому. Собака стала лаять, и енот убежал. Два солнца назад он видел в тайге дымок. Он думал, что это горела трава. А потом он нашел след человека. Человек курил и готовил пищу. Он полагал, что это прохожий китаец или кореец, но человек жил в тайге несколько дней. Потом он нашел на его следу пуговицу. У китайцев таких пуговиц не бывает. У корейцев тоже. Значит, был в тайге русский. Может быть, шибко плохой человек. Ближе Манчжурия. Мало ли людей ходят взад и вперед через границу. Птицы уже начали улетать. Теперь скоро выпадет снег.

— Постой... — сказал егеря вдруг. — Твоя пуговицу мне покажи...

— Пуговица... пуговица, — подтвердил китаец.

— Твоя мне покажи... моя посмотреть надо! — крикнул он ему в ухо.

— О-о! — Китаец подивился, ушел в фанзу и принес пуговицу. Это была грубо штампованная черная пуговица от мужской одежды. Скорее всего от сиджака. Егеря осмотрел пуговицу.

— Сколько солнца прошло, как твоя видел дым?

— О-о... два солнца просело — видела. Моя ходи посмотреть нету. Моя стреляй не могли. Какой человек шибко кудой сиди, моя понимаю нету.

Китаец скалил длинные зубы и из нежливости кивал головой. Четыре солнца под ряд в одном и том же месте на западном склоне сопки он видел дымок. Дважды днем подходил он ближе к этому месту и находил золу. Вероятно готовил человек себе пищу. Утром он может показать это место. А сейчас, если хочет охотник, он покажет ему, как растет жень-шень. И он повел его за дом, мимо огорода, к маленькой плантации. Плантация была в долинке, в тенистом защищенном месте. Лучи солнца не должны были обжигать дорогое растение. Растение любило прохладу и тень. Ровными посадками шли эти всходы с несколькими яркозелеными листиками зонтиком. Так это и был тот редкий дорогой корешок, за которым уходили в тайгу, как за золотом! Разочарованно егеря смотрел на его яркозеленые

листья. Все было тщательно прополото, окуплено, полито, защищено. Земля была просеяна, с боков стояли щиты, сплетенные искусно из хвороста, чтобы защищать от ветров. Они вернулись в дом, стали ужинать, и опять необычайного вкуса было это мясо, которое пришел с собой егеря, и настоящий пахучий чай. Теперь можно было выкурить последнюю трубочку, рассказать еще о том, как много прежде водилось настоящего дикого жень-шеня, растянуться голым на теплых канах и заснуть счастливым сном.

Утром повел китаец егеря в тайгу. Он шел впереди — высокий и почти несогнутый временем. Только косица была от прошлого века, словно от каких-то манчжурских эпох. Они стали спускаться с горы. Пестрый бурундучок выглядывал из-за куста, все смотрел, любопытствуя, стрекотал — и исчез. Так спустились они в долинку. Стало темнее. Деревья и кустарники были тесно перевиты ползучими растениями и диким виноградом. Душной избыточной сыростью дышали заросли. Вдруг китаец остановился. Слабые глаза освещались в сумраке. Веточка бокового куста была свежо обломана. Это было сделано рукой человека. Они пошли теперь медленно, оглядывая кусты. Ближе к самым хребтом проходила манчжурская граница. Только охотник может ночевать четыре ночи в тайге. Но охота на всем полуострове запрещена. Браконьеры повывелись. Скоро нашел китаец следы очага. Зола была раскидана и затоптана. Китаец останавливался и осматривал кусты. Слабое зрение мешало ему, но была у него старая сноровка искателя жень-шеня. Каждый след имел свой смысл и свое назначение. Егеря дивился, его зоркий охотничий глаз был менее приметлив. Вот китаец пригнулся, пошарил в траве и нашел примятый окурочок. Окурочок был свежий. На мундштуке его была красноватая надпись: «Союзтабактрест». Еще подальше нашел китаец несколько сорванных примятых папоротников, служивших ложем. Неспешной внимательной рукой огородника он разобрал пожухнувшие листья. На одном из узорчатых этих листьев он



нашел золотую нитку. Нитка с остатком шелковых волокон была из той золотой канители, которую вплетают в восточные халаты и тюбетейки. Человек носил тюбетейку. Тюбетейки делают в Туркестане, — следовательно, не из-за границы пришел человек. Недоставало собаки. С досадой вспомнил егерь о своем рыжем псе с замечательным нижним чутьем... Он бы их не заставил блуждать вслепую по следу. И они продолжили свой путь через чащу. Следов больше не оказалось. Человек был осторожен. Он даже разбросал листья папоротника на месте своего ночлега. За все время он потерял только пуговицу, да золотая ниточка выпала из его тюбетейки. Впрочем обнаружил еще китаец, что облегал тот в сторонке нужду. Не было собаки. Может быть, не совсем еще ушел этот явно скрывающийся в зарослях человек. Все было нетревожимо в них, и продолжал свой равнодушный полет далекий коричневый ястреб. Надо было возвращаться к фанзе.

## XXIV

Егерь забрал свой походный мешок, перекинул ремни и сказал китаюцу:

— Моя сегодня ходи мало-мало, потом назад приходи... моя думай — шибко худой люди на сопка есть.

— О-о! — Китаец понимающе кивал и причмокивал.

И егерь снова двинулся в путь своим размеренным шагом охотника. День опять раскрывался в зное. Егерь перевалил через сопку и стал спускаться вниз, к родничку. Наконец он вошел в сырой сумрак распадка. Внезапно крайний куст задрожал, и голос сказал повелительно:

— Стой!

Рука мгновенно схватилась за ложе ружья.

— Да никак это ты, Исай?

Кусты затрещали, и человек предстал перед ним. Егерь узнал знакомого пограничника. Испуг прошел.

— Чего ты здесь бродишь? — спросил пограничник.

— А-то по делу брожу... а ты чего бродишь?

— И я по делу.

Они сели на упавшее дерево и закурили. Не все мог рассказать пограничник. Но были они здесь втроем по некоему следу. Один остался в стороне с лошадьми, двое дежурили. Тогда егерь рассказал в свою очередь о китайце и о человеке в тайге.

— Ты постой... — Пограничник стал сразу серьезен. — Может, он-то и нужен?

Дело менялось. Следы были дальше, чем они предполагали. Надо было найти второго товарища, чтобы двинуться всем сообща. Условным знаком для встречи был выстрел. Стрелять пограничник не хотел. Они пошли, искать второго пограничника вместе. Только в четвертом часу они его нашли наконец. Знакомый пограничник был высокий, сероглазый, докрасна, как все блондины, обожженный солнцем, бывший сучанский шахтер Деев. Второго пограничника егерь не знал. Этот был веснушат, с округлым крестьянским лицом, тяжеловат на ходу. Солнце отвесно жгло лоб. Не помогали мокрые носовые платки, повязанные вокруг голов. Платки просыхали мгновенно. Ручья поблизости не было. Надо было одолеть крутую сопку и два перевала. Только к самому вечеру добрались они до фанзы. В фанзе было душно, каньы были нагреты. Люди разделись и повалились в тени возле дома. Солнце перевалило через хребет и падало книзу. Фиолетовым дымом наполнялись долины. Теперь можно было обдумать все по порядку.

Три дороги шли от фанзы. Одна — обычная дорога через сопку к совхозу. Другая — старая звероловная тропинка сквозь заросли. И третья — потайная тропа, по которой, случалось, переходили границу. Китаец взялся на рассвете указать все дороги. Если двигаться обеими тропками на восток, то есть место, где они близко сходятся, и там достаточно дать один выстрел, чтобы друга найти. Нет, стрелять пограничники не хотели. У егеря был рожок, который высверлил он из коровьего рога. В пору гона, запрятавшись в чаще, вызывал он этим рожком пантачей. Они ре-

шили, что двое двинутся по указанным китайцем тропинкам, а третий останется на дороге к фанзе. Спать все же пришлось в доме. Кусали блохи. В отверстия крыши прохладно синело небо. Первым проснулся и разбудил остальных пограничник. Одевались молча и наскоро. Человека надо захватить без предупреждений. Стрелять только в случае сопротивления. Китаец снова пошел впереди. Это был великий рост, великая некогда мощь человека. Какие-то древние манчжуры жили в нем. Только ноги в улах были старчески худы и слабы. Звероловная тропа шла на восток, еле приметная и почти сглаженная временем. Добычливые охотники бродили некогда по ней. Не раз тянулась по ней контрабанда. За последние годы—разведанная—переставала тропа служить этим целям. Деев поставил на ней второго пограничника. Другая тропинка, к которой привел их китаец, была лишена обычных примет. Пограничник задумался. Егерь с охотничьей своею сноровкой мог легче разобраться в старых звероловных засечках.

— Как, Исай, возьмешься пройти?—спросил он в раздумьи. — Дело серьезное. Так ты иди тогда этой тропой... а я верхнюю дорогу возьму.

И он повторил условия встречи. Сразу душно и тесно обступили заросли. Только опытный охотничий глаз мог заметить заросшие засечки на деревьях. Китаец объяснил ему смысл засечек и их направление. Они выкурили еще на прощанье по трубке, и егерь пошел по тропе. Папоротники поднимались выше колен, тяжелые, ржавые, изнуренные удушием зарослей. Деревья разрослись, и старые засечки были сглажены временем. Посвистывал бурундук, стучал дятел в чаще. От прели, душного запаха зарослей, липкой испарины начинала болеть голова. Мало-по-малу приметил он способ отметок китайцев. На каждые сто—полтора шагов делали они засечку на дереве. Высохшее дерево рядом с колышком насаживалось для проверки направления. Раз егерь ошибся, взял не то направление. Высохшего дерева не оказалось на пути. Он вернул-

ся назад, разобрался в дороге — и опять нашел дерево. Была в этом та же китайская аккуратность, с какой разделяли они свои огороды или маленькие плантации жень-шеня. Верхушки деревьев светлели, потом стали слегка золотеть. Восходило солнце. Теперь легче стало определять направление. Внезапно кровь толкнулась в виски, затемнила на мгновение зренья. Широкая росная полоса шла влево по высокой траве. Большой зверь или человек проходил здесь недавно. Еще дышала росой, была обильно влажна эта тучная, высокая трава. И след седовато, как бы посыпанный пеплом от внутренней подлистной белизны, шел наискось в чащу. Егерь снял неторопливо ружье. Все было тихо. Он стал пробираться по этому следу. Но след скоро кончился. Дальше шло жесткое сплетенье кустарников. Егерь стал разбираться в их сложном колючем узоре. На одном из шипов дикорастущего шиповника он нашел клочок грубоватых черных волокон. Волокна были из одежды. Он осторожно раздвинул кусты и стал пробираться сквозь чащу. Изредка острым шипом наскоро проводило царапину на его руке. Еще через сотню шагов он снова нашел примятую человеческим шагом росную траву. Он был на следу. Вчерашняя усталость, боль от царапин— все обратилось в настойчивую тревожную легкость. И цель открылась ему... Спиной к нему на свалившемся дереве сидел человек. Он был широкоплеч, сутуловат. Видно, от усталости присел он на этот упавший ствол вяза. Родничок буровил тайную свою таежную дорогу, освежая душную скученность зарослей. А главное — очарованно и не мигая глядел егерь на главное: на золотую коническую тибетейку на голове человека. Кусты равнодушно обдирали в кровь руки. Сердце в мелком отчетливом стуке как бы отсчитывало размеренность движений. Внезапно человек поднял голову и прислушался. Подозрительно качался отпущенный егерем куст. И мгновенно, с мальчишеской легкостью человек перемахнул через дерево, на котором си-

дел. Короткий, отчетливый выстрел ударил из-за широкого вяза.

— Наган... в мать, наган!

Егерь упал и остался лежать. Он чувствовал острую свежесть в кончике уха. Ползучее дерево извивалось змеей на уровне глаз. Он лежал. Впереди был ствол упавшего дерева. Его широкие сучья прикрывали человека. Так шли минуты. Внезапно шевельнулась ветвь вяза, темная округлость показалась за ней, человек высматривал. Палец был на спуске. Еще полминуты. Выстрел коротко сорвался. Эхо не повторило его. Темная округлость исчезла. Егерь раздвинул кусты и побежал к дереву. Пуля ударила мимо него, возле самого лица. Он выбил прикладом из левой руки человека револьвер. Человек застонал, повернулся — и егерь увидел широкое, темное, калмыцкое лицо с раскошенными от боли и ненависти глазами, лицо, запущенное от комариных укусов, малярийно-желтое, страшное лицо. Пальцы правой руки были скрючены, пуля раздробила ему локтевую кость.

— Ошибся... гад! — сказал егерь.

Он мгновенно перехватил его левую руку и заставил человека повернуться спиной. Острым, звериным запахом пота пахла эта широкая спина. Рука хотела вырваться — все еще сильная, здоровая рука человека.

— погоди... не спеши, — сказал, задохнувшись, егерь, сорвал с себя пояс и, прижавшись щекой к спине человека, натуго прикрутил эту руку. Он отбросил лежавший наган, вытянул из петель походного мешка ремни и перевязал еще ему ноги. Пот залеплял глаза. Егерь жадно припал к роднику. Теперь можно было отдышаться. Круто и как бы в смертельном усилии ходила грудь человека. Ворот его был раскрыт. Монгольская черная борода редко росла на щеках. Золотая тубетейка валялась на траве, как трофей. Егерь молча и деловито стал выворачивать его карманы. В карманах брюк нашел он запасную полную обойму — «Так...», блокнот — «Поглядим...», коробку папирос — «Курить...», кожаный бумажник, перетянутый туго резинкой. Еще оказался неподалеку на земле джутовый мешок из-под

сои со штампом манчжурской фирмы, и в мешке: остатки хлеба, несколько горстей сорного риса, два коробка спичек, отсыревшая соль в газетной бумажке... Это было все. Оставалось досмотреть содержанье бумажника. До сих пор, кроме шумного дыхания, храпа, взаимного ненавистного бормотанья, не слышали они друг от друга ни слова.

— Поглядим, — сказал егерь впервые и сорвал резиновый жгутик. Вдруг красная капля упала ему на руку. Он поглядел на руку и потрогал себя за ухо: из уха капала кровь. — Ладно... неважно. — Он обернул ухо мокрым платком и раскрыл бумажник. Деньги. Четыре бумажки по сто рублей. Он даже посмотрел их на свет: бумажки настоящие. Еще одна в тридцать. Две по десяти. Четыре трешки. Он подсчитал: «Четыреста шестьдесят два». Так. Дальше. Опять деньги. Но не русские деньги. Японские иены были в ходу в интервенцию. Он их знал. Много бумажек. Целая стопочка. Он стал считать и сбился. Выходило свыше тысячи иен. «Наказырал, ничего себе...» Дальше. Документы. «Ага, поглядим...» Он раскрыл было книжицу и мгновенно заперся:

— Алибаев... ты — Алибаев?

Теперь он глядел в его черные ожесточенные, расширенные унижением, болью, тем, что позорно его захватил этот приползший откуда-то горбоносый, сухой человек, — и ненавидящие глаза.

— Ты — Алибаев?

Егерь даже пригнулся к нему, чтобы лучше его рассмотреть. Последнее звено головлевского дела. Ястреб, который кружил и ушел и снова вернулся. и вот простерт перед ним на траве со скрученными ногами. Правая рука, как подбитое крыло сильной птицы, бессильно повисла.

— Так вот ты какой — Алибаев. Ты куда же... куда же тянул? В Манчжурию, через границу?

— Замолчи... дурак, — сказал Алибаев. — Ты мне кость раздробил. Дай воды.

— Воды дам. Я тебя целеньким доставлю.

Егерь достал нож и распорол рукав на правой руке Алибаева. Пуля попала пониже локтя, раздробила кость и порвала вероятно сухожилия. Алибаев скрипел зубами. Стонать он не хотел. Егерь оторвал лоскут от рукава его нижней рубахи и перевязал рану. Потом нарвал он высоких стеблей, ободрал листья, скрутил жгут и натуго обмотал жовыше локтя, чтобы остановить кровь. Алибаев скрипел и скрипел зубами.

— Освободи мне левую руку... рука затекла, — сказал он с ненавистью.

— Потерпишь.—Егерь достал табак. Он мог наконец закурить.—Ты на что же надеялся, — спросил он обстоятельно, — навредил и прощайте? А мы еще прощай не сказали.

— Дурак... — проскрежетал Алибаев. — Чем тебя начинили, то сыплешь. Много тебе от меня корысти? Забирай все деньги... здесь тысяча иен. Знаешь, почему сейчас нена? И катись... и не было никакой нашей встречи.

Егерь даже с любопытством посмотрел на него.

— Ты что же... за тысячу иен купить меня хочешь? Я за тебя на кровь шел, а ты это в тысячу иен оценил... А я с тобой на сговор пойду,—добавил он вдруг.—Хочешь сговор? — Алибаев ждал. — Ты мне сообщников своих назови... а я за это скрою, что ты меня с оружием встретил. Скажу—взял безоружного. Тебе за это меньше вины будет... а ведь за то, что с оружием, — неважно придется.

— Не повредил бы ты мне с первого выстрела руку, — сказал Алибаев,—ты бы от меня не ушел.

— А может, ушел бы,—ответил егерь почти задумчиво. — Я, брат, счастливый... и меченый. Меня на Суйфуне тигр пробовал — отказался. Ты вот спасибо скажи, что я тебя не совсем скovyрнул. А боялся. Мог я тебе попасть между глаз. А рука, это что... заживет. Вот только ни к чему тебе это, пожалуй, будет, — добавил он в некоем раздумьи.

Он уже настраивался по-деловому. Надо было дать знать пограничникам. Надо доставить человека к фанзе. Опас-

но и сложно было тащиться с ним сквозь все эти заросли. Кровь текла и текла из разбитой руки Алибаева. Дважды егерь менял ему повязку. Дважды отказывался Алибаев итти. Они садились. Егерь скручивал себе и ему папироску. Потом они снова тащились дальше. Только к закату он выбрался с ним на знакомую дорогу. Человек с оторванным рукавом пиджака, в золотой тубетейке угрюмо и медленно хромал перед ним. Правое колено зашиб он раньше в тайге.

Китаец был дома, на огороде. Пограничники еще не вернулись. Только в восьмом часу вечера смог егерь передать наконец Алибаева в надежные руки.

— Постой!...—сказал Деев, — а где твое левое ухо?

Егерь схватился за ухо. Кончика уха не было.

— Пустяки... здесь дела поважнее.

Второй пограничник ушел за товарищем, оставшимся с лошадьми. Алибаев заснул в фанзе. Пограничник и егерь сидели на ее пороге.

— Доедем мы с тобою до пункта,—сказал Деев, — пускай поглядят на тебя, какой ты есть. А ухо тю-тю... полуха ты отдал.

— Я бы и целое отдал...—и егерь вдруг с завистью поглядел на спокойное, уверенное лицо пограничника. — Ты вот, брат, к своей правде пришел... а я только иду. Тебе легко. А мне трудно. А ухо — что ухо... я за это разве столько отдать могу!

— А ты знаешь, где правда?—спросил пограничник.

— Я знаю.

— Так ты и иди... иди к ней.

— Я и иду... кровью, только куда иду, а к ней итти надо вот,—он хлопнул себя по лбу,—чтобы тут было ясно. А тут у меня еще туману много... учил меня на пятак.

— Вот,—пограничник даже подивился,—а меня кто учил... я на Сучан пришел,—тятка да мамка лаптем крестили. Я сам себя кайлом бил, как породу... вот выбил—хожу. Ничего.—Синеватые точки и крапинки от осколков угла остались еще на его лице.—И ты бей... сильнее

побьешь, верней будет. А ухо я перевяжу тебе все-таки.

Он достал из походной сумки чистый платок, разорвал его на три полосы, обмыл и перевязал ухо егерю. Приходилось дожидаться рассвета. Егерь лег в стороне и уснул. Пограничник остался бодрствовать. На рассвете, еще в полном сумраке, застучали лошади, увозя пограничника, Алибаева, егеря. Двое других пограничников пошли пешком следом. Китаец долго стоял у ворот во весь свой несогнутый временем рост и смотрел на дорогу.

Всё кругом, в тесную предало Алибаева. Первым был доктор, так подло и равнодушно исчезнувший, когда обнаружили нити. Просто в нужную пору растворился, исчез, словно никогда его не было. Вторым предавал его на бережку тучный, франтоватый, до смерти перепугавшийся человек в сдвинутой жалкой панаме. Третьей была жена, сунувшая в руки Свяжинова его фотографию. Конечно последнюю роль играла эта фотография, но как-то косвенно была в этом замешана жена — и он ненавидел сейчас даже жену. Дальше начиналось самое главное. Еще в трехдневную командировку он подготовил на всякий случай пути для своего отступления. Надежные руки помогли ему затеряться в портовом мешеве судов вечером — и дальше в трюме кунгаса. Кунгас вышел ночью, как обычно, на лов. В определенном месте должен был поставить он сети. Все зависело от погоды. Если погода будет тихая, к кунгасу подойдет шампунка, заберет Алибаева и высадит его на берегу. На берегу придется ему провести остаток ночи и весь следующий день. К вечеру за ним придет человек, чтобы вывести его на нужную тропу — и по этой тропе через сутки к границе. У человека будут для него, Алибаева, документы. В случае если будет штормить, все дело откладывалось.

Кунгас вышел к ночи. Погода была тихая. Ветер, поднявшийся вечером, к полночи стих. Кунгас медленно и ныряя, под парусом, выбрался из бухты. В трюме пахло крысами и тухлой рыбой. Вода близко плескалась за сыры-

ми досками обшивки. Часов через пять после выхода была выброшена сеть. Кунгас слабо качало. Погода утихла. Еще через час Алибаева вывели наверх. Рядом с кунгасом болталась шампунка. Ему наспех насовали в мешок хлеба и немного еды. Он спустился в шампунку. За доставку сюда заплатил он сто иен. Триста иен должен был он вручить человеку, который явится за ним на берегу, и двести иен — за документ. Пошло скрипеть — «юли-юли» — привязанное весло. Молчаливый кореец стоял на корме, наваливался на это весло. С корейцем он не обменялся ни словом. Наконец пристали они к берегу. Берег был пустынен и глух. Нужно было подняться в чащу, начинавшуюся повыше на скате, и там дожидаться. Остаток ночи и весь нескончаемый день сидел Алибаев в чаще, пожираемый комарами и гнусом. Его лицо и руки запухли. Наконец стал спадать вечер. Его мученья кончались. Он переполз ближе к берегу. Никто не приходил. Каждый шорох был обещающ и страшен. Ночь шла. Никто не пришел. Он прождал до рассвета, скрипя зубами, хрустя суставами пальцев, и снова заполз глубже в заросли. Существование его начинало походить на звериное. Он боялся уснуть, чтобы не пропустить человека. Он задремывал и просыпался. Его мучила жажда. Его предавали в четвертый раз и окончательно предали. Никто не явился ни в следующую ночь, ни наутро. Еды было мало. Хлеб как-то мгновенно заплесневел. Он боялся развести огонь. На третью ночь он заснул и проснулся от озноба. У него начиналась малярия. Дождаться дальше было безнадежно. Худой и желтый, он пополз в горы один в поисках этой тропы. Он нашел наконец тропу, но она привела его к китайской фанзе. Китайцев он боялся. Каждый мог его выдать. Путей к возвращению не было. Он решил наконец сварить пищу. Первый же дымок от потаенного его костра заметил китаец. Алибаев ел полужесткий горох, счастливо давясь и глотая твердые зерна. Насытившись, он двинулся дальше. Кончился горох. Оставался рис, немного хлеба. Его сте-

регли. Всем инстинктом он чувствовал, что его стерегли. Его не только преда-ли. За ним шли по следу. У него оста-вались две обоймы нагана. Он готовился не дешево отдавать свою жизнь. Это были страшные, неверные заросли. Змеи выползали, и он с содроганием размаз-живал их ядовитые трехугольные голо-вы. Он не мог стрелять птиц. Птицы шли над ним вольным перелетом. Пол-дня полета — и они за границей. Про-клятая, страшная, непереходимая черта! Он видел ее в каких-то удушливых испа-ринных снах, задыхаясь в тропической сырости и от пышного ядовитого цвете-ния трав. Узкая невинная ленточка кротко бежала, шла по увалам, заросшая обыкновенными полевыми цветами. За ней были степи. Широкие, пахнувшие осенью, взлелеявшие детство и юность — степи. Степи исчезали, начинался день. Он хотел жить. Его губы были искуса-ны гнусом. Он зарастал бородой. Время утратило свою размеренность. Ночи и дни потеряли смысл и счет. Нужно было двигаться. Он двигался по ночам, на-ощупь, по звездам. Звезды он плохо знал. Они плохо вели его. В последний вечер они привели его к роднику с по-валившимся вязом. Здесь он провел ночь. Журчала вода. Холодок дышал жизнью. Впервые он видел прохладные легкие сны. Здесь решил он дожидаться вечера. Здесь настиг его егерь. Он был заперт — в последний раз. История его жизни кончалась. Он тупо трясся на ло-шади, некогда лихой кавалерист. На что были нужны ее отличные стати! Впере-ди был ровно подрубленный, докрасна обожженный затылок егеря. Позади ехал пограничник. Разбитая рука боле-ла. Лошадь бодро шла холодком. Он вслушивался в непоучительный смысл своей жизни. Степь отоснилась, чтобы больше никогда не присниться. Надо было сидеть в седле, слушать звяканье подков по камням, смотреть на затылок, до ненависти близкий и до ненависти недоступный.

Так начал Алибаев свое возвращение.

## XXV

Бараки были достроены. Нашлись сре-ди ловцов и пыльщики, и плотники, и

печники. Из бабьего гомона, ссор, наре-каний вырастали во всей своей очевид-ности два больших, свежих пахнущих де-ревом, с зимними рамами жилища. Оста-вались крыши, побелка и стекла. Через неделю можно было начать переселенье тридцати пяти ловецких семейств — в сложности свыше ста человек. Все было сделано своими силами. Доски напилены из мачтовых бревен, которые пойма-ли близ берега, — вероятно, тайфун разбил запань на сплаве. Стекло и железо от-воевал Свяжинов. Кровельщиков среди ловцов не оказалось. Добыл Свяжинов в очередную поездку и пять человек кро-вельщиков.

Опять Микешин мог оглядеть знако-мый тесный круг лиц в приспособленной под собранье столовой. Опять привычно выжидал тишины постукивающий каран-дашик. Наконец смог Микешин начать:

— Товарищи... собранье наше сегодня деловое и не совсем обычное. — Он по-дождал, давая остыть тишине. — Мы мо-жем сегодня подвести кое-какие итоги. В последний раз собирались мы с ме-сяц назад. Вы все это собрание помните. Плохое было собрание... здесь кое-кто поднимал голос и даже получал под-держку... кое-кто, кому место не здесь среди нас.

Сзади крикнули:

— Называй имена... называй полным именем!

— Я назову имена... в свое время. Речь сейчас не об этом. А многие ли из вас, товарищи... многие ли из вас су-мели заглянуть тогда в основу причин. Я ведь не спорю. Причин для недоволь-ства было много... и со снабжением бы-ло неладно, было плохо с жилищами... да и работа у нас шла по-старинке, по старому способу. Все это правильно. Что же мы сделали? Мы создали рабочую бригаду, чтобы она боролась за улуч-шение снабжения. Добилась она чего-ни-будь? Добилась. И в кооперации кое-что порасчистили... и снабжение улуч-шили... и овощей достали. Значит, свои-ми же рабочими усилиями кое-чего мы достигли. Хорошо. Пойдем дальше. Жи-лище. Кто еще месяц назад здесь шу-мел, не верил... говорил — не дело ловца

самому себе строить жилище. Были такие? Были. Вы, мол, советская власть, одно, а мы, мол, другое. А когда мы своими же руками для своей же нужды, для своих же семейств бараки в три смены в ударном порядке построили... плохо вышло? Чьими руками мы свое рабочее дело строим, товарищи?

И вдруг застучало, захлопало все это собрание. Он выждал.

— Второе дело. Перейдем к третьему.—Он достал из портфеля листки.—Об этом деле поговорим поподробнее. Чего мы добились за эти декады в нашей общей работе? Начнем с основного. Он разгладил листки.—Тут могу я сказать, что с мертвой точки мы все-таки сдвинулись. Я вам прочту, чего мы добились после перехода на новые методы работы... после создания бригад. Начну с вылова.—Он прочел цифры.—По обработке... по консервному заводу... Но имеем мы еще и позорные цифры... имеем невыходы... значит у нас также, что три бригады при свежей погоде отказались от лова, запрятались в бухты, в то время как другие бригады работы не только не свернули, но даже остались на круглосуточном лове. А вот и результаты этого самого лова, который многие из вас считали делом несбыточным.

Он снова отставил листки от своих дальнзорких глаз. Бригада провела в море пять суток кряду. Ловили ночью и днем. Дневной улов был близок по количеству к ночному, а иногда бывал даже выше. Старые понятия, что рыбу нельзя ловить днем, опрокидывались. Очевидность вела наглядный свой счет. Не все еще было слажено в этой новой работе. Недостаточно быстро оборачивались дежурные суда, еще по-старинке неспешной была береговая приемка, не все суда умело поставили сети. Но это было только начало. Время обгоняло старый труд, и всё, что не хотело отстать, меняло шаг, чтобы догнать это время. Многие стояло еще на пути. Плоховато было со снабжением, не всех могли вместить построенные бараки, нелегко сдвигались старые понятия и навыки. Но на разглаженных листках бы-

ли итоги этого нового движения. Итоги означали измененный человеческий труд. Кончалось старое оставшее хозяйство, в котором никто и ни за что не отвечивал. Каждый получал свою биографию. В сложном порядке хозяйства он был не безмянно затерян. Он шел в очевидности своих труда и усилий. Производственные совещания становились горячим продолжением борьбы. Бригада Подсоснова, проведшая круглосуточный лов, и бригады, запрятавшиеся в бухты от непогоды, становились наглядным изображением этой борьбы. Собрание приветствовало премирование бригады Подсоснова и требовало, чтобы отставшим бригадам считать уход с лова как прогул и невыход.

Довольный и затолканный пробирался Микешин в толпе. Было уже не то на строение, с которым враждебно и выжидательно встречали его здесь месяц назад. Приходилось начинать с основного—с переделки труда на ходу, в движении каждого дня. Все преобразовывалось — и прежде всего человек.

... Как обычно, дождался катеришко у городской пристани. Осень дозревала на сопках. Непогода шла с севера. Пока еще в красной и золотой пестроте был Русский остров. Катеришко стучал разболтанной машиной. Берега возникали каменистыми срывами — неприятным дальневосточным береговым одиночеством. Легкая ранняя мгла застилала очертания берега. Свияжинов сидел один на корме. В цифрах перелома, которые доложил он сегодня на городском совещании, был и сам он неким слагаемым. Итог был не в одних только цифрах. Итог был в перестроенных людях. Итог был в нем самом. Другими глазами смотрел он теперь на эту береговую полосу полуострова, на суда возле пристаней, на строения промысла. Все это было сейчас как составная часть его жизни. Катеришко подошел к ночной пристани.

Ловцы пели песню. Голос запева:

На сопки ложится, спадает туман.  
Стоит на посту верховой партизан.  
Мы к Тихому морю расчистили путь,  
Еще не настала пора отдохнуть!

Голоса отвечали:

Гляди, эй, товарищ, за берег земля:  
На Тихом на море плывут корабли.

И опять заносился голос — одинокий,  
сладостный, знакомый голос:

Плывут корабли, корабли к нам плывут,  
На них не пшеницу, а пушки везут.

Это была старая партизанская песня. Он помнил — костры и освещенные снизу грубые, братские лица, и гулкие ночи в горах, и студёные туманные утра на сопках. Как бы легкий ветерок времени дул ему сейчас в лицо. Старый берег встречал знакомыми песнями. Он мог войти в общий круг и сказать: «Вот мы и снова вместе, товарищи» — и никто не подивился бы, а только посторонились бы, давая ему место. Голос дотянул:

Не Тихое море, — шумит океан,  
Вся власть у рабочих, вся власть  
у крестьян.  
К заморским мы странам проложим наш  
путь,  
Настанет пора нам тогда отдохнуть!

Никто не откликнулся. Свяжинов сказал:

— Чего же вы замолчали?.. подтягивайте.

Но уже на новую затейливую песню переходил невозмутимый тенорок:

На Сучане есть вагоны,  
Красные вагончики.  
Партизаны все мленки,  
Прямо симпомпончики!

— Эх... ух... фьи! — И ударили свистом в два пальца.

Горячая сила искала выхода. И Микешин в своем доме слушал, качал головой: «Загуляли партизаны... весь берег побудят, черти!» — Дом становился тесен. Старое шахтерское дыхание тревожила эта загулявшая вольность. В эту пору, во-время, посетили его два человека. Паукст был не один: необычайно серьезный и молчаливый сопровождал его егерь.

— Вот это вы кстати. А я было задумался, брат... партизаны растревожили песнями. — Егерь сел. Руки его были сложены на коленях. — С делом, что ли,

с каким? — спросил Микешин еще и покосился на необычайный его вид.

— С делом, товарищ Микешин. Помощь от вас мне нужна. — Егерь выждал. — Я вам о себе уже докладывал, — сказал он минуту спустя, приступая к своей сложной повести, — откуда я и кто есть. И как я революцию прошел и что делал — обо всем этом тоже известно. А вот теперь пора себя мне решать, пришло время. У нас крестьянской правды в роду домогались... неправильно искали, через староверство искали правду. Я от этого ушел... к новому пришел, да не втесную. Одиночкой брожу. В стороне. В охотничьем деле это, может, и правильно... а по жизни выходит — неправильно.

— Ты это про что? Говори.

— Хочу проситься я в партию, товарищ Микешин, — сказал егерь не сразу.

Микешин плотно потер рябины своего лица.

— Так ведь что же... я тебя не первый год знаю. Ты ищешь... идешь по пути.

— А если бы я не искал, чего б мне проситься. Жизнь у меня вольная. Живу, брожу, ружьишкой балуюсь. Ничего. Со зверьем жить можно. Целую жизнь проживешь — не соскупишься. А мне охота с человеком пожить... втесную. Что бы я, к примеру, пошел, а мне сказали: не туда, Исай, пошел... сюда итти надо. Мы тебе сообщаем... всем классом говорим — сюда верней итти. И мне легче, и путь правильней, и для дела больше пользы выходит.

— Я ведь про твои геройства слышал, — сказал Микешин, и поползли, поползли знакомые морщинки у глаз. — Выбил все-таки птицу. — Он даже приглядываясь внимательней к сухой и необычайно подобранной теперь его фигуре. — Ну, и ладно, и что ж... и подавай. Многие помаленьку придут к нам так или иначе. Мы подможем, — подавай.

Глаза его опять улыбались. Старуха-хозяйственница жила вместе с ним. Он распорядился о чае, и они вышли послушать ловцов. Ловцы жгли костер в стороне от жилищ. Тенорок заносился по-



вучим своим одиноким полетом. Лица были освещены снизу пламенем—наполовину красные, словно воспаленные лица. Ловцы поглядели на подошедших, но продолжали петь. Вдруг кто-то сказал.

— И тебя потянуло, Ян?

Паукст взгляделся.

— Вот где ты пропадаешь, Алеша!

И он оперся сзади о его широкое плечо. Песня дотянулась до конца и потухла.

— Ну, чего же... еще что-нибудь,—сказал Микешин.—Сучанские все?

— Нет... из Ольги. Из Анучина есть. Из Тетюхэ.

Широкий фронт был стиснут в это костровое сборище. Надежные голоса продолжали боевые песни юности. Было поздно. Костер ленился и гаснул. Ловцы поднимались. Егерь разбросал последние головешки и потушил костер. Свяжинов тоже поднялся.

— Я рад, что я тебя встретил, Алеша...—Паукст взял его под руку. Они поотстали.—Я должен многое тебе рассказать. И мне нужно одно твое решение... потому что без твоего решения на этот счет не может быть моего решения.

И он рассказал ему все о своей последней встрече с Варей. Свяжинов выслушал его до конца.

— Ты хочешь знать, что я думаю?—спросил он, помолчав.—Я думаю, что это самое лучшее из всего, что я мог бы желать для вас обоих. Я вижу по-новому жизнь,—добавил он искренно.—И вижу, что для этой жизни нужна еще большая работа над собой. Не только в смысле внутренней своей переделки... но и в смысле и знаний, и опыта. Ты посмотри, даже простые ловцы, простые крестьяне, в сущности... и они уже работают по-новому. Ты должен мне верить: ни одного такого припрятанного чувства у меня не осталось. Оспаривать ревностью—недорого стоит... выше обывателя все-таки не поднимешься.

— Я тебе верю.

— И мне бы хотелось еще сказать о другом. Наша работа—на форпосте страны... в этом ты прав. На самом отдаленном и на самом боевом ее берегу.

Мы лежим здесь чудовищным береговым протяженьем—от границы Кореи за Полярный круг... Мы видим весь мир, но и мы видны миру. Ты погляди на карту. Мы сходимся конечными мысами, как клювами птицы... один только Берингов пролив отделяет мировую страну социализма от мировой страны капитализма. Жесткая реальная география. Для этой работы я хочу быть не в крайнем масштабе, а во всеоружии. Это не простой, не легкий противник. Для борьбы с ним нужно кое-что знать. Одного партизанского дыхания мало. Не то время. Нужна техника... надо в технику себя заковать. А то ведь и техникой мы плохо владеем, и даже языков не знаем... парнишка, Митька Бакшеев, мы с ним на сопки за орехами лазали... красный инженер, самоучитель из кармана торчит, английский язык изучает. Мотористы нужны. Моторный флот без мотористов непустишь. Из корейского колхоза ребята во втузы пошли. Это—наша подготовка! На каждую пушку культурной силой ответим. Посмотрим, на чьей стороне больше правды. Книгай разделили, роздали, как куски пирога... иностранные броненосцы стоят на рейдах. А живую силу сломали? Покорили Китай? Китай еще заговорит, погоди! Я вижу теперь, как нужно работать... из каждого дня, из земли, а не сразу с налета, с широкого плана, как думал я на Камчатке. Это не значит отказ от себя,—добавил он погоды,—я—живой человек и хочу жить. И от личной жизни не отказываюсь. Вероятно сложится когда-нибудь и личная жизнь. Но сейчас я нового дыхания хочу... и я уже дышу по-новому, Ян. Поэтому и говорить мне с тобой... даже на эту сложную тему... легко и просто. Вот это мне нужно было сказать. А теперь зайдем в дом... хороший мужик, настоящий мужик—Микешин.

Они пожали руки друг другу и зашли в дом.

## XXVI

Такой же дождь, как и в первый его, Свяжинова, приход в этот дом, хлестал по окнам губановского кабинета. Так же в скудном порядке стояли ве-

щи. Узкий деревянный диванчик; уральская чернильница из сероватого камня. Стулья с клеенчатыми скользкими спинками. Но вещи были уже не холодноваты, не чужды. Они принимали его в свой круг. И не холодноват и не чужд был внимательный, пыливый Губанов. Он слушал, и привычно делала заметки рука в деловом календарике. Какая-то вторая мысль набежала все время в легком пошевеливании морщинок между бровей. Коротко остриженную голову подпирала рука.

— У меня еще только два вопроса, — сказал Свяжинов. — Первый — это вопрос о Стадухине... так ли уж правильно с ним тогда обошлись? И ячейка, да и все мы персонально можем дать лучшие отзывы о его работе. Второй — по поводу двух наших бригад. Ребята заслужили вниманья. Хорошо бы, если бы их отметить при случае.

Губанов снова сделал отметку в своем календарике.

— Историю со Стадухиным проморгали конечно, — ответил он погody. — И несправедливо, и неправильно обошлись со стариком. Есть у нас такие леваки. Политики не понимают... людей не умеют использовать. Старую интеллигенцию готовы сбросить со счетов. Здесь мы уже кое-кого подтянули. Насчет бригад я отметил. А вот что, Свяжинов... ты не взял бы на себя одно поручение? Не переговорил бы ты со Стадухиным? У вас отношения налажены... скажи ему прямо, что на старое обижаться нечего. Ошибки у него были конечно, он сам их проверил на опыте... А мы ему доверяем... и полностью во всех его должностях восстанавливаем, пускай снова руководит учреждением. Ты как полагаешь — он согласится?

— Н-не знаю. Надо поговорить.

— Ты бы взялся?

— Что же, попробую. Он сейчас как-раз в городе.

— Вот и отлично. Ты и поговори с ним, и все объясни. Хорошо бы, если бы ты сегодня успел. А завтра бы мне рассказал. Скажи ему, что мы хороши товарищей в помощь дадим... создадим при учреждении общественность. Добьемся

увеличения средств. А если нужно... я готов — потолкуем сообща. Можно завтра же. — Он снова пригнулся к своему календарнику. — Завтра, в половине одиннадцатого. Есть?

— Хорошо.

— А теперь о тебе. Путина кончается. Придется переходить на что-нибудь другое. Ты думал об этом?

— Думал.

— И как? Ты чего бы хотел?

— Это вы уже сами решайте.

— Ну, все-таки?

— Я бы хотел подучиться, — сказал Свяжинов искренно. — У меня для многого нехватает знаний. А без знаний я только вполовину используюсь.

Губанов прищурился, словно полнее хотел собрать его облик.

— А мы тебя по разверстке пошлем... хочешь в Промакадемию? — сказал он вдруг и как-то мгновенно потеплел и, уже не скрывая этого тепла, улыбнулся. — В Промакадемию хочешь? Ты вот на меня в свою пору сердился... нехорошо, мол, не по-товарищески я тебя встретил. Неправда, Свяжинов! Я тебя именно по-товарищески встретил и по-товарищески рассудил, как тебе легче всего самому себя будет вернуть... очень ты на сторону подался. Мы не верхогляды, не думай. В хозяйстве партии мы — скопидомы... людьми не бросаемся. У нас каждый человек на учете. И задача партии — из каждого извлечь максимальную пользу для дела... и по способности оценить, разумеется. Я рад, — добавил он в какой-то пристальной сосредоточенности, — я рад, что ты вернулся, Свяжинов. Значит, правильно все-таки мы рассудили.

— Выходит, правильно. Мне этот опыт был нужен. Он меня к основному повернул... а так плавало все вразброд, на поверхности. Я большую переделку человека увидел... от простого ловца до Стадухина... и до корейцев в колхозе. Все это только начало конечно, но все-таки — сдвиг.

— Ну... до главного поворота еще много работы. Из путины еле-еле выбираемся... но люди уже повернулись, смотрят в нашу сторону, нашими мас-

штабами мерят. Сейчас большие усилия нужны, чтобы эти новые формы сделать обычными формами.—Он стал озабочен. Его деловой календарик сберегал тревожные и очередные записи дел.—Значит, исполнишь? Повидаешься и поговоришь? Я на твой такт надеюсь... и ты раз'ясни старику основное.

— Я постараюсь.

Губанов вдруг задержал его руку:

— Так значит, в Промакадемию? Пора скоро и в путь. Вернешься—простору тебе в десять раз больше будет. За любое дело берись. А дел здесь... кругом дела ждут.

И секретарша в вязаной кофточке была тоже не чуждой. Все это был один круг, включивший и его, Свяжинова, в свой сложный порядок.

Тайфун валился третий день. Улицы были в дожде и тумане. Навороченные груды камней, нанесенный песок. В бухте рушились волны. Он нахлобучил на уши кепку и решил итти теперь же к Стадухину. На мокром бульваре отчаянно качались деревья. Бывший памятник адмиралу Невельскому торчал обелиском с пятиконечной звездой, сменившей золотого орла. Не сразу добрался Свяжинов до крутой и забытой Пушкинской улицы. Сверху несся по ней поток. Провинциальные дома и заборишки были мокры. В темном парадном несло отхожим местом. Он пошарил по стене, нашел проволоку, и сейчас же закашлялся, как старая домашняя собачонка, звоночек. Нет, непримечательную уличку выбрал себе за тридцать лет своей жизни в этом городе Стадухин. Моложавая женщина открыла дверь.

— Вам Клавдия Петровича? Пройдите сюда.

В своем кабинетике сплетал какую-то хитрую сетку Стадухин.

— Простите... руки не подам. Все распустился. Как это вы меня разыскали?—Он держал концы бечевы, навёрнутые на какие-то коклюшки. И сам он был похож на старую вязальщицу со своим младенчески-стертым затылком, с золотистым клоком на лысинке.—Я ведь здесь случайно, на день... да вот задержала погода. Хочу одно приспособление

придумать к японскому неводу. Подержите-ка кончик.—Он сунул ему в руку коклюшку.—Вот так. Я буду плести, а вы не отпускайте.

— Я к вам с поручением, Клавдий Петрович. Это—серьезный разговор.

— А вы говорите. Я слушаю.

Он слушал и продолжал плести.

— Как бы вы отнеслись, Клавдий Петрович, если бы вас снова поставили во главе учреждения? А всю эту историю надо конечно забыть.

И он передал все, что поручил ему Губанов. Пальцы Стадухина машинально продолжали плести. Его глаза пучились.

— Разве это возможно... товарищ Свяжинов. Я занят практической работой, во-первых... у нас есть планы на будущий год. Мы расширяем опытную станцию. Трест идет нам навстречу.

— Опытная станция останется. Трест вам не нужен. Вы сможете расширять за счет учрежденческой сметы.

— В учреждение... назад?—пробормотал он наконец.—Да вы шутите! У меня с ним такое, знаете ли, связано...

— Но сейчас-то вы и сами ко многому относитесь критически... к некоторым прошлым своим установам.

— Да, разумеется, отношусь критически. А все-таки туда не вернусь.

— Почему?

— Не хочу.

— Почему не хотите? Ведь подбор сотрудников предоставляется вам... создадим товарищескую рабочую атмосферу. Меня просили передать, что в этом отношении партийные организации вам всецело помогут. Если вы не полагаетесь на меня, пойдите завтра к Губанову. Договоритесь с ним сами.

Пальцы все плели и плели.

— Вы разматываете, Клавдий Петрович.

— Да вы подержите, подержите коклюшки... и зачем это только понадобилось тревожить меня!—Он оставил наконец свои коклюшки и обиженно полез за платком.—Приехал я всего на два дня... живу на промысле, делаю свое дело.

— Так ведь я бы вас нашел и на промысле.

— Послушайте, товарищ Свяжинов... не трогайте вы меня, а? Ведь вот и все мои учебники из пособий изъяты.

— Кто это вам сказал?

— Ельчанинов.

— Хотите, я вам докажу, что в рыбтузе ваши учебники в числе основных пособий остались? Я захватил программу.—Он достал напечатанную на машинке программу.—Прощаюгодняя печатная программа устарела. Вот новая.—Волнуясь и пуча глаза, читал Стадухин программу.—Как видите, ни с одной стороны авторитет ваш не поколеблен. А ошибки... что ж, ошибки вы сами признали и сами исправили. Я думаю, что и в интересах науки, и в интересах общественных — вы должны согласиться...

— А как же Ельчанинов?—спросил Стадухин растерянно.

— Ельчанинов давно в Ленинграде. В сущности, все дело второй месяц без руководства...

— Позвольте... как же так—без руководства?—Стадухин вдруг взволновался.—Ведь экспедиции посланы... сейчас как-раз время отчетов.

— Вот видите, и экспедициям пора возвращаться... в самое время—за дело. А атмосферу вам создадим настоящую, рабочую, дружественную.

Вз'ерошенный и близорукий сидел Стадухин над своей растянутой сеткой. Отпущенные коклюшки болтались на веревочках.

— Лизавета Ивановна,—позвал он вдруг.—Что вы скажете? По-вашему, я могу согласиться? Войдите сюда.—Но никто не вошел. Его не слышали.—Имею я право, по-вашему, после всего, что случилось, вернуться назад?—сказал он еще отсутствующему собеседнику и внезапно кинулся, кинулся к своим коклюшкам.—Ну, куда же вы их упустили... все дело напутали... тут главное в этой ловушке!—Руки его бестолково хватили концы.—Вы извините уж... все-таки вы меня взволновали... знаете ли, делу я отдал тридцать пять лет. Приросло, ничего не поделаешь. Как же так сразу... я не могу.

Ему нужно было остыть, разо-

браться, дозваться наконец свою Лизавету Ивановну.

— Так вы подумайте, Клавдий Петрович. А завтра утром я за вами зайду. Пойдем вместе к Губанову.

И Свяжинов оставил его — насупленного и растерянного — за безнадежно запутанным его плетеньем. Не такой уже наглухо прикрытой заборами показалась эта крутая Пушкинская улица. И даже бухта, захлестанная и задымленная дождем, открылась в ненастном своем великолепии. Внизу чернейше наращивали дым трубы завода. Не навстиять ли в несвоевременности дождливо-го утра Митьку Бакшеева? Удастся ли еще перед отъездом и в хлопотах повидать этого веснушчатого спутника детства. И Свяжинов спустился вниз, к заводским воротам.

— К инженеру Бакшееву.

Ему выдали пропуск. Он прошел под аркой ворот. Длинные корпуса стояли налево, направо. На верфи судостроительного цеха готовенькие катера ждали моторов. Ему указали наконец на узкую дверь. Голова в серой кепке приподнялась над столом, и вдруг разодралось улыбочкой деловое и веснушчатое и все еще непохожее на деловое лицо Митьки Бакшеева.

— Вот ты когда заявился. А я тебя ждал, ждал и перестал надеяться.

— Я ведь все в раз'ездах... на промысле. — Он подсел к его столу. — А скоро и совсем из наших мест двигаюсь.

— Далеко ли?

— Да подучиться. В Промакадемию.

— Хорошее дело, — сказал Митька серьезно. — Ты только прихвати еще чего-нибудь... специальное прихвати. Тебя в Горный не тянет? Захватывай корабельно-строительный... в Хабаровске морскую верфь строить будут.

— Что ж... может быть. А сейчас был поблизости... зашел тебя повидать.

— Ну, мы с тобой еще свидимся.. разговору у нас хватает. Может, хочешь взглянуть, как работаем? Я покажу.

Он дал распоряженья помощнику и повел за собой.

— Ты автогенное дело знаешь? Про электросварку слышал? Большое буду-

щее, брат. Раньше в ручную клепали... в котел человека засадят, и бей, пока жив. В табели так глухарями и значились. И пока эти дырья насверлишь да пригонишь дыру к дыре... а теперь — всюду болт изгоняем. Болт — прошлое, а это — будущее, брат.

Он ввел его в электросварочный цех. Высоко на стапелях стояли корпуса судов. Повсюду в вышине, на лесах, возились и ползали люди со слепительными белыми и сиреневыми огнями горелок.

— Ты поднимись... погляди. Руками потрогай, — и Митька потащил его наверх по жидким доскам настилов. Смотря сквозь щиток, водил мастер огненным ревущим концом и намертво железным швом в один непроницаемый остов запаивал огонь корпуса, бреши пробойн и паровые котлы. Ревело, рвало и сыпало искры белое стремительное пламя. — Ты потрогай... потрогай! — кричал ему Митька. И он трогал швы, сменившие старую клепку. — Экономия, знаешь, какая? — кричал опять Митька. — Тридцать три процента... а то и все пятьдесят! Красота? Ты скажи — красота?

И Свяжинов кричал: — Красота!

Так проходили они по доскам настилов от одного сварщика к другому, от корпуса к корпусу. Он оглох и наполовину ослеп. А Митька все вел и вел. Наконец они стали спускаться.

— Ну, видел? Что скажешь?

— Это крепко? — усомнился он.

— В другом месте треснет, а по шву никогда. Не крепко, а намертво. Сейчас всю промышленность перегоняем на электросварку... новую технику двигаем, как ни говори. И ведь квалификация другая: электросварщик или глухарь... вся установка меняется. Техника!

Он хозяйственно шагал и шагал. Все было ему знакомо, все сам он прошел высшей школой жизни — от вученика до инженера на этом же заводе. И завод как часть его личной судьбы. Ревело, подвывало, рвалось это слепительное и звонкое детище. Так полным кругом провел он Свяжинова через весь цех. Они вернулись в его рабочую комнату. Чертежи, счетная линейка, трубки

свернутой кальки — все в деловом инженерском порядке на столе.

— Я бы тебе и еще показал... другие цеха. Завод наш конечно в подновленьи нуждается... и подновляемся понемногу, многое за эти годы улучшили. Вперед идет техника, надо нагонять. Но людьми не уступим... здесь у нас полная сила. И молодежь — отличная молодежь!

Он говорил о молодежи с высоты тридцати двух своих лет, и вправду были эти тридцать два года уже неким рубежом, переходом жизни для целого поколения. Начинался час перерыва.

— Ты обедать не хочешь? У меня есть талоны.

— Не могу... надо итти.

Митька деловито запрятал в стол чертежи, вымыл под рукомошкой руки и пошел проводить через двор.

— Ты в той же гостинице?

— Я еще на промысле, собственно. Но скоро переберусь вероятно.

— Я к тебе забегу.

И опять заулыбался знакомой улыбкой давней веснушчатой юности. Митька Бакшеев.

Дождь несся попрежнему над этим мокрым, занесенным песком и камнями проспектом. Свяжинов шел, равнодушно ступая в потоки. Непохож был этот день непогоды на первый день его возвращения сюда, когда в одиночестве и в раздражении шагал он по этой же улице. Люди шмыгали мимо него, хмурые и захлестанные дождем. Китайцы-рогульщики жались в под'ездах, и только мокрый кореец шагал посредине улицы и гонял своего длинноухого мула озлобленным окриком: «Тё-тё ù-ù!» Отсыревшим и равнодушным негостеприимством встретил номер гостиницы. Хлопала и дрожала под ветром неплотная рама окна. Лужа воды натекла на пол. Все еще в камчатской уплотненности были стиснуты вещи в чемоданах. Пахло сыростью, застоявшимся запахом необжитого случайного пристанища. Он выдвинул чемодан, вставил ключ, и чемодан тяжело развалился, переполненный вещами, бумагами, камчатскими и командорскими его записями и книгами. Он стал раскладывать на столе все эти клеенчатые тетради с его записями, старые дневники, выкладки и цифры

статистики. Пушное дело, рыба, лес, камандорские заповедники, нравы и характер алеутов, данные о вырождении, о фискальных обычаях прошлого, о царской политике... Выписки из книг и собранные новые сведения. Несколько песен, которые записал он из любопытства. Страшные цифры простоев судов. Докладная записка о срыве своевременного пуска консервного завода из-за недоставленного в срок оборудования. Плотная шероховатая бумага с водяным знаком «1838», найденная в камчатском архиве, и грубая полуберточная бумага с расплзшимися жирными строками... Он листал и пересчитывал. Первые годы с неутомимой жадностью побольше увидеть, побольше охватить... и страницы, сохранившие ежедневный счет времени перед его возвращением. Еще вчера все это жило живым продолжением его жизни. Сейчас это было отодвинуто в прошлое. Старые записки сохраняли его ошибки. Шестилетний круг вращался медленно. Его обогнал полный круг новой жизни. За три месяца проделал он для себя такой путь, что — сложенный в записки — потребовал бы тот больше страниц, чем шестилетняя сводка прошлого... Он шел теперь в том же ряду, в каком шли и Губанов, и Пельтцер, успевший стать специалистом по нефти, и Паукст, связавший с широкими перспективами планов свое островное оленье хозяйство, и веснушчатый Митька Бакшеев, ставший инженером и энтузиастом электросварки, и профессор Стадухин, сумевший заново перестроить свою шестидесятилетнюю жизнь, и Варя с ее прямоотой, и егерь Исай, пришедший к своей новой правде, и подсосновская молодая бригада...

Обращенный вновь к прошлому, сбереженному в его чемодане, он не хотел выходить. Жестяная баночка с сахаром, чай в бумажке, можно раздобыть кипятку и согреться по камчатскому обыкновению наедине с собой... Дождь все несло и несло. Рано стемнело. Электричество горело неполным накалом. Никто не пришел, и он никуда не вышел в этот вечер. Ветер ломился в окно. Трубочка стала дымок. Дымок выстраивал в постепенный порядок случайные записки жизни.

## XXVII

Колыбелью азиатских богатств лежало ненайденное Восточное море. Столетия стерегли его сон. Колумб искал пути в Индию, к азиатской заповедной жемчужине, которую ревниво оберегали на сухопутных путях магометанские завоеватели. Он шел к старой Азии и открыл Новый Свет. Великое Восточное море попрежнему осталось ненайденным. Попрежнему смуглые руки магометанских владык собирали плоды в рощах Индии. Попрежнему, тучнее от славы, глядела Испания на далекий Восток, который не был еще завоеван. На смену Колумбу шел Магеллан, чтобы исправить ошибку сородича. Его суда обогнули южную оконечность Америки и вошли в неизвестное море. Легкий пассат дул в эту осень, и оно простиралось — тишайшее, теплое море, в тропическом изобилии усыпанное цветущими архипелагами. Венеция и Генуя приходили в упадок. Старое Средиземное море было исхожено. Уцелевшие суда Магеллана открывали путь, снившийся в течение столетий, и следом двигались на великий дележ эскадры испанцев и португальцев. Тишайшее море становилось Тихим океаном. Португальцы захватывали Индо-Китай и Малакку, открывая железным ключом ворота в Китай и Японию. Они появлялись в тылу у магометанских ревнителей, и недоступные рощи Бенгалии покорно роняли плоды в торопливые руки новых завоевателей. Тропический архипелаг островов превращался в колонии. Восточное море баюкало историю колониальных надежд и предстоящих завоеваний. Испания разбухла от славы, и с севера, от берегов старой Англии, уже шли корабли оспаривать колониальный грабеж и порабощенье туземцев.

Отделенный тихоокеанским простором, лежал глухой берег Азии. Дремуче и тучно, еще не добравшаяся до новых морей, присматривалась к чужим завоеваниям Россия. Но уже первые землепроходцы шли таежными и речными путями Сибири к берегам океана, и на двух плоскодонных судах выплывал из Колымы в Восточное море русский мореплатель, якутский казак Семен Деж-

нев... К Тихому океану в поисках зело великого и заповедного острова Япана выходила петровская Русь. На шитиках, на кочах, на бусах, на байдарках, обшитых моржовыми шкурами, выплывали первые землепроходцы — казаки, промышленники и приказчики северорусских купцов. Далекие богатства притягивали соболями, бобрами, лисицами — мягкой рухлядью царской казны, и к азиатскому берегу, к Алеутской гряде с ее неисчислимым пушным изобилием своеобразно и жадно двигалась дремучая, кондовая, полуазиатская Русь. Казачьи атаманскими ватагами сваливалась она на туземцев, грабила, жгла и наладала ясак. Это был первый и грубо сколоченный плуг тихоокеанских завоеваний. Попутно на утлых судах землепроходцами были открыты Курильские острова и Камчатка. Ненайденной, нелюбимой и скрытной оставалось только заморское царство — Апония, Япон... Первобытные байдары и шитики сменились лодиями, бригантинами, ботами императорского российского флота. На смену первым казакам выходили промышленники, чтобы Русско-Американской компанией, торговыми деловыми эскадрами двинуться за заморской добычей. На Алеутских островах выбивалось племя бобров, соболей и лисец, оборачиваясь новыми миллионами промышленных хищничеств.

За Средиземным морем вослед начинала дряхлеть и истощаться Атлантика. Восемнадцатый век с его устаревшими картами отступал перед натиском новой истории. Девятнадцатый век двигался с точными картами, с промерами глубин и с выправленной береговой полосой тихоокеанских владений. От старых португальских и испанских владений осталась географическая слава прошлого. Архипелаги и островные империи оспаривались малыми войнами, продажами и сдачами в вековые концессии — со всем туземным, поработленным и вымирающим населением. С планомерной жестокостью оттесняли колонисты туземцев подальше от пастбищ и от плодородных земель, навстречу желтым лихорадкам, малярии и голоду. Колонии обогащали свои метрополии, и изобильно, по следам небывалого хищничества

Ост-Индской компании, владела Голландия всей Индонезией, почти целой морской империей. В своем разбеге переплетались мировые владычества: Франция владела Индо-Китаем, Англия — Сингапуром и Новой Зеландией, и на западе чудовищным своим протяжением — от Аляски и до Аргентины — простиралась Америка. За короткие десятилетия выросла, заковалась в промышленность, обогнала все страны эта стальная пятна вселенной. В обогащении невнимательно присматривалась она к движению новой истории, сыто отрывая от изобилия сырья и товаров. Казалось, неизбежно было это благополучное равновесие сил. Но сталь превращалась в машины, равнодушный к чужеземной истории рынок переполнялся товарами, их изобилие ломилось в границы, и вот в своем разбеге, как бы заторможенная на полном ходу, содрогнулась гигантская машина индустрии... Еще с глазами, застланными благополучием, оглядывала Америка туманную линию заморских границ. Европа не нуждалась в товарах. Она сама искала простора, и уже захвачена, разделена на влияния, расчерчена на клетки колоний французами и англичанами была первобытная и обнаженная Африка. Океания была мала и тесна. На Востоке своими необъятными рынками, заповедными садами Небесной империи, лежал старый Китай. Он мог стать великой питающей силой для отягощенной избытком товаров и золота метрополии Нового Света. На путях к Китаю простирался океан. Его тишайший мир был давно начелен и поделен. Давясь от изобилия сока, высасывала свой тропический ананас — Индонезию — равнодушная к мировым потрясениям Голландия. Япония двигалась на материк, захватив по дороге Корею и стерев столетия ее прошлой истории, как не бывшие. Новые силы приходили в движение. Америке нужен был выход к этому Тихому морю. Панамский канал, распоровший собой перешеек, сокращал на две трети для торговых кораблей и для военного флота морской путь из Америки. Средиземное море с Атлантикой отступали перед новым соперником. Далекая Япония выходила на мировые фор-

посты, вооруженная техникой и боевыми судами новейших конструкций. Старая Россия, стремившаяся к берегам океана, только одно десятилетие спустя вписала в послужной список имперской истории Порт-Артур и Цусиму. Гранитное основание самодержавия прошлося тихоокеанскою трещиной. Дороги в старый Китай перекрешивались. Тысячелетние двери были открыты, и в них ломилась волна влияния, опрысаясь и сталкивая друг друга и готовясь к новому поединку. Течения ускоряли свой ход, сплетаясь в гугую и неразрешимую розу течений.

Америка видела простертым перед нею Китай, и простертый Китай возникал в воспаленных виденьях Японии. За десятилетия океанской тишины Япония догоняла Европу. Она одевала свои грязущиеся острова в заводы, доки и фабрики, уставляя боевыми судами военные гавани. У нее были суда и заводы, и у нее не было железа и угля. Величайшие залежи руд и мировой антрацит держала поблизости другая рука. Китай владел железными рудами и железные руды были нужны островам, как основа питания. Все было неверно и ложно в шумах и тревожной политике мира, и только одно было достоверно: антрацит и железо, Шаньси и Даесс. Корея была завоевана. Оставалась Манчжурия. Горластый петух поднимал свою рыжую голову и пел опасные песни на юге Китая. Песни призывали к борьбе, и юг начинал рыжеть заревом. Острова нюхали материковый дымок, пахнувший широким пожарищем. Надо было спешить, пока еще не понял игры американский флот в Филиппинах...

Казалось, в скрещении всех своих встречных ветров и течений бился и шумел этот Тихий океан за окном. Его история развертывалась с сосредоточенной силой, как скрученная в десятилетиях пружина. Даже весело по временам становилось в этом сыром, гулком номере—так рвало и несло за окном. Не одни берега островов, превращенных в колонии, не одни островные империи омывает этот Тихий океан. Не одни военные флоты призваны решить его судьбы. Иной берег простерт перед ним тысяче-

мильным своим протяжением. Иная история вырывает страницы из старой книги порабощений и хищничеств... Внезапно со звоном и треском распахнуло балконную дверь. Дождь, ветер, свист мгновенно хлынули в брешь, закружили бумаги, подняли комнатный вихрь. Непогода раскрылась во всем своем ночном великолепии. Преодолевая напор, Свяжинов выбрался на узкий балкон, висевший, как капитанская вышка, над городом. Ночь неслась, исхлестанная дождем, а там, позади, шевелилась, редела и двигалась вся эта тихоокеанская армада. Тайфун гнал ее, и она лезла, напирала и рушилась. Необыкновенно дышалось, необыкновенно разят был мир. И в ветровой этот рев с какой-то мальчишеской удалью хотелось вдвинуть свой голос. Пригоднимсь над веком, смотри! Туманы не заслоняют горизонта. Зашивай электричеством незаметные швы, Митька Бакшеев! Наглухо, намертво, в единый корпус, в стальную громаду. На каждый снаряд ответим школой и техникой, на каждую пушку—промысловым моторным судном... Азия стоит на четырех мохнатых своих тигровых лапах. С ее косых глаз спадает вековая катаракта опия. Не Тихий, нет,—Великий океан. И двенадцать тысяч километров берегового протяжения—непокоренною силой, железным утюгом истории, чтобы разгладить вековые пути колониальных завоеваний и жадных надежд, стиснуть, покорить, задушить в ласковом объятии тысячелетний материк.

Он вернулся назад, в свой взерошенный номер. Все было сметено и разбросано, листки еще кружились, мокрые листки с его вчерашними записями. Он равнодушно подобрал их и втиснул назад, в чемодан. Прошлое было уложено. Берег двигался в будущее. Он снова стоял на этом берегу, снова вел его вместе с другими. Зашитая железными швами Митькой Бакшеевым, двигалась стальная громада. Ветер хлестал и хлестал в балконную дверь, и не хотелось ее закрывать. Слухом к ветру, лицом к непогоде, чтобы не пропустить ничего в дыхании принесшегося с океана тайфуна!

Июль, 1932. Горки.



# Ять

## ЛЕВ ДЛИГАЧ

1

Грело солнце, но земля была  
Тяжела, безмолвна и кругла.  
Вся планета — необъятный ком,  
Сгусток пустоты и темноты, —  
К горлу подступала...

Как знаком

Этот страшный приступ тошноты.  
Штиль земли. Безветрие планет.  
Паруса, в которых смысла нет.  
Звонкие виденье тишины.  
Всплеск воображаемой волны.  
Так порой встречала корабли  
Не земля, а только тень земли.

Все смешалось — небо и вода,  
Дальняя и ближняя звезда,  
Сумрак шахт и глубина высот,  
Пресный дождь и человечесий пот.  
Снег и соль, слепящая глаза,  
И звезды холодная слеза.  
Тень веков, глухих столетий мгла  
На моря безбрежные легла,  
И, как тощий остов корабля,  
Чуть покачивалась земля.

Мы взорвали глобус голубой.  
Мы вскружили землю под собой.  
Мы наглядно доказать смогли  
Жаркое вращение земли.

Налетает ветер иногда,  
Гулом наполняя города,  
И шумят над миром провода,  
И летят сквозные поезда.  
Налетает ветер, и тогда  
Даже время учащает бег.  
Над землей горит одна звезда,  
Над землей кружит московский снег.

Снег летит, холодный и косой.  
Он ложится ровной полосой.  
Вся земля в чертеж превращена.  
Почерком колес испещрена.  
Этот почерк только тот поймет,  
Кто грузил в тачанку пулемет,  
Кто кромсал зачитанный до дыр  
Лубочный, иконописный мир.

Снег летел, и стлался дым густой.  
Мчались кони по одной шестой. —  
Сквозь огонь, сквозь ветер и пургу  
Пронесли мы ненависть к врагу.  
Пусть за ним разрушены мосты —  
Он еще глядит из темноты,  
И до мозга пробирает злость  
Белую расшатанную кость.  
И виски еще глушит прибор  
Разведенной крови голубой.  
Стихли ветры, и лежат снега,  
Но в упор мы смотрим на врага.

Враг встречает серый свой рассвет  
Пачкой свежих утренних газет.  
План больших и маленьких столиц  
Смотрит с каждых четырех страниц.  
За кварталом вычерчен квартал, —  
Так их выпускающий верстал.

Как асфальтовая мостовая  
Расстилается передовая,  
Суетные строки нонпарели  
Весело кружатся на панели.  
Стариной читателя пленять,  
Подбоченившись, выходит ять.

2

Время грузное легло на плечи —  
Не поднять  
его  
и не понять.

Кажется, у них от русской речи  
 Сохранилась только буква ять.  
 Тесен мир, и не к чему стремиться  
 После стольких безнадежных лет.  
 Тесен мир. И пляшет по страницам  
 Тусклых вымыслов кордебалет.  
 Ложь с улыбкой, мертвой и жеманной,  
 Ходит по натянутой строке,  
 Все острее привкус иностранный  
 В зарубежном русском языке.  
 Враг ложился в снежные постели,  
 Путался, по станциям кружа,  
 Рельсы отступления блестели  
 Ослепительно, как взмах ножа.  
 Налетал упрямо и сурово  
 Жаркий ветер с примесью свинца.  
 Но стучали громкие сердца,  
 Пели пули и звенело слово.  
 Мы гурьбой сплоченной шли на смерть,  
 Нам ясна была боев основа,  
 Потому крепчал жестокий смерч  
 От свинца, уложенного в слово.  
 А враги знамена развернули,  
 Старым словом вооружены,  
 И оно, как сплющенная пуля,  
 Не годилось для такой войны.  
 Их трясли тяжелые составы,  
 Их мutilо от морской волны,  
 От чужого ветра их суставы  
 Крепкой судорогой сведены.  
 (Все заносит снегом седины.)  
 Многие слова они забыли,  
 Многих не сумели уберечь.

От чужой

сухой

дорожной пыли

Сохнет волос

и тускнеет речь.

Опьяненные густым туманом,  
 Терпким запахом чужой земли,  
 Из крошечной пасти чемодана  
 Скомканное слово извлекли.  
 Жажда прошлого неутолима,  
 Жизнь проходит смутно, как во сне.  
 Там лежит щепотка нафталина,  
 Здесь кружит

густой

московский

снег.

Надоело ожидать и верить,  
 Верить слепо,

верить

(через ять).

Ах, «умом России не понять»  
 И аршином куцым не измерить.  
 Только обезглавленный орел  
 Бьется в зарубежное окошко.  
 Остается мертвая зубрежка —  
 Гнезда,

седла,

цвел

и приобрел.

Вот и все. Возьмем четыре слова:

Гнезда...

Бунинская тишина.

Воздух, соловьиный и сосновый.

Окна в сад, за окнами — луна.

На пригорках избы (для пейзажа):

«Как блестит солома при луне».

Спали здесь, не раздеваясь даже,

Тяжело зорочаясь во сне.

Смятая солома не блестела,

И луна

здесь не была видна.

В избу на распластанное тело

Пал свет из барского окна.

Гнезда...

тишина, сосновый воздух,

Перегруженный кормами двор.

Громкий смех стоял в дворянских гнездах

И посуды звонкий разговор.

Кушанье горячее дымится,

Всех сортов распробована снедь —

Выгнутые, вогнутые лица

Отражала самоваров медь.

Дулись в карты, время коротая,

В полдень отправлялись на покой.

Темя скреб толстовский Каратаев.

И крестился медленной рукой.

Он крестился, а глаза смотрели

В пол из-под насупленных бровей,

Разводил затейливые трели

За окном тшедушный соловей.

И поэты завели обычай

Говорить о русском мужике

Не на барском

и не на мужичьем.

А на дробном

птичьем

языке.

3

Разве так и жили без тревоги,

Лес да поле с четырех сторон?

Нет. Случалось, на лесной дороге

Барина глушили топором.

С е д л а...

Плеть казацкая свистела.

«Стой, мужик. А где твоя жена?»

(На ее распластанное тело

Пал свет из барского окна.)

Хороша казацкая посадка,

Налетай, кавалерийский взвод!

«Хлеб да соль!» — «Не знаете по-  
рядка?!»

... Со-ло-вей-ды жалобно поет...

«Говори, какие были сходы?»

Всех по списку выводи сюда —

Внука, сына...»

Кони топчут всходы

.. Раз-и-два-и-горе не беда...

В гнездах люди корчились от страха,—

Разрастался гром в лесу. Но вот

Сброшена косматых туч папаха,

Дождь прошел, и отдыхает взвод.

Снова слышен щекот соловьиный,

Приутих густой мужицкий лес, —

Дугами изогнутые спины

Обнажились поперек небес.

А в усадьбе умиленный барин

Есаулу предлагает стул.

Отражаясь в желтом самоваре,

Дамам кланяется есаул.

Тишина. Помещицы угодья

Впитывают кровь и дождь, и пот.

«До свиданья, ваше благородье».

...Кана-ре-ю-жалобно поет.

Молния, как взмах казацкой плети,

Дождь прошел, и радуга видна.

Упиралась в горизонты эти

Всех цветов мужицкая спина.

#### 4

Ц в е л...

Как будто бы простое слово

Из того же перечня на ять.

П р и о б р е л...

воспоминанья снова,

Как прибой, и трудно их унять.

Волочил мужик соху кривую,

Клял судьбу и ел в неделю раз,

А его, как лошадь ломовую,

Кнутовищем били между глаз.

Он сиел в отрепьях на морозе,

Спал, не отрываясь от земли,

Чтоб они на золотом навозе

Скупо размножились и цвели.

П р и о б р е л...

Но разорались в прах

Годом раньше или годом позже.

Был широк

прославленный размах

Золотой дворянской молодежи.

(Помнишь, перекошенные рожи

Корчились в разбитых зеркалах.)

Миновало время их расцвета.

Ц в е л и п р и о б р е л...

Но до сих пор

Им еще звучит зубрежка эта,

Как червонцев звонкий разговор.

Я т ь...

Последнее воспоминанье,

То, чего уже нельзя отнять.

Крепнет шторм. Напрасно ожиданье —

Бешеного ветра не унять.

Свастики фашистской очертанье —

Только тень последней буквы ять.

Ветром взнузданный и штормом смятый.

Враг штыка не выпустил из рук,

У него на знамени — хвостатый,

Судорогой схваченный паук.

Я т ь!..

Оно, как звук, лишенный смысла

Как патологический орел.

Титулы, парады, годы, числа,

Гнезда, седла, цвел и приобрел...

Надо все пересмотреть сначала

По слогам, по буквам, не спеша,

Чтобы песня, как прибой, крепчала.

Парусники прошлого круша.

Свист и темь свинцовый непогоды.

Глушь веков мы напролом прошли

И усваивали в эти годы

Азбучные истины земли.

А враги из всех трущоб и трюмов,

Из глуши, из темных вод и бухт,

Ничего не спев и не придумав,

Тащат скарб забытых слов и букв.

Жалкий груз враги кладут на плечи.

Бьет их ветер и прибой глушит,—

Мало гласных в зарубежной речи,

И она шипящими кишит.

Над врагом, как над глухим болотом.

Влажные клубятся облака.

Но, простреленная пулеметом,

Изворачивается строка.

Годы душат их и песня давит,

Время их шельмует жестоко.

Но торчит расшатанный алфавит,

Как зубов прогнивший частокол.

Неживой для сердца и для слуха.

Нафталином их словарь пропах.  
 Но шуршит назойливо и сухо  
 Мертвых букв окостеневший прах.  
 Есть забытые слова и даты,  
 Память крепко их взяла в тиски:  
 Мужики, урядники, солдаты,  
 Кандалы, погоны, денщики.  
 Но для этой речи не годится  
 Даже дробь газетная—петит,—  
 Слово, как подстреленная птица,  
 Камнем падает, а не летит.

## 5

Ять...

В потемках шелестит страница.  
 Ломит спину. Буки, веди, аз...  
 Помнишь перекошенные лица?  
 Помнишь, кнутовищем между глаз?  
 Нас безрадостно земля встречала, —  
 Крепкие держали якоря.  
 Все спешишь пересмотреть сначала  
 От евангеля до букваря.  
 И тогда, как на большом пожаре,  
 Вещи вырываются из тьмы.  
 По складам читаешь:  
 «Бы-ли ба-ре.  
 Мы — не ба-ре, и ра-бы — не мы».  
 Мужики идут в кружки ликбеза,  
 Каратаев покидает печь.  
 Слышишь песни стали и железа?  
 Слышишь человеческую речь?  
 На колени положив тетрадку,  
 Каратаев, смуглый и седой,  
 Цифры размечает по порядку  
 И выводит суточный удой.  
 А когда, от всех снегов оттаяв,  
 Разворачивается земля,

К трактору подходит Каратаев  
 И садится твердо у руля.  
 Рвутся строки из тетради в клетку,  
 Вспоминая буки, веди, аз,  
 Пишет он газетную заметку,  
 До рассвета не смыкая глаз.  
 Как он борется с мудреным словом  
 По слогам,  
 по буквам,  
 не спеша.

Даже небо кажется лиловым  
 От чернильного карандаша.  
 Враг прицеливался из обреза,  
 Но не мог загнать его на печь.  
 Здравствуй, племя стали и железа!  
 Здравствуй, человеческая речь!  
 Речь подпасков, кузнецов, доярков —  
 Это речь, дремавшая вска.  
 Но среди бесчисленных помарок  
 Созревает нужная строка.  
 (И поэтому она крепка.)  
 Груз веков, глухую тьму столетий  
 С плеч мы сбросили едва-едва,  
 И теперь из диких междометий  
 Возникают новые слова.  
 Пусть нескладны рукописи эти,  
 В них зато бушует между строк  
 Не толстовский  
 влажный ветерок,  
 А московский  
 кругосветный ветер.  
 Наше слово крепнет год от года,  
 Тьму веков мы напролом прошли,  
 Пишем биографию заводов,  
 Пишем биографию земли.  
 Здравствуй, побежденная природа.—  
 Море, движущее корабли!

Зеленый город. Правда.

1932.

# Архангельск

ИВАН ЕВДОКИМОВ

(Окончание <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

**М**ороз и снег. Джемми Сноуден не думал о Виктории. Знобящий холод с ветром и бурей не позволял отвлекаться часовому. Немногие часы дня, когда брезжил слабый свет, точно тусклый зрачок старика, достались другому. Джемми сменил товарища в крошечные минуты наступившей ночи.

Отряд шотландских стрелков с разводящим долго и упорно пробивался в свежих сугробах, куда начал расставлять посты. Джемми шел в голове усталых и отстающих шотландцев, подбираемых разводящим, чтобы занять место крайнего караула.

Джемми на ходу и в борьбе с глубокими снежными ямами даже накопил излишнее тепло. Но его достало на очень небольшое время. Свист бури в проводочных заграждениях, о которые словно бы укалывался ветер, а потому озлоблялся от боли, не сулил тепла. Один-другой рывок пронизывающего ветра, — и Джемми крепче кутал горло, боясь оставить холодящий лаз под шарфом.

В сотне шагов другие шотландцы делали то же. И все вместе они с завистью смотрели на уходившую смену. А та, изящная, согнутая в станах, почти горбатая, затаенно представляла себе паля-

щие топки печек, где трещат раскаленные решета углей и ослепительно дышат зноем от березовой смолы. Потом завидовать будут Джемми, если не одолеет и не повалит его рывун-ветер и ледяной костоправ-мороз.

А чтобы выстоять против них, Джемми имеет узенькую, в человеческий шаг, тропу, по которой ходят взад и вперед караульные. Она тянется где-то во мгле почти на две мили. Но Джемми знает только свой участок до встречи с соседом.

Они идут друг за другом. И так в далеком поле в полярную метельную ночь шотландские стрелки вытянулись гуськом, как вежи, между двумя непримиримыми баррикадами. Часовые редко сойдутся лоб в лоб, на короткие мгновения, когда станет неволю поодиночке слушать ветер и шипучую пену метели.

Джемми Сноуден не выносил этой позиции и был всегда доволен при назначении по ту сторону села Семиградского. Там даже холоднее, но там открытое и ясное единоборство. Там взбаламученное снежное поле наступает на часового, и он видит врага. Там — один-на-один.

Здесь близок лес, и деревья непременно почему-то оживают ночью. Они подозрительно размахивают руками, как пьяные или рассерженные люди. Странно, но непоседливая роща, весь ее трепет, все ее шатание видны и сквозь ночь, и сквозь метель. Как будто бы роща кидает беспокойную и огромную тень на всю округу.

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 7—11 с. г

Немного поодаль от Семиградского, почти рядом с лесом,—пятьдесят дворов деревни Ползухина. Избы поставлены на земле беспорядочно, точно каждый домохозяин враждовал с соседом и хотел жить от него подальше. Ползухинская поляна редка, как лес, назначенный на сруб. Из него уже вывезли высокие мачты и оставили бросовую и кривую редь. Проволочные заграждения, словно остатки прежних зарослей, опутали деревеньку.

Шотландские стрелки ходили от Семиградского до Ползухина Свободно и легко в открытых пространствах! Но вяжет шаги стѣгах у деревни, где близок лес, где шатаются одноногие деревья, точно собираясь сняться с места и пойти вперед напролом.

Джемми Сноуден только сегодня еще раз слышал в избе-казарме, что зимняя обстановка неблагоприятна для наступления с обеих сторон. Один шотландец стоймя приложил ладонку на грудь и выразительно переступил ногами. Это должно было обозначать непролазный снег. Жесты казались убедительными. И ненадолго. Смуцало другое.

Дней пять назад захватили в плен двух красноармейцев. Джемми Сноуден и американец были на карауле у дверей штабной комнаты в доме священника и слушали допрос. Американец до нынешнего похода жила в Архангельске и разбирался в русской речи. Он шепнул Джемми, стоявшему ближе к дверной ручке:

— Сделай осторожно маленькую щель: мы будем знать всё!

Джемми бережно приоткрыл дверь.

Русский и английский офицеры сидели за столом. Красноармейцы мешковато, в лаптях с онучами, стояли напротив. Русский офицер вел допрос и тут же переводил англичанину вопросы и ответы.

— Когда решено сделать наступление?—спросил резко он у маленького красноармейца, который держался подчеркнуто развязно и, видимо, не испытывал никакого неудобства от своего плена.

— Откудова я знаю! — недовольно буркнул красноармеец.—Когда прика-

жут, тоды и будем наступать. Нас не спрашивают. Видно, время такое настает, ну, Красная армия и пододвигается вперед!

— Обормот! Ты у меня не увиливай! И... без озорства! А то попробуешь такой бани, в какой тебе не приходилось париваться!

Красноармеец по всей вероятности переживал полное отчаяние от неудачной своей судьбы, не чаял вырваться от интервентов и белогвардейцев, был отчаян, смел и горяч по натуре, а главное крайне враждебен к господам, кричавшим на него. Маленькие с рыжим острым оттенком глазки красноармейца явно издавались над офицерами.

— Это вы горазды!—дерзко воскликнул он.— Обучились еще на царской службе! Там выучка была, к чему другому никуда, а к этому мастерству по первой руке!

Офицер задохнулся от злобного нетерпения. Лицо его побагровело пятнами, как после оспы.

— Б-большевик, негодяй? Замолчи!

И он бешено ударил по столу, напугав вздрогнувшего англичанина, просившего однако немедленного перевода.

Американец прошептал Джемми, пучившему глаза от любопытства:

— Этот глупец сам на себя одевает саван!

Красноармеец неукротимо рассвирепел и не хотел сдерживать гнева. Красноармеец вел себя так, точно он допрашивал белогвардейцев, а не наоборот.

— Я тебе всё обскажу по порядку и с толком. Подготовка у нас идет. Ленин страсть нагнал народу. Приказал в самые лютые морозы хватить вас по головам! Англичан приказал миловать, да не всех: солдат забирать, а начальников в одну грудку сгонять табуном! Офицеров же из белой гвардии беспренно рассекать надвое, а то прямо за машину и кровь сосать! Потому заслужили!

— Увести! — гаркнул офицер.

Тут неожиданно для всех коренастый и рослый красноармеец, сначала неудачно перебивавший кипятившегося товарища, ударил его изо всей силы ладонью по щеке и уронил на пол.

— У, гад!—взревел он и пнул ногой крикуна.—Язык шершавый! Молчать, бешеная собака!

Всё это произошло с такой быстротой, что офицеры растерялись, и только вскочили на ноги, берясь за револьверы.

Джемми и американец взволнованно стали у дверей и ожидали приказаний.

— Ваше благородие!—почтительно и тревожно сказал драчун.—Дозвольте... Он у нас,—и красноармеец пренебрежительно махнул рукой на лежавшего и плакавшего товарища,—завсегда ходит в дураках! Я его не обеляю, а говорю истинную правду. Коли следует ему карачуна за глупый лай, так ему и надобно! Не жаль прохвоста! Уж я-то его побрякушку зна-а-ю! В одной деревне росли. Каки мы большевики! Дура-голова наплел на себя из одного бахвальства! В Красну армию из-за голодовки попали. Весь народ за фронтом ходит, животы подобравши. Безвыходно кушать хочет брюхо! И... связались с большевиками! А... на кой они нам чорт пришлись! Сам же, дьявол, ономеднись говорил: у англичан довольствие белое, а у нас — лебеда да кора. Белой бы, сказывает, булочки отведать! Не перейти, слышь, нам на архангельскую сторону, как третий нумерной вологодский полк под Обозерской! То-то изведем житьишка! Я еще с сумлением ему ответил: так-таки нас и примут, когда мы запачканные! Отопрись, болтушка! Скажи, соврал?

Красноармеец воинственно шагнул к товарищу.

— Не срамись!—с пренебрежением плюнул он.—То так наорал охальства с три короба, то так захныкал. А еще мужик! Ваше благородие, спросите меня. Я все знаю. Этот дурандас, хотя и в глупой горячке, а выложил вам верно. Красные ждут метелек и ветров. Будет непроходимая. Снег деревни завалит. Тут красным и благодать. Мы-де привычны. Нам мороз и снег нипочем, а заграничные солдатики на холода слабоваты. Самое время вдарить, чтобы искры посыпались!

Выступление сговорчивого красноармейца, робко тянувшего руки к офице-

рам, казалось таким искренним и непосредственным, что русский офицер по-английски сказал своему соседу:

— Не думаю, чтобы это чучело умело так безукоризненно играть! Всего вероятнее темный ум его был временно сбит с толку.

— А рыженький? — заинтересовался англичанин.

— Тот... типичный русский истерик! В роде падучей у него! Мы его выпорем до костей. Пули он не стоит. Безопасный болван! Впрочем, если вы находите нужным для поддержания дисциплины и устрашения других, можно будет поступить и... совсем по-военному. Приказать?

— Нет,—поморщился англичанин, — достаточно малой экзекуции.

— Взять под стражу!—скомандовал офицер.

Американец перевел Джемми разговор начальства и лукаво добавил:

— Может быть, большевики дальневиднее наших командиров, пленным ничего не оставалось делать, как одному нагубить, а другому догадаться исправить ошибку!

Когда красноармейцев вывели на улицу,—и они внешне держались отчужденно, — рыженький теплым шопотом сказал другому:

— Васька, спасибо тебе! Кажись, не пристрелят?

— А надо бы!—усмехаясь, прошептал Васька,—конешно тебя одного! Ты благодари, а и не сердись! Будем на свободе, тоды дай мне одного раза на отдачу! За мной!

Американец не мог перевести Джемми шопота, потому что не расслышал его.

Васька и его товарищ даже отшатнулись друг от друга, когда конвоир все же сурово приказал:

— Не разговаривайт!

Джемми ходил настойчиво по своей дорожке, словно ему дали протоптать ее на урок. Он скорее ощупывал ногами, чем видел свой короткий путь. Джемми не позволял накапливаться лишним хлопьям метели и разминал их.

Вскоре шотландец начал зябнуть. Все сильнее и ощутимее. Вместе с холодом он

уныло задумался тысячный раз о неясности того, что он делал. Почему нужно ему не спать в эту бурную и снежную ночь, мерзнуть, протаптывать дорожку в неведомой стране, охранять проволочные заграждения, напрягать слезливое от ветра зрение, чтобы так называемые большевики, которых он никогда не знал и которые ему ничем не повредили, не подкрались к спящему лагерю? Если же большевики были опасны и угрожали его жизни, а он свою жизнь хотел защищать, то ведь это же происходило потому, что Джемми привезли в чужую страну, в страну большевиков, те не желали никому отдавать ее и старались выгнать завоевателей. В Шотландии происходило бы то же, приди туда большевики, как пришли сюда англичане-завоеватели, и тронь Джемми.

Зачем же он и все шотландские стрелки здесь? Давно кончилась война во Франции. Сначала Джемми уверяли, что боши угрожают России на Мурмане и в Архангельске, и он должен не позволить бошам добить союзную Россию. Джемми ехал на корабле в Архангельск, опасался подводных немецких лодок и ни одной не встретил ни в океане, ни в Белом море, ни на Двине.

Почему вместо выдуманных немцев, которые были побеждены на исходе того лета и теперь не могли угрожать, оказались против большевики? Кто же подменил бошей большевиками? Почему нужно Джемми дрожать в суровую и тягосную полярную ночь, кашлять, хулить, шататься от усталости, беспокоиться за целостность своей жизни?

Джемми насторожился. Он во что бы то ни стало должен сохранить ее! Приехать сюда за тысячи миль и упасть в непроглядном мраке на мертвый снег, быть засыпанным немногими взмахами метели, — это никак не укладывалось в сознании часового, потрясало его и заставляло по-звериному чутко и зорко скользить глазами в ночи. Большевики, казалось, подкрадывались... И пора.

Вторую неделю бушевали метели. Земля опухала на глазах. Глубокий непроходимый снег как-раз способствовал большевикам. Снег промораживали лютые морозы. Пленные назначали сроки

для наступления именно в эту благоприятную пору.

Джемми вздрогнул. Порывом ветра как будто подняло на высоту гигантское снежное одеяло и набросило ему на голову. Он долго переживал, пока оно пронесется дальше, задышался, придерживал руками взмахнутые полы. Застиганное лицо горело. Буря передохнула, передохнул и он.

Тут Джемми низко наклонился и стал смотреть вверх проволочных заграждений. Странно и непонятно неистовствовал трясун-лес. Воображение стрелка обострилось. Лес подозрительно раскачивался и точно бы приближался к позициям.

Страх подсказывал Джемми невыносимые явления. Большевики умели передвигать лес. Под каждой кровлей елки и сосны, обхватив ствол, они неуязвимо укрывались. Пройдет какое-то время, и большевистский лес подойдет вплотную к заградительной проволоке, оборвет и растопчет ее деревянными ногами, задавит пространство до лагеря и вступит в Семиградское...

Джемми вынес еще один буйный и страшный налет метели. Она дико зашипела вокруг, точно должна была сейчас затопить его, как водопад из прорванной плотины. Стрелок явственно различил на высоте нескольких саженей над головой лапы ветвей. Лес тянулся к нему с руками... В Ползухине была уже засада большевиков... Углы домов обрастали колючими изгородями штыков...

Джемми окликнул соседа-часового. Они вместе заметили невдалеке от проволочек, впереди, маленькие темные пятна. Пятна осторожно катились по снегу. Метель закрывала их. Но они показывались снова — слева, справа, в середине...

Джемми сорвал с плеча винтовку и выстрелил. Тревога, как бежит огонь по подожженной нитке, облетела цепь часовых. Семиградский лагерь проснулся. Он подготовился к встрече с врагом.

Метель теперь студила и засыпала тысячу людей по ту и по другую сторону селенья. Сонная тысяча простояла в боевой готовности до первых проблесков рассвета.



Лес неколебимо темнел на месте. Ползухино за ночь как будто бы ушло в землю до крыш. Проволочные ограждения рассекали колючками сугробы. Вон там, сбску, ветер повредил ряд: как нагая ветка крыжовника с иглами, проволока билась о деревянную подпорку. И всё.

Но Джемми и его товарищи по караулу не верили. Они настояли на осмотре всех окрестностей.

Тогда над ночными часовыми невесело засмеялись. Сугробы у Ползухина, незанесенные мыски у проволочных ограждений были в волчьих следах.

Семиградский штаб не смеялся. Шотландские стрелки должны были спокойно и бесхитростно стоять на караулах! Они уже не впервой подымали лагерь на ноги. Потеря солдатами хладнокровия не сулила ничего путного. Мешало Ползухино. Оно закрывало снежную и открытую даль. Оно запирало верный огонь по видимой и незащищенной цели.

Метель улеглась. Безветрие в тот день погубило Ползухино. Штаб торопился, чтобы не сжечь свои семиградские квартиры.

К полдню в Ползухине взвыли. Мужики и бабы с криком охватили шотландских стрелков и белогвардейцев, которые явились с бидонами керосина и начали подготовку.

— Кров наш почто же палить?

— Сто лет на кочерыжках стоим!

— Бездомными делаете! Это как же так можно зорить?

— Солдаты ваши страха набрались, а нас наказываете!

— Волкóв с большевиками попутали, а Ползухино — насмарку!

— Без'языкие черти, нанесло вас на нашу голову!

— Скорей бы вам переломили большевики хребет.

— Вы-то ведь, сытые рожи,—русские! Вы-то почто с ними?

— И не стыдно вам: чужакам продались:

— Не дадим!

— Наваливайся, ребята! Нам без нашего добра и жизни нет!

— Пушай всех перебьют. Сгнем заодно с избами!

Белогвардейские солдаты Третьего стрелкового полка отворачивались от ползухинских мужиков и лениво делали свое дело.

— Выбирайтесь живо!—командовали штабные белогвардейцы,—какие там разговоры! Слезы. Торопись! Выгоняй скот! Выноси имущество. Квартиры вам отведены в Семиградском. Страна у вас лесная: новые избы постройте после войны! Н-не рассуждать! Кто препятствует военным распоряжениям, с теми поступают, как полагается! Слышали?

Солдатам был дан приказ выгонять скот. Коровы и овцы упирались и не шли на мороз. По дворам начался отчаянный рев скотины. Он заразил лошадей. Те тревожно и призывно ржали.

В общей сумятице человеческих голосов, крика, шума, беготни, рёва животных, хлопанья ворот и калиток, звона неосторожно выткнутых стекол в рамах, жестяного треска ведер, как плеть, свистнувшая на всю деревню, раздался крик штабных:

— Выходи в поле! Сейчас зажигаем!

Тогда неожиданно и ошеломительно для самоуверенного начальства резко и грубо зашумели белогвардейские стрелки.

— Ползухино не мешает!

— Пятьдесят дворов — пóмиру! На улицу! Кому пришла блажь?

— Своих губим!

— Большевики, небось, не жгут деревень зря!

— Обсудить следует! Подождать!

— За деревню окопы вынести! Англичанам холодно на ветру: мы будем стоять, где хошь!

Солдатская поддержка решала. Мужики и бабы осмелели и подняли такое столпотворение, какого от них англичане не ожидали. Смущение изобразилось на строгих и холодных лицах английских офицеров. Они сбились в кучку и держались порознь от офицеров-белогвардейцев.

Мужицкий гнев был несломим. Он, как густой пепел, загрязнил и засыпал белогвардейское начальство.

— Ага! Пожалел свой брат!—прокагилось из конца в конец.—Не сдавай! Напирай! Раз почали солдаты приставать, не посмеют надругаться!

— Эти офицеришки — наемные шкуры — готовы всю Россию выжечь!

— Им бы только командовать над дураком-мужиком!

— Сами не управились, так англичанку позвали!

— Большевики не любы, мужики не любы, власть им над народом любя!

— Убирайтесь от нас вон в поле! Там и деритесь, с кем хотите! А наше имущество не трожь! Не наживали вы его, подлые разорители.

— Сми-и-рно-о!—гаркнул раз'яренный белогвардейский полковник на шумевших в подмогу мужикам солдат.

— Рады стараться!—ответил из одной кучки стрелков задирчивый и насмешливый голос.—А только не посмиреем!

— Что-о? Кто-о сказал?

Полковник бешено ворвался в толпу, отыскивая смельчака.

Солдаты вдруг стеснились, сдвинули непролазно плечо к плечу и приметно затрудняли полковника. Он, не сдаваясь, старался достать из кобуры револьвер.

— Где зачинщик? Кто-о зачинщик?—гремел он еще с полной властью.—Выдать! Немедленно!

В ту роковую заминку, когда английское командование под шумок стянуло к себе шотландцев, за кучкой белогвардейских солдат на невысокой поленнице дров стремительно выпрямился во весь рост зачинщик!

— Товарищи!—стиснув зубы, махая винтовкой, крикнул он.—Мы — бывшие красноармейцы или нет? Не будет ли нам находиться в плену? Побыли здесь! Оперились! Вали эту белогвардейскую шушеру! За рабочих, за мужиков! Не зря сговаривались! Пора!..

Полковник одну за другой выпустил в оратора несколько пуль. Но зачинщик быстро спрыгнул с поленницы.

— Пора! — вырвался радостный и грозный рев двух батальонов Третьего стрелкового полка.—Рассыпайся! В цепь!

Полковника сшибли с ног. Один солдат на бегу вонзил ему в спину штык,

вырвал красный конец и кинулся дальше.

Деревня в ужасе заметалась. Мужики и бабы били стекла в избах. Лезли в узкие рамы, прятались за поленницы, ползли возле стен на дворы, подлезали в подворотни. Между белогвардейцами и шотландскими стрелками ревели и беспмятно бродило стадо коров и овец. Лошади носились по Ползухину, выбегали в поле и мчались обратно, перескакивая через лежащих на снегу солдат. Животные мешали...

Восставшие скоро прекратили огонь и начали отходить к лесу. Было ясно, что они берегли патроны, запасов которых у них не могло быть.

Ползухинские мужики с тревогой следили из каждой щели за отступавшими защитниками.

Вот уже шотландские стрелки выгнали их за деревню. Из Семиградского прискакал на санях с несколькими пулеметами французский отряд.

Беглецы, теряя людей по всему полю, наконец скрылись на опушке. Англичане и французы продолжали преследование. Они также нырнули в лес. Где-то глубоко вдали раздавалась редкая, но настойчивая стрельба.

Над Ползухиным нависла одинокая и безнадежная тень. Мужики не стали дожидаться возвращения победителей. Теперь они сами снимались с места. В Семиградское погнали скот, повезли сундуки, пестери, сено... Ползухино убежало от расправы...

И она свалилась на тех, кто добровольно не успел убраться. Деревню запалили через два часа, когда шотландцы вернулись.

На другой день в Семиградском собрали всех ползухинских мужиков и баб с детьми, отделили на выбор с десятком и тут же на улице выпороли.

Красноармеец Васька с товарищем ответили за неудачный пожар. Джемми Сноуден стоял первым в карательном взводе, который расстреливал их.

— Эх!—крикнул Васька,—жалко помирать раньше времени! А попомните, слепые товарищи, придется вам убираться от нас с носом! Выгоним все равно!

Вали сразу без промаха! На то и стрелками зовётеся.

Американец перевел Джемми эти последние слова Васьки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Да здравствует национальное ополчение Северной области!

— Сокрушим тиранию большевиков!

— Восстановим мощь и государственное единство России!

Плакаты архангельского правительства разноцветно и аляповато заклеили город. Плакатов было больше, чем двинского леса в весенний сплав. Плакаты кричали на все голоса, подобно океанским и речным сиренам пароходов. Плакаты мелькали в глазах Ирины Евгеньевны, точно острая рябь воды в ветреную погоду.

В тот день, когда появился первый плакат, женщина враждебно остановилась около него. Враг вооружался и готовился! Ирина Евгеньевна с невольной жадностью прислушалась к голосам любопытных, которые толклись на всех улицах.

Женщина не разочаровалась. Двойное лицо архангелогородов как будто было непроницаемо. Люди читали, проходили, равнодушно оглядывались... Большинство безмолвствовало.

Но еще не успела подсохнуть бумага на клейстере, как кое-где озорные и буйные ребятишки, а за ними и резко раздраженные руки взрослых загнули уши плакатам и надорвали и полоснули, как ленту через плечо, послушную рвань.

Ирина Евгеньевна незаметно встала сзади одной кучки, по виду портовых рабочих. Не в пример другим люди были веселы и дерзко словоохотливы.

— Ка-а-к загнули!—воскликнул один.

— Теперь большевиков кончат наверняка!—подхватило несколько человек.

— Так им и следует!—притворно забавлялся маленький егозливый старик.— Гляди, какую тревогу нагнали на Архангельск! Подымай на ноги всех домовладельцев! Где б им за домами своими глядеть да ворота чинить, да крыши перекрывать, а тут накося—пожалуйте в

охрану! И... на защиту... богатой... родины! Хе-хе!

— Идем дальше, ребята, это не назовут! — выкрикнул голосистый рабочий. — Это купцов, чиновников, прокуроров! Это через домовые комитеты набирают верных своих солдатиков!

— Хороший хозяин своей цепной собаки не слушается! — пустил на ход старик-егозун.

Рабочие недружелюбно оглядели Ирину Евгеньевну, не оценили ее радостной усмешки, истолковали ее по-своему и не приязненно пошли прочь.

— Вон... домашняя хозяйка не согласна! — сказал молодой паренек. — Смеется над нашей темнотой!

Рабочие уходили, пересмеиваясь. Ирина Евгеньевна тогда по-новому и поняла врага. Бесчисленные плакаты кричали о тревоге в его стане. А это ли не приближалось освобождение! Теперь Ирина Евгеньевна следила за обилием плакатов с явным злорадством. Пусть пусть они не перестают залеплять заборы!

Бодрое и обнадеженное состояние Ирины Евгеньевны укрепилось бы еще сильнее, проникни она за неделю до расклейки плакатов в помещение британской главной квартиры. Там за темными опущенными шторами, в тесном дружелюбии сошлись английский генерал Айронсайд, американский полковник Стюарт, штабные офицеры — сербы, итальянцы, французы — и в полном составе временное правительство Северной области.

Секретарь архангельского правительства, он же министр внутренних дел почт и телеграфов Павел Юльевич Зубов, мяконецкий, молчаливый человек с испуганным от рождения лицом, с пуговичными глазками, бестолково и забывчиво рылся в своем обемистом портфеле. Он невпопад доставал одну и ту же бумагу и никак не мог разыскать нужную.

Недавний вологодский ораторский лев, член учредительного собрания от Вологодской губернии, правый эсер Сергей Маслов иронически следил за неуверенными движениями правительственного секретаря. Военный министр — Сер-

гей Маслов — не допускал нечеткости и запутанности в военной работе по воссозданию России! Этот вечный мямля Зубов, который всю жизнь состоял в чьих-либо товарищах и заместителях по службе и никогда не исполнял самостоятельно дела, конфузил и срамил перед иностранным генералитетом. И кто этого тихоню выдвинул на должность секретаря! Неужели помещицыя Россия и горгово-промышленные круги не нашли никого, кроме этого безвыразительного гнилуши, чтобы вместе с коренастым и ядреным вождем крестьянства Сергеем Масловым опекать и восстанавливать «многострадальную Русь»!

Едва мелькнули эти пренебрежительные восклицания в сознании Сергея Маслова, как эсеровский делега явочным порядком присвоил себе роль докладчика и оттеснил незадачливого копушу-секретаря.

Дело сдвинулось. Во славу «тараканьей Руси» Сергей Маслов энергично заговорил... Председательствующий генерал Айронсайд терпеливо не прерывал. Он дал высказаться по порядку всему временному правительству Северной области. Даже Павел Юльевич имел минутку для нечленораздельного выражения своего худосочного мнения.

Генералу Айронсайду надоело, и он резко заткнул пальцем водоносную дыру российских патриотов:

— Британская главная квартира, господа, добивается деловых отношений, а не упражнений в ораторском искусстве. Мы прибыли сюда в целях оказания вам помощи против большевиков. Королевское правительство желает иметь удачу от своего похода. Я нахожу вашу работу недостаточной. Военная мобилизация проводится плохо. Силы растут количественно, но мы не уверены в них с качественной стороны. На фронте было несколько случаев вероломства и предательства. Ваши солдаты уходят к большевикам. В разных местах при переходе к неприятелю солдаты убивали английских и американских офицеров. Господа, мы этого не потерпим! Мы требуем гарантий! И здесь, и в тылу, и на фронте! Всю область следует обуздать! Необходимо найти надежные силы. Ни-

каких неприятных случайностей! Мы уже изготовили план борьбы с рабочими восстаниями против существующего режима. План проводится и будет проведен. Все военные учреждения получили соответствующие указания. Население разоружить! Развернуть тюрьму на Мудьюге... Без переполнения! Всем офицерам иметь на дому заряженные винтовки с достаточным количеством патронов! Для охраны Архангельска мы создали специальные команды с броневидами и пулеметами на мотоциклах. Команды будут ежедневно показываться на улицах, чтобы население помнило о возможных последствиях при возникновении беспорядков. Город разделить на участки! Караульную службу поручить имущему населению по особому отбору, а не бедноте. Последняя всегда недостаточно выдержана и устойчива. Фронт можно пополнять только отрядами разумных и уважаемых крестьян, которым есть за что сражаться с грабительской бандой большевиков! Британская главная квартира не допускает, чтобы временное правительство Северной области представило свои возражения в столь ясных и очевидных обстоятельствах! Во имя спасения родины и завоеваний революции правительство конечно одобрит наши проекты!..

Последнюю фразу генерал Айронсайд произнес с трудно сдерживаемой улыбкой. Он усвоил изобразные, как ветошь, слова в точности из первоначального объявления архангельского правительства о своем появлении на свет третьего августа восемнадцатого года, в первый же день, как приехал на смену генералу Пулю.

Генерал Айронсайд давно заметил одобрительные и согласные кивания министра внутренних дел, почт и телеграфов. Павел Юльевич освобожденно засунул грудку бумаг в портфель и крепко застегнул пряжки. Для секретаря правительства после выступления главнокомандующего неясностей не существовало. Зубов с привычной застенчивой примаской, по-овечьи взглянул на генерала Айронсайда и как будто подчеркнул ему о неизбежной покорности остальных полярных министров.

Председатель временного правительства Николай Васильевич Чайковский задумчиво копался в своей рослой бороде и отмалчивался. Эсеровские министры — Маслов, Гуковский, Мартюшин, Дедусенко, Лихач — перешопывались, точно они находились на заседании вологодского Северосоюза, как еще несколько месяцев назад, и решали немногосложные вопросы об открытии одной лишней читальни в кооперируемой волости или о созыве с'езда маслоделов до весеннего от'ела коров, когда масляное производство свертывается.

Генерал Айронсайд допускал молчание не дольше, чем требовалось обвести глазами зал заседаний.

— Британская главная квартира, — сказал он и сделал знак своему ад'ютанту, — имеет предложить текст проекта национального ополчения.

Ад'ютант неспеша роздал всем отпечатанный в типографии лист плотной заграничной бумаги.

— Позвольте, — приподнялся глава правительства Чайковский, — мы несколько обескуражены...

Но голос его поглотил шум отодвигаемых стульев, звон шпор, оживленный говор наскучавшихся штабных...

До того, как Чайковский заикнулся, генерал Айронсайд успел закрыть заседание и тем подал сигнал своим сподручным к непринужденному поведению.

Председателя временного правительства Северной области со скукой слушали даже собственные министры. Он жалко останавливал их и старался отвести в сторонку.

— Нам необходимо собраться одним и продолжить обсуждение, — волновался бородатый старик, — я предлагаю тотчас же... у меня в кабинете... мы обязаны выработать... независимость наша... вообще... щекотливое положение!..

Сергей Маслов косо стрельнул глазом мимо бороды премьер-министра, кивнул стремительно уходившему Лихачу и скрылся за ним вслед.

Павел Юльевич готов был рьяно и предупредительно заняться своими секретарскими обязанностями, но министры непослушно разбегались. Николай

Васильевич Чайковский с бессильной досадой пробурчал:

— Павел Юльевич, мы одни с вами отдуваемся за всех! Ну, хорошо! Быть по сему! Завтра, так завтра. Соберемся завтра. Только, только, — обеспокоенно заторопился председатель, — пораньше, я прошу подготовить всё с утра. Затягивать невозможно разрешение столь важного вопроса. Мы примем меры... на будущее время. Мы... понимаем... Мы не посягаем на военные авторитеты, но... но тут как-то... неловко. вмешательство в сферы... Так, Павел Юльевич, часам к двенадцати — полный сбор! Вы в свою очередь тоже продумайте все... хорошенько... досконально!

Генерал Айронсайд, сопровождаемый ад'ютантом, отчужденно и прямо прошествовал в дверь.

Заседание совета министров могло считаться весьма плодотворным: на нем разыгралось министерское воображение в изобретении самых причудливых планов. Творили все. Председатель временного правительства Северной области, радостный, как мальчик, поймавший на детскую удочку большую рыбу, будучи обуян вымыслом, внезапно предложил форму для белогвардейских ополченцев.

— Жестяной крест на шапке и трехцветная повязка на рукаве! — восторженно выиграл бородой Николай Васильевич Чайковский.

— Здо-о-ро-во! — подхватил совет министров в сочувственном движении. — Принять без прений! Замечательно! Все нужные символы на месте! Одобрить! Против нет! Полное соответствие с народным настроением!

Павел Юльевич Зубов уже старательно вычерчивал пером любимую монархическую эмблему, а цветные карандаши удачно содействовали растушевке трехзначного поля.

Еще неделю спустя, в большую перемену, мимо учительской, с оглушающим гопаньем и свалкой, вся школа полеслась на улицу. Ирина Евгеньевна удивленно прислушалась.

— Крестики идут! Крестики идут! — шумно и весело рванул вихрь ребяческих голосов.

Ирина Евгеньевна с любопытством вышла на крыльцо. По улице двигалась сотня-другая ополченцев со знаком жестианого креста на шапке и с трехцветной повязкой на рукаве.

Женщина невольно улыбнулась над удачным прозвищем. Это действительно были не настоящие солдаты с их мерным и отчетливым строем, а неумелые и мешковатые «крестики».

Временное правительство Северной области имело право торжествовать: оно теперь висело, как железный мост, над неспокойной водой и опиралось на выверенные быки.

Скоро четыре тысячи «крестиков» ревностно взялись за караульную службу в Архангельске. «Крестики» попадались на каждом шагу. Их было столько, сколько разместило на шестнадцать километрах города отдельных домовладений, сколько жило в них купцов, купеческих сынов, чиновников, церковных старост, регентов, бывших приставов и околоточных, жандармов и всяких иных патриотических профессий. Они распознавались и без формы.

Ирина Евгеньевна научилась безошибочно угадывать и видеть врага там, где еще недавно принимала его на веру. «Крестики» были героями только Троицкого проспекта. Для всех других нищенских и неказистых мест они являлись опасными полицейскими.

Старший наследник Петрыгина Иван заскучал в Приречном от узкого приложения своих воинствующих сил по искоренению большевизма. На каких-нибудь тридцати-сорока волостных километрах много не размахнешься! В роде как из рогатки выстрелить вдоль огорода: тесно!

Архангельский дядюшка, рыбнорядец Никита Самойлович одобрил родственное пылание духа и выставил племяша в ополчение от собственного домовладения. Иван Петрович важно и предовольно облачился в «крестик» и повязку. Он джарски носил петрыгинскую голову!

Откараулив месячный срок строго и неподкупно где-то недалеко от дядюшкиных складов, — заодно оберегая и будущее свое наследство, так как Никита

Самойлович был бездетен и вдовствующ, — доблестный ополченец пожелал отправиться на побывку в Приречное.

На таких радостях Петр Самойлович не пожалел размашистой своей природы, чрезмерно выпил, напоил вояку-гостя и сшиб с ног всю дальнюю и близкую сельскую родню, почитателей и сподвижников.

Торжественной попойкой дело не кончилось. В гордыне отческих удовлетворенных чувств потрясенный палаша повез своего незаменимого в архангельском отечестве крестового воина в волюсть напоказ.

Просто так, на трех подводах, нагруженных пьяным и гулящим народом, бахвальствующий Петрыгин с сыном дебоширили и гоняли из деревни в деревню несколько суток. Обехали все подспудные шинки. Отгаскали на остановках за бороду не одного непокладистого мужика, не пожелавшего пить водку из горлышка четвертной бутылки.

Перехватили на дорогах не одну прохожую бабу, насильно мяли и тискали в тесных санях, с хохотом и гамом лили ей в рот большой граненый стакан водки, покуда баба не чумела и не начинала подтягивать общую разгульную песню. Увозили бабу далеко в обратную сторону и, довольные веселой проделкой, ссаживали ее середь незнакомого поля. Петр Самойлович дико гоготал и низко кланялся с саней, крича:

— С кем другим, баба, сором так-то гулять, а с Петрыгиным — завидки! Неси славу про наши капиталы! Всю волость закупили и выкупили!

Отец и сын попеременно надевали шапку с крестом, чуть не дрались за нее, а повязку разодрали надвое, и лоскутки прикололи булавками на груди обоим не в обиду.

В пьяном размахе и злобе припомнили по деревьям беспокойных и неверных мужиков и рассчитались с ними. Выбили окна, переломали палисадники, разнесли ворота...

В одной деревне влезли в пустую избу, оставленную мужиком — красным партизаном, — искорежили в ней всё от голбца до крыши, сбили в грудку всякое

кинутое добро, сгалгачили несмелых и притихших мужиков-односельчан, выставили им два ведра водки и разложили теплинку. Изба, заваленная от соседней стройки высоким снегом, запылала.

— Жги его, сукина сына, бедняка! — орал и глумился Петрыгин. — Мужики, слышь, что я говорю: бедняк — это тот, кто сам не жрёт и другим не дает! Ха-ха!

В чванливом азарте и безудержном разгуле лавочник срывал с себя шапку с крестом, яростно воздымал ее кверху и хвастливо вопил:

— Плачу за всё! Вся деревня гори: обстрою заново! А коммунию выведу! А не позволю у нас на родине, в волосте, нищим хозяевам быть! Искореняй красных беглецов до пустых кочек! Все деревни с гнилой брашкой истреблю! Кто-о, ответствуй, не согласен со мной? Выходи один-на-один!

Мужики послушно жались и лстыиво поддакивали:

— А мы разве против? А мы разве Петра Самойловича не знаем?

— Я родного сына не пожалел! — горделиво восклицал Петрыгин. — Его я не звали, без его обойдутся, а я его на войну послал! Иди, говорю, Ванька, и колошмать почём попало красную сволочь! Сживай ее со свету, нечисть! Дави и рушь сапогом, кулаком, из пушек, из винтовок, режь ее ножом под горло! Во-от мы каковы, Петрыгинины! Всё до нитки отдадим за хороший порядок! Нам и жизнь не в жизнь без правильного порядка! Справедливо кричит Петр Самойлович Петрыгин — бакалейный торговец из села Приречное?

— Ура-а! — не с большой охотой, притворяясь сильно пьяными, ответили мужики.

Пьяные подводы двинулись дальше. Зареву долго сопровождало их, освещая мгновенными вспышками открытую далеко белую дорогу.

— Гори, гори, масленица! — грозил кулаком Петрыгин по направлению пожара. — Красным и следовало пущать красный огонь.

В эти-то удальские минуты, километра за два от петрыгинского кулака,

по той же дороге двигался нищий. Он находился в явно чрезмерной усталости. Походка его была разбита и неверна. Нищий часто останавливался. Но он повидимому, так торопился, что не имел достаточно времени для передышки. Какое-то безотлагательное дело гнало его. Нищий напоминал упорного коня, который надрывался с тяжелой кладью на длинном перегоне и всё же тужился из всех сил, чтобы дотащить воз до места.

Пешеход заметил зарево, уделил ему одно мгновение внимания и больше не оглядывался. Похоже было на то, что в наступавшей ночной мгле зарево произошло кстати, оно благоприятно сопутствовало в дороге, хотя бы и слабо освещая ее. Нищий старался использовать заимствованный свет и возможно дальше продвинуться вперед до полных потёмков.

Оглянуться нищего и раз, и другой, и третий заставило иное. При чем нищий обнаружил нескрываемую пугливость и досаду. Беспокойство выразилось и в том, что он пожелал свернуть с удобного и гладкого катка прямо в поле.

Намерение это не удалось. Достаточно было неосторожно шагнуть в сторону, как нехватило ног, нищий провалился по брюхо и беспомощно уселся на снегу. Вторично неудачник и не отважился испытывать устойчивость и проходимость сугробов.

Он надалл вперед, сколько позволяли еще недорасходованные силы. Прибытка большого не получилось, но путешествие нищему ничего не оставалось делать, кроме, как худо ли, хорошо ли торопиться в ходьбе по единственно доступным ледяным полозьям.

В то время позади петрыгинская вагата выехала из попутной деревни с десятком смоляных факелов на длинных палках. Петрыгин пожелал кататься при свете.

В подлесной деревне нашлись смола и пакля. Петр Самойлович овладел самым высоченным шестом и, заливаясь от хохота, забавлялся испугом коней, которые с хрипом рвались вперед при каждом взмахе над их головами косматого кулака факела.

— Ай-да кнутик! Ай-да огненная ре-  
ленница! — орал довольный хозяин. —  
Ванька, правь конями прямо! Обмотай  
шожжи вокруг рукавиц. Пускай кони  
луки вырвут, а не потрафляй! Я стану  
югонять! Э-эй, э-эй, коники-лошадки,  
карь, прыгай, неси дольником до При-  
чельного!

Причудливый нрав Петрыгина ну-  
кдался в разнообразии развлечений.  
Петр Самойлович еще не замучил до-  
статочно вороного и гнедого, как ему  
надоело потешаться размахиванием ши-  
ящей в огне тяжелой дубиной.

— Стой! — приказал он и повалил-  
ся с шестом на бок. — Хватит лошадей  
портить! А нам горопиться некуда! По-  
чалёньку жалаю, по-хорошему с чест-  
ными людьми проводить ночку!

С факела, опрокинутого на сторону,  
падали крупные и жгучие капли огнен-  
ной смолы. Петр Самойлович с долгим  
старанием тряс шестом и наслаждался  
«спыхивающими на снегу площадками. То  
же с веселым гамом стали делать со  
«сех саней.

Ватага радостно глазела вспять на  
оставляемые красные сковородки, заме-  
чавшие придорожные вешки. В пьяной  
чепухе сознания Петрыгину показалось,  
что он, как умелая баба-стряпуха, пёк  
на сковородках очень удачные блины.

— Блины, блины! — заорал он. —  
Ребята, мы печем блины! Это не огонь!  
Не-е-ет! Это не смола! Это опара на  
дрожжах! Кто-о хочет опробовать? Ха-  
ка!

Скоро Петру Самойловичу помешал  
факел: он связывал ему суетливые ру-  
ки. В головных санях помещались толь-  
ко отец и сын, да приближенный к роду  
Петрыгиных мужичонка-пропивоха, по  
«розованью Васька-нахлебник. Ванька-  
«крестик» правил конями. Петр Самой-  
лович сунул на свободное плечо Васьки-  
«нахлебника оглоблю с паклей. Пропиво-  
ха угодливо подхватил ее.

Так, с накрененными в бока двумя  
горящими шестами справа и слева,  
Васька-нахлебник отвалился в задок са-  
ней и дурашливо и беспринципно смеялся  
на каждую выходку благодетеля. Зад-  
ние кони упирались, храпели и шараха-  
лись от мотающихся фонарей Васьки.

Он гоготал и над этим, поощряемый Пе-  
тром Самойловичем.

Скоро Петрыгин захотел петь. Перед  
ним внезапно всплыл архангельский  
трактор с заводной музыкальной маши-  
ной. Лошадиный зад представился ему  
тяжелым валом из этой машины. И  
Петр Самойлович с мрачным видом  
оглушительно грянул:

Горел, шумел пожар московской,

Певцов оказалось заглаза. Сын не-  
медленно вступил на подмогу. Васька-  
нахлебник влился пискачом. присоеди-  
нились два-три гуляки со следующих са-  
ней. Остальная ватага просто заревела  
впопад и невпопад нечленораздельные  
слова. Дикая хор на разные лады по-  
вторял:

Горел, шумел пожар московской.

Дым расстилался по реке...

Тогда и оглянулся нищий. И факелы,  
и пение сулили ему ненужные неприят-  
ности. Приближались люди, которым  
мог не понравиться нищенский вид  
прохожего, которым могло показаться  
заманчивым сделать забаву из убогого  
и доступного ко всякой хуле нищака.

Стремление уклониться от возможно  
оскорбительной встречи побудило нище-  
го почти бежать по дороге. Но, к сожа-  
лению, укрытие только чуть-чуть преду-  
гадывалось впереди. Где-то там—по па-  
мяти нищего — стоял на пути лес. До  
него бегущие и настигающие лошади до-  
бирались раньше, чем изнуренный пе-  
шеход, хотя он и был от первых кустар-  
ников вдвое ближе.

И наконец буйные весельчаки сравня-  
лись с нищим.

— Эй, сума! — крикнул насмешливо  
«крестик». — Посторонись, поперек хле-  
ба переждем!

Васька-нахлебник старался осветить  
прохожего полузатухающим факелом.  
Нищий шел тихонько и молча, чтобы  
скорее пропустить конных.

— Почему молчишь, рвань подзабор-  
ная, когда с тобой разговаривает не кто-  
нибудь, а Иван Петрыгин, воин и наш  
защитник от воров, грабителей и... ва-  
шего брата нищего? — гаркнул с озло-



блением Петр Самойлович. — Вякай ж-живо!

Нищий вдруг покорно хихикнул, часто замотал головой и голосом с хрипотцой извинительно попросил:

— Мы — глухонькие! Не обессудьте! Только-что по губам речь узнаем! А губ ночью и не видно! Простиге, люди добрые!..

Нищий шел и старательно кланялся. — Как так губ тебе не видать, оборванец, у моего сына? — непокладисто зашумел Петр Самойлович. — Тпру! Ванька, осадил коня.

Сани остановились. Остановился и нищий поодаль.

— Иди сюды! — приказал Петрыгин.

Нищий, держась за свой жалкий мешок через плечо, нехотя приблизился. Васька-нахлебник поднес факел почти к самому лицу.

Тут Петр Самойлович свирепо взгляделся в странника и, полный каких-то подозрений, язвительно спросил:

— Отчего в молодых годах находишься, а нищенствуешь? Васька, свети ему прямо в рожу. А?

— Чего? — выкрикнул нищий и подставил ухо.

— Ничего! — захохотал Петрыгин и вся ватага.

— Тять, — сказал Иван Петрыгин, — он и подвезти не просился. Забрать его в Приречное!

— Грузись, глухой тетерев! — взрычал возможно громче Петр Самойлович. — Мы его повыспросим, тряпка!

Нищий что-то раздумывал, а Васька-нахлебник уже схватил его за рваную шубенку и волок в сани. Возле себя он и посадил нищую ветошь.

Петр Самойлович теперь занялся новым человеком. Но допрос его не удовлетворял, так как глухота странника мешала. Допрос был подобен разговору между двумя иностранцами.

Петрыгин в раздражении и отчаянии принялся насильно поить нищего.

— Я тебе развяжу язык! Я тебя распоясаю! — бормотал он с угрозой и тыкал в рот горлышко бутылки незнакомому седоку.

Васька-нахлебник положил колья с факелами поперек саней, обхватил нище-

го вместе с руками и не позволял ему шевелиться.

Глухой энергично отталкивал бутылку головой, плотно сжимал губы и никак не хотел пить. При помощи сына Петрыгин опрокинул ему в горло остатки нерасплесканной еще водки.

Он долго давился и задыхался, глотая, откуда освобожденно не вздохнул. И тогда под дружный хохот нищий как будто сдался. Он подставлял ухо к Ваське-нахлебнику, а тот орал ему во все горло матерщину.

Хохотала ватага, хохотал нищий!..

Он даже что-то вполголоса запел... и сразу осекся. Петр Самойлович решительно не допустил такой вольности и тяжело захлопнул нищенский рот мокрой рукавицей.

Останавливали лошадей и осматривали при свете чадивших последней смолой факелов паспорт нищего, хотели было лишнего седока вышвырнуть на снег, но Петр Самойлович капризно решал покада не расставаться с ним.

— Я должен, — пьяно разговаривал с собой Петрыгин, — проверить каждого... в моей волости!.. Откуда и куда идет да кто... названный человек? Сперва в холодную, а потом на допрос! На трезвый допрос! Ночью и... вдруг на те... нищий? — рассуждал Петр Самойлович. — Ночью все нищие должны спать, а... иначе они воры! Верно, Васька? У меня варит голова?

— О! Еще как верно! — воскликнул с восторгом Васька-нахлебник. — Как пушка в Петрограде с Петропавловской крепости в двенадцать часов стреляет! Был я во флоте... У Поцелуева моста! Слышал, Петр Самойлович! Не ошибется! П-пых! Значит, не гляди на часы! Ровнехонько будет!

Глухой нищий с усмешкой подставлял ухо и внимательно осматривал окружающие ночные поля. Факелы едва дымили. Они, пожалуй, в таком виде только мешали глазам привыкнуть к темноте и разбираться в дороге.

Километрах в пяти от Приречного к большаку подбегал проселок. Петрыгинский сын опьяна проморгал его. Двое задних саней своротили, а головные очутились в хвосте. Петр Самойлович раз-

разился яростными ругательствами, сшиб с головы ополченца крестовую шапку и рванул из рук вожжи.

Один кидок пружинного тела в бок саней и крутой поворот вороного с гнедым были достаточны, чтобы скользкие полоза разехали и всё содержимое саней оказалось на снегу. Испуганные лошади метнулись в сугроб. Они далеко протащили на вожжах ополченца...

Распутаться помог ему нищий. Покуда Петр Самойлович барахтался на дороге и не мог на скользине подняться, нищий схватил вожжи и стал отнимать у кучера. Борьба продолжалась недолго мгновения. Вдруг ударило по лбу Ивана Петрыгина железным стречком, и яркий огонь хлынул в глаза всей ватаге.

Нищий стремительно выровнял на дороге сани, выстрелил еще раз уже над конскими головами и понесся вперед.

— Конокрад! Конокрад! — нашелся Петр Самойлович.

Он совершенно забыл о неподвижно лежащем сыне, живо вскочил на ноги и находчиво распоряжался.

— Заворачивай! Скорее, шишлюны! Мы его достанем! В погоню! — неистово кричал Петрыгин.

Но сани с проселка вылезали и неуклюже, и неохотно. Тут Васька-наклебник несмело дернул Петрыгина за рукав и, заикаясь от пьяного волнения, с удивлением сказал:

— Ванька-то... помер!

— А! — ошалел Петр Самойлович.

Он уж перестал жадно слушать вдали шипучий бег саней. Ватага окружила ополченца. Петрыгин встал около сына на коленки, оглядел его, всхлипнул и закрыл свое лицо подобранной тут же сыновней ополченской шапкой.

— Вот так... погуляли... на побывочке, — с надрывом завыл отец. — Что же я... матери-то... скажу! Н-на кого пожалуюсь?!

Часа полтора спустя, когда Ивана Петрыгина подвозили к Приречному, Борис Лавдовский бросил лошадей в придорожном леске, соскочил проселком в сторону и уверенно, в обход людных мест, пошел к Архангельску.

Тогда же, на переломе к рассвету, в архангельской квартире Бориса Лавдовского Ирина Евгеньевна увидела кучу бородатых «крестиков», которые делали очередную поквартальную облаву в ту ночь.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Петр Самойлович набрался лютой хмурости.

Беда одна не ходит, ходит она с дедушками, ходит она с внучатами, ходит она с правнуками!

На девятый день после смерти сына Петрыгин устроил поминки. Водку хлестали чайными стаканами, выпили два ушата пива собственной варки, истребили поеного теленка, барана, две дюжины куриц и с десятков ведерных опариц блинов.

Сегодня в избу тоскующего лавочника всякий приреченский мужик шел как на странноприимный двор, а Петр Самойлович, унынный от потери, щедро насыщал нищих.

Запах мяса и масла, запах водки и пива действовали так неотразимо, что на поминки торопились, как бы на свадьбу.

В конце горестного пиршества Петру Самойловичу пришлось драться. Упившиеся гости забылись и начали пляску...

— Во-о-н! — вскипел возмущенный хозяин и, не дожидаясь оправданий, обрушил швырком на головы плясунов блинный сковородник, а потом пинками выгнал из избы кстати половину виновного и невиновного народа. В горнице поредело...

Два попа с подкрашенными от выпития щеками в угоду скорбящему отцу старались поминки повернуть на духовный строй. Попы затягивали общераспространенные молитвы. Осиротелая мать грустила в углу и не сводила глаз с божницы, где на самой середине, закрывая какую-то мелкорослую богородицу, лежала ополченская шапка с крестом. Отец подтягивал, жадно отхлебывая из стакана водку, и отчаянно дубасил кулаком по столу.

Гости обнаруживали решительную склонность к светским песням. Молитвы

мало-по-малу сбивались на песенный мотив. К слову сказать, попы и сами не были тверды в руководстве, забывали и перепутывали слова, невольно мешали греховное с божественным.

Петр Самойлович в конце концов разочаровался в гостях и потребовал всеобщего их удаления. Хозяин вышел из себя и преступил необходимую меру почтения и уважения к столующимся.

— Будет! — зарычал он, хотя и со слезами в голосе, но нахально и дерзко. — Теленка и барана слопали, вино вылакали, нажрались вдоволь, а, сукины дети, раба божия новопреставленного Ивана Петровича, сына Петрыгина, и не вспомнили, и не отрыгнулось никому о бедняге! Только в отцовской да в магеринской душе он плачет! Катись к чешему все! Глаза на вас, обедал, не глядят!

Попы повернули хозяйскую выходку в шутовую сторону, однако пение молитв мгновенно пресеклось, и духовные лица скоренько очистили места.

Остальной народ повалил с ругательствами. Петр Самойлович не оставил даже Ваську-нахлебника, какие тот ни делал ему просительные ужимки.

Некий разгневанный гость, когда все разбрелось, вернулся к избе и смаху хватил поленом по зимней раме.

Старик Петрыгин с двумя сыновьями-меньшаками выскочил на улицу и поднял пальбу из ружей в каждую подозрительную черную мету, которую стрелки могли разглядеть ночью поблизости. Для острастки три ружья несколько раз выбросили заряды просто вдоль улицы.

За мужем и детьми явилась испуганная старуха Петрыгина и стала препятствовать стрельбе:

— Окаянные, перестаньте! Да вы же не знай кого перестреляете! Как наш Иванушка, человек зря сгинет!

Старуха хватала за ружейные стволы и расталкивала взбесившихся мужиков.

— Пошла, старая! — недовольно сопротивлялся Петр Самойлович, паля раз за разом. — В кого надо, попадет! Скоты благодарные!

Петрыгины искали по всему селу обидчика и не нашли его. По возвраще-

нии домой горестные поминальщики уже одним семейным кругом расположились вокруг стола. Как будто непродолжительного путешествия было достаточно, чтобы все начать сначала. Они так пили и ели, словно перед этим по старинному обычаю постились до звезды в сочельник.

На постель легла одна хозяйка. Хозяева так и уснули за столом, раскидавшись всклокоченными головами и красными лапами среди посуды и обедков.

Раннее деревенское утро не застало Петра Самойловича без задних ног. Кому надо и не надо, могли опаздывать, а он пожаловал на торги первым. Только не прошла вчерашняя и позавчерашняя хмурость.

В тот день — по старанию Петра же Самойловича — волость назначила в продаже десять приреченских домовладений красных партизан. Продавали собственно, одно строение, так как весь кинутый за отъездной спешкой домашний скарб давно был растаскан по местам. Избы и дворы стояли с полувыбитыми стеклами и полуоторванными дверями.

Но охотников скупить по дешевке нашлось достаточно. Едва Петр Самойлович прикинул в уме, что из чего может выйти полезного, какое строение надо снести, какое оборудовать по-хозяйски, уже с излишней торопливостью, из боязни опоздать, пошли и пошли имущие и неимущие соседи, мужики-дуванщики, прасолы...

К самым торгам прибыли на лошадей покупщики из дальних сел и деревень.

Степенно, как рылся за церковным ящиком в денежной мелочи на блюде и продавал свечки, показал свою кужлавую, под Николу-угодника, бороду церковный староста. Приходу его улыбнулись с хитрецей почти все; староста явно заменял и подставлял собой попа, которому было не совсем подходяще открыто заниматься скупкой.

— Попу нужны рамы для бани и гонг на сеновалы? — сердито и громко сказал Петрыгин, ни к кому не обращаясь.

— Кому что! — понял староста. — Некоторым и не знай зачем покупать старье, а... не могут утерпеть!

Это и послужило первым узелком для разговора. Гольтепа и неустойчивые мушкетеры в роде Васьки-нахлебника явились каждый с секретным хозяином за спиной, чтобы в надобь сбить цены и не дать стукнуть несвоевременно аукционному молотку.

— Жадность обуяла людей! — ввернул такой нанятый человек из толпы. Поддержка пошла из всех углов.

— Одному одно дай, другому другое!

— Волости и ладно: дармовщинка!

— Поглядим, много ли Петр Самойлович отвалит капиталов... на красных партизанов! Хи-хи!

— Домишки-то завалиши!

— Буди на дрова; только-что из дальнего лесу не вывози, а на месте запиловка!

— Петли там дверные уйдут, стекло, сапорчики разные, ясли!..

— Полати сушеные да крашенные всегда пригодятся в хозяйстве.

— Кому сыновей да дочерей надобно отделить, хоть и плохонькая справа достанется, а к ней немного приложи средств, — и получай дом, как дом.

На торгах друзей не оказалось. Приреченские кулаки тут не столкнувались между собой. Петр Самойлович забыл свои недавние утраты, ожил, раскраснелся и готов был перекусить горло любому сопернику.

— Даю! — кричал он с азартом. — Была не была! Стучи, молоток, последнюю цену!

— А я копеечку надбавлю, — осторожно вкрадывался церковный староста.

— А я пятачок, — продолжал правол.

— Мы ж по бедности, — кряхтел толстый дуванщик, — рублик накинём!

Петрыгини, староста, прасол, дуванщики, подставные мужики, заводила и заправщики со злобой в глазах яростно состязались около каждого кона.

Мужики — нищая братия — пришли на торги в самый разгар состязания погоревать над соседским пепелищем и бездельем. Они недолго намолчали и подчинили нужного топлива.

— Рви, ребята, где плохо лежит!

— Богатому — всё прибыль!

— Куй, кузнецы, из чужих слез денежки и в рост их пускай!

— Захлебнётесь вы от добра добром ненаёды!

— Избы у вас свои выше лесу! Солить, что ль, будете прибылые хатенки?

— Неровно замиренье будет — настоящие хозяева попрошают у вас, как делили у живых, будто выморочное, по сговору с волюстью.

Кулаки не обращали внимания на знакомую бормоту из-за угла и делали свое дело. Петр Самойлович однако успел с вызовом отгрызнуться:

— Выходи наперед, кому партизанья имущества жаль до-смерти! Ну, сделай милость, окажи храбрость! Поглядеть бы Анику-воина! Смерть охота! Чтой тут подумать?.. Хи-хи... никого! Ровно и не говорено никаких слов! Хи-хи!

Откуда-то из самой гущи, от дверей, раздался придавленный голос:

— Хихикай покеда! Может, и плакать научат!

Петр Самойлович серьезно и резко отозвался на угрозу:

— Я уж плакивал! Другой собирает ся, а мы!..

— Мало! — кто-то крикнул тонко и с такой поспешностью, точно не открыл рта, чтобы не заметили пошевелившихся губ и не изобличили.

Волостное начальство внимательно следило за перебранкой и вмешалось:

— Не сбивай торгов! Кто без денег да зазря языком колотит, тех можно и на улицу. Объявляйся, защитник красных, мы тя увезем на своей лошади и.. за прогоны не спросим! Вылезай дружнее!..

— Опосля свидимся! — со смехом сказал мужик от дверей.

Все собрание поддержало его, и всякий по-своему. Петр Самойлович язвительно протянул:

— Не шутка! Больно хвастуны у нас не в почет!

Покупатели разорвали партизанское жилье по кускам. Досталось далеко не всем. У некоторых размеры рта превзошли всякую скромность. Петр Самойлович взял взаглот половину.

После торгов волостное начальство привернуло к Петрыгину. Винный и

с'естной стол накрыли, покуда Петр Самойлович обтряпывал нужные дела. Выпили литки и закусили, точно не по дороге зашли к знакомому и приятному человечку, а нарочно приехали к нему в гости в храмовой праздник. Словом, явились к полудню, а отбыли перед упренними петухами. Погостились хорошо и не торопясь.

Однако Петру Самойловичу никак не удалось укрепиться на приреченской земле прочно и хотя бы немного разогнать хмуристость. С несчастной лобывки сына земля вышла из повиновения, — и всё занеудачило.

В четвертое утро от торгов по петрыгинскому сердцу полоснуло, как кнутом. Двух лучших коней, которые недавно вернулись из изгнания, не оказалось в конюшне.

Проклятый конокрад убил Ивана, но на коней все же позарился неудачно. Видимо, какая-то опасность заставила тогда вора расстаться с поживой, и он бросил ее.

Так нет же, конокрад дерзко и смело появился опять! Он своротил на сторону такой крепости замок, что от сломки его надо было ожидать шума по крайней мере домов за двадцать по порядку. Никто не слышал или не хотел слышать!

А только Петр Самойлович отгоревал наполовину и отчаялся возвратить лошадей в конюшню, как однажды ночью запахло горелым, красный петух пролегал в сенях и уронил пылающие перья на холодный пол. Встрепенулись Петрыгиньы, наскоро влезли в штаны и кинулись к дверям.

— Крыльцо подожгли! — крикнул сыновьям Петр Самойлович. — Живьем хотят сжарить! Но н-н-ет! Шалишь! — Петрыгин не потерялся. — Кадушку с водой! Скорее кадушку тащите!

Сыновья поволокли дубовую кадушку. Старуха расторопно подхватила ведра. Воду опрокинули на слабый еще огонь. Пришлось с силой вытолкнуть дверь: она была заложена с улицы несколькими чурбанами. Поднялись сельчане. Пожар смяли, пока он еще не взбесился.

Петр Самойлович с рассветом оглядел свое двухскатное крыльцо с тонкой

стружкой рукомерной резьбы. Резь обвалилась на самых видных местах, резные птицы летели без хвостов и голов, обезножили разные зверюги, а всё зачернело, и затускнело, словно перегной.

— Доброжелатели нас ловят! — с сердцем сказал Петрыгин и стиснул кулаки. — Эх, открыть бы голубчиков! Мы б поймали утешку!

Через день-другой Петр Самойлович жестко усмехнулся и пошел с обходом по зажиточным дворам.

— Работают на выбор, — предостерег злобствующий лавочник прасола, дуванщиков, зажиточных и обстроенных хозяйчиков, — жгли и грабили меня. претьеводни у одного попа сеновала не стало, а у другого попа гуменника, церковному старосте подпилили амбар... За место четырех ног на одну поставили! Три столба срезали возле самого пупа. по земле!.. Оттого и пила была неразговорчивая!.. Чего нас!? Ваську-беспортошного кончили и разорили... пьяница едва не сжарился в своей.. собачьей будке!.. Палаты его бобыльские больше сходственны с песьим жильем! Это.. красные беднячки орудуют! Война затягивается, бедняки в себя приходят.. Ваську... за измену — у... бедному люду наказуют! — передразнил Павел Самойлович усвоенную фразу от большевистских времен. — Надобно покалякать, ребята! Нынче соберёмся вечерком у папа Сильверста. Мы давече с ним перемолвились малыми словами...

Поп был не курящий, и у попа не курили. Так все и знали: следовало па пиросу и цыгарку класть под каблук около поповского крыльца. Нынче поп не стеснял дымить в своей чистой горнице. И надымили, как в церковной сторожке или в кабаке.

Понадобился поповский разборчивый и умелый почерк. Памяти хватило у всех. Список неблагонадежных получился в роде обширных годовых святцев. И все в него подбавляли и подбавляли Начали с Приречного, а кончили дальней лесной деревенькой с одними косматymi смолокурами, где однако оказался подозрительно-громгослый мужик..

— Следить надобно во-всю! — коман-

дирски наставлял Петр Самойлович.— Батюшка кажинное воскресенье говорит проповеди... Особливо это для баб хорошо... А мы... дубьем! Попотрошить есть нужда, не то опоздаем, нам всыпят! Список мы в Архангельск... Оттуда пошлют щепоточку карателей. Много и не надо. Тут у нас недалеко. Кой-кого придется из волости вывезти. Можно и здесь снять башку, а лучше... подальше... в глаза не бросается! В Архангельске попотчуют. Англичане языком не балакают, а у них под началом наши молодцы подскажут имя и званье и... заслугу. Мы ж, добрые хозяева, в сторожу. Не то красный народишко разгуляется. Оповестим села и деревни. В своем селе поставим караульчиков за отвода и за гуменники. Само собой — в середине села. Только сговор наш крепок: сторожим без огласки! Проверим — кто такой бесчинствует на селе али бесчинствуют приходящие?

Предосторожности были приняты невпустую. Когда нескольких мужиков вывезли в Архангельск и те оттуда не вернулись, добровольная охрана недолго торжествовала победу. Приречное притихло, но не успокоилось. Это вскоре и подтвердилось.

От кого уж никак не ожидали никакой опасной прыти, так именно от тишайшего мужика Максима Силантьева, который перевозил в начале прошлой осени дачницу Ириэну Евгеньевну. Силантьева и не думали включить в список. Что же сделал тихонький хитрюга?

Дозорные даже обомлели от неожиданности. Однажды в неурочный час появился на задворках Максим, сторожок глянул по сторонам, и тут ночной гуляка обнаружил такое проворство в ногах, какое подходило больше неизломанному молодцу лет двадцати, а не пожилому мужику с кривынкой от годов в спине.

Силантьева только и видали. Едва его не окликнули. Больше от того, что не успели. Когда же он мелькнул и скрылся в необъятном зимнем поле, решили дожидаться возвращения шустрого ходока, чтобы спросить его, куда это он так торопится по ночам?

Любопытство караульных осталось втуне: Максим вернулся, а на глаза не попал.

Петр Самойлович решил Силантьева покуда не тревожить. Максиму избу обложили крепкой и надежной слежкой.

Второй выход Максима и совсем не походил на обычный. Силантьев выскок из-за своего двора на лыжах. В полутемной на этот раз ночи сторожа долго наблюдали стремительный бег мужика. Он напрямик ушел в лес...

Обратная дорога Максима была неудачна.

— Ночевали здорово! — остановил его Петр Самойлович с подручными у гуменников. — Куда путь держишь?

Силантьев растерялся и молчал.

— Куда, спрашиваем, рысью бегаешь? — злобно крикнул Петрыгин. — Чего смущаешь народ по ночам?

Максим неловко попытался оправдаться и только насмешил...

— А... я силки ставил... на белок! — с приторной обидой воскликнул он.

Петр Самойлович ненавидисто придвинулся к нему вплотную, глаза к глазам и проскрежетал.

— Ты давно живешь на свете, и я давно! Мы с тобой привыкли жить, а... тебе пора и честь знать, бродяга ночная! Ты нам не говоришь правду, так другим скажешь! Супонь! — грозно приказал Петрыгин дозору.

Максим не отбивался, и ему быстро связали руки за поясницей.

— Даю моего коня под такого седока! — издевался лавочник. — Веди ко мне на двор. Оттоль его — в Архангельск! У, морда с хитростью! — ткнул в лицо Силантьеву кулаком Петрыгин. — Заслужил почёт! Мы тебе покажем, как в красную берлогу лезть!

На той же неделе поймали еще одного мужика. Беспокойная хмурость совсем овладела Петром Самойловичем.

— Рехнулись дьяволы, — бормотал в ярости приреченский голова. — Этак хогь все село выкачивай. Гниль сидит и в старом, и в новом деревьях!

Немного погодя после этих происшествий на Приречное нагрянул целый партизанский отряд красных. Словно Максим Силантьев обучил их ходить на

лыжах. Они его дорогой и пришли.

Кулаки не оплошали и выстояли. Они подпустили близко партизан и встретили их неожиданным огнем.

— Петрыгин! Сволочь! — кричали из партизанского отряда. — Подожди нас! Не подходи! Готовим тебе баньку!

— Домишко тебе построим с перекладной за наши избы!

— И Евстигнееву тоже! В церковный ящик запрем ему лысую головку, а ноги пусть болтаются!

— Предатели! Изменники!

— Не добили раньше на свою голову, кончим попозже!

— Ночной караульчик завели!

— Все равно обманем!

— Оборотнями подкатимся!

— Петруха Самойлов, засовы проверь, не то сызнава отопрем. Коней твоих в Красную армию сдали! Дюже кони полезные!

— Стерегись, гад, правдой-неправдой, подпалим!

— Попы пускай на требы не показываются: беспременно поймаем и обстригнем гривы!

— Прасолам тоже мёрло!

— И рыбачкам-дуванщикам заодно!

Стрельба разбудила Приречное. Попада в вооруженного отряда кулаков, поодаь, грудами мялись мужики и бабы.

— Разойдись вы, черти беспонятные! — кричали партизаны. — Мироедам помогает! Нам стрелять нельзя: подстрелим вас!

— Вдарьте им сзади!

Толпа начала прятаться за стройкой. Из-за углов боязливо выглядывали сотни глаз. Приреченские мужики жадно слушали выкрики партизан и радостно узнавали погрубелые, но знакомые голоса деревенских беглецов.

— Ребята пришли все, кажись!

— Миронов! Ковальков! Осколкин!

— Слышь зычное хайло Петрушкина!

— О, стервецы отчаянные!

— Лесом пришли! Верст восемьдесят от фронта!

— Все-таки знают! Всю подноготную!

— Ох, попадутся, дураки!

— Перехватят их где-нибудь на дорожке!

Со светом партизаны двинулись вспять. Перестрелка не обошлась без потерь. С кулацкой стороны свалился Васька-нахлебник, и самому Петру Самойловичу царапнуло дробинкой волоса тую мочку уха.

Партизаны уносили одного раненого в пенеvole бросили его на лесной опушке Кулаки за ночь окрепли и выгнали в поле всех своих. Они преследовали партизан.

Мужик Ковальков немного отполз в попытался скрыться под лапами старой ели.

Своей смертью незадачливый партизан помог товарищам уйти дальше от погони.

Кулацкий отряд долго тешился над Ковальковым, вымещая неукротимую свою злобу над смелым и в свою очередь неумолимым врагом.

— Попроси прощенья — не тронем! — издевался и обещал младший Петрыгин

— Н-не попрошу, змееныш! — хрипел Ковальков. — К-кончайте дуваном зверье недобитое! Отплатится вам, погодите!

— Ну, Семен, тогда прижми его пластом к земле, — сказал дальний петрыгинский родственник, скупщик-корьевщик.

Семен никому не уступил последнег выстрела в Ковалькова.

В те неудачные для приреченских партизан дни Красная армия на Двине жестокие морозы и по глубочайшему снегу ринулась в наступление. Бой завязался на десять суток. Товарищ Медведьцкий, сменивший Павлина Виноградова, пробовал крепость вражеских линий.

Их однако не завалили снега и не выморозили морозы. Британская главная квартира ко времени пригнала из Архангельска утроенные силы и удесятеренное вооружение. Окопы и проволочные заграждения кой-где глубоко вогнулись, как подковы, но устояли.

Не решила успеха в самый разгул боя и внезапно грянувшая беда над противником.

Генерал Айронсайд уже давно прельстился архангельским Особым полком Генерал собственлично принимал в

полк пленных красноармейцев. К нему приводили по одному бывших большевиков. Айронсайд строго и пронизательно разглядывал каждого, и далеко не все уходило от него в почетные роты. Но все же «кающихся» красноармейцев появилось достаточно.

Особый полк сверкал и блистал лучшим на фронте вооружением. Вчерашние красноармейцы, лапотники и бараньи рваные полушубки затмили лучшие из лучших английских полков.

Генерал Айронсайд не жалел ни сил, ни средств, ни внимания к недавнему врагу, а нынешней гордости белой гвардии.

В решительные минуты большевистского наступления генерал Айронсайд дал сигнал своему любимцу. Особый полк гордо и грозно пришел на Двину.

Через пять часов после прибытия покровитель «кающихся» красноармейцев нервно вздрогнул у телефонного аппарата на своей архангельской квартире.

— Не может быть! — отчаянно закричал генерал, — таких вероломств не бывает даже в воображении! Этого нельзя было предвидеть! Что-о-о? Что-о? Перебиты русские и английские

офицеры! Мерзавцы перешли немедленно к красным, как только увидели своих? Этот сюрприз ужасен! Мы потеряли бесплодно несколько десятков тысяч долларов! Приказываю: не брать больше пленных! Всех расстреливать на месте! К этой нации никакого доверия! Мы сделали их богатыми, они ж все-таки захотели быть бедными! Отвратительные варвары! Не были ли опущены вследствие растерянности необходимые карательные меры против негодяев?

Генерал Айронсайд напрасно беспокоился. Особый полк так увлеченно спешил вперед, что английские пулеметы ненасытно дырявили спины перебежчиков.

Спасая Особый полк от истребления Медведицкий повернул его лицом к Архангельску, и тогда красноармейцы отблагодарили англичан за неизносимые хаки, за дорогое снабжение, за испытанное вооружение и за свой почетный плен.

Джемми Сноуден выронил винтовку в то короткое мгновение, когда перебежчики повернулись к нему грудью. Пуля из переполненных складов британской главной квартиры нашла себе применение, проскользнув через правое плечо шотландского стрелка.

*Конец второй части*



# Человек меняет кожу

Роман

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

(Окончание <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

**К**ультурная работа на строительстве хромала, клуб работал плохо, и Синицына решила, что она сможет лучше наладить работу, организовав по участкам библиотеки. Она собралась в Сталинабад за книгами.

Город, который она не видела с прошлого года и который знала еще в период его недавнего детства, — большим развороченным кишлаком, — вытянулся за этот год, возмужал и разговаривал уже баском автобусных гудков. Тоненькие тополя по обим сторонам главной улицы шмыгнули вверх, обогнав в два раза свой прошлогодний рост. Такой разъяренный рост дерева поражал своей невероятностью. Казалось, что из прошлогодних прутьев вытащили спряганные в них готовые деревца, как из ножен вытаскивают шпагу, и они колыхались теперь, гибкие и упругие, как шпаги с развевающейся зеленой портупей.

Каждый раз, приезжая в этот город и находя его иным, Синицына видела его каким-то двойным зрением: через фокус воспоминания, как на рентгеновском снимке, взор ее различал сквозь плоть нового города костяк знакомого кишлака, такого, каким она застала его в первый раз, шесть лет тому назад.

Тогда здесь простиралась большая степь, изрезанная пыльными дорогами,

верблюды тащили по ней огромные балки из далекого Термеза, и раскосые киргизы, покачиваясь на верблюдах, гривастых и бородатых, как горбатые львы, пели свои заунывные непонятные песни. Они, должно быть, пели по-киргизски: здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Балки, проведя по пустыне длинную черту в сотни километров, стачивались, как исписанные карадаши.

Над кишлаком Дюшамбе, что значит «понедельник», — быть может, потому, что кишлаку суждено было увидеть первый день творения города, столицы социалистической республики, — в тот день беспокойными птицами кружили аэропланы. Они кружили над глиняной деревушкой, не знавшей до сих пор колеса (жители ее в праве рассказывать внукам, что первое колесо свалилось к ним с неба), и воздух гудел верещанием их моторов. Они походили на аистов, слетевшихся выбирать место, где свить себе гнездо. Сегодня в этом месте, как памятник, как выцветший фригийский колпак, водруженный на шесте, трепыхалась раздутая ветром «колбаса» аэродрома. Сегодня по черте, проведенной первой балкой первого верблюда, от Термеза до Дюшамбе, тянулось вздутым рубцом полотно железной дороги, и ночью, пугая шакалов, протяжно выли паровозы.

Сегодня пыльные безымянные дороги обросли с двух сторон домами, и дома, как женщины, утомленные солнцем и жарой, раскрыли зеленые зонты деревь-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 10—11 с. г.

ев и развернули веера палисадников. Еще три года тому назад дороги пытались защищаться. Они воровались под колесами арб, ухабами бодали рассеянные радиаторы автомобилей, ломали рессоры и колеса, как ломают голень врагу, наступившему на горло. Тогда на подмогу городу в душных грохочущих ящиках с далекого Севера приехали каменщики. Они сели на грудь изворотливых дорог и долго глушили их молотами, пока те не окостенели. Потом на перекрестках приколотили дощечки с именами, и безмянная дорога стала улицей. Теперь по ней плавно бежали машины, развозя по учреждениям наркомов, и с цоком летели раскидистые фэтоны, запряженные парой широкозадых коней в пристяжку, с декоративным осетяном в белом волнистом сомбреро на облучке.

Город расплзался по равнине, как выкипевшее молоко, новыми аллеями белых стандартных домиков, зарастал, как репейником, лесом лесов. К осени леса вырубали, открывая новый, выросший за лето, квартал.

Синицына бродила по городу, не узнавая знакомых улиц. Она остановилась у хлопкоочистительного завода, которого не было здесь в прошлом году, и побрела медленно вверх, мимо здания ЦИК повернувшегося спиной к городу и лицом к степи, к средневековью далекого Афганистана; мимо двух педтехникумов — мужского и женского, — рассевшихся через улицу на зеленых паласах и не спускавших друг с друга взгляда своих задумчивых окон; мимо здания ЦК, выдвинувшего вперед, к тротуару, две каменных колонны, не обремененные крышей и спаянные наверху простым каменным перешейком, — через их узкий пролет, как через триумфальный лук, входили в это здание лучшие сыновья республики. Она миновала городской парк, тенистый и многоствольный, перевезенный сюда из отдаленного Ташкента. Городу некогда было ждать, пока медленная строительница природа подведет под крышу ветвей утлые саженцы платанов и чинар. Городу нужна была тень, и он купил ее готовую, за сотни километров, перевез, чтобы не улетучилась, в за-

хлопнутых вагонах, и внедрил в свою взрыхленную землю вместо тонких саженцев толстые сажени старых раскидистых стволов.

Из ворот Таджикматлубота<sup>1)</sup> выходил длинный караван верблюдов, груженных промтоварами и зеленым чаем. Они направлялись на северо-восток, туда, где на горизонте каменным забором тянулись горы, и на горах, как на заборе, сушились лохмотья туч, — вероятно в Гарм, куда только в будущем году пройдет первая колесная дорога.

Синицына пересекла улицу и мимо Дома дехканина вышла на большую площадь. В углу площади на бронзовом цоколе стоял бронзовый Ленин и рукой показывал на Восток. Еще два года тому назад площадь, не обрамленная с востока постройками, переходила прямо в поле и упиралась за десятки километров в горную цепь. Шутники называли ее величайшей площадью мира. Через неогороженную площадь в город врывалось поле мутной зеленой хлябью, и весенний прибор захлестывал площадь сорняком и муравой. В этом году впервые между площадью и горами встала белая перемычка построек, и загороженное поле отхлынуло к горам.

За площадью главная улица суживалась и переходила в старый базар, вздыбленный по краям дороги глиняным хаосом хибарок и ларьков, крошечных чайхане и ашхан. У входа в ашханы стояли бородатые люди в фартуках поверх слинявших халатов, страшные люди-автоматы, люди-комбайны с копилками вместо голов. Одной рукой они вылавливали огромной ложкой из омота кипящего бараньего жира фаршированные пирожки, переворачивали в котле жирный дымящийся плов и накладывали его в подставленную касу, другой они то и дело приподымали лоснящуюся, как крышка черепа, тубетейку и совали туда засаленные кредитки.

Над улицей висел приторно-пряный запах перца, лука, бараннины, и змеинное шипение расплавленного сала смешивалось с медлительным гортанным говором прохожих и с заунывным криком водо-

<sup>1)</sup> Союз потребительских обществ Таджикистана.

носов. Это было царство гиссарского Базара, его запахом был пропитан воздух, его плоть выглядывала из котлов, усыпанная рисом, как лепестками подснежника, он шипел шашлыком на окровавленных шпагах вертелов, его бляение слышалось в криках продавцов, и его вздутая туша утопленника плыла над базаром на спинах водоносцев, топорща вверх короткие обрубки своих изуродованных ног.

Это была так называемая старая Азия, та, которую в первую очередь приходили смотреть приезжие, жадные до знакомства с подлинным Востоком. Ее не раз ходила осматривать и Синицына. В медленном струении непонятной таджикской речи, в священнодействующем таинстве приготовления плова было что-то успокаивающее, почти религиозное. Котлы дымились, как кадиланицы, бронзовые люди, похожие на дервишей, кидали в них пригоршнями свое колдовское зелье, другие, чалмастые и чумазые, тут же, на земле, пальцами, сложенными в раковину, черпали плов из плоских деревянных блюд и глотали его, запрокинув головы и смежив глаза, как наркоманы глотают гашиш и как верующие глотают причастие. Они походили на священнослужителей, занятых исполнением сложного обряда (недаром христианская церковь представляет бога в виде барашка. И не потому ли культурных европейцев, закоренелых скептиков и рационалистов, на изодренную оболочку которых давно перестал действовать выветренный фимиам христианства, так часто тянет старый, заповедный Восток, где, не изменяя своему неверию можно бесконтрольно вдыхать распыленный в быту, в воздухе, в плове успокоительный наркотик религии?).

Это была старая Азия, напиральная на новый город. Она шла оттуда, с окраин, по главной улице, навстречу наступающим на нее белым домам, уверенная и неистребимая, запрудившая улицу своими затхлыми хибарками, и исподлобья смотрела на мощеную перспективу простирающегося по ту сторону площади зеленого проспекта. Между ней и новым городом стоял бронзовый Ленин.

Так было в прошлом году. В этом году, перейдя площадь, Синицына вскрикнула. Базара не было, не было ни глиняных кибиток, ни ларьков, была развороченная земля, словно прошел по ней смерч или колонна тракторов. Развалины глиняных стен, отмеченные в сторону, как натянутая бечевка, отмечали ширину будущей улицы—продолжения центрального проспекта. Город шагнул вперед, и старая базарная Азия, подобрав свои лотки, шмыгнула за Дюшамбинку. Не осталось от нее даже, ба раннего духу, словно смысл его широкий ветер с проспекта.

Синицыной взгрустнулось, ей было жалко сметенного базара. Она подумала, что так вот, год за годом, исчезает старая Азия. Скоро вся эта страна, наперекор географии, врежется в азиатский материк жадным отростком Европы. Там требовал социализм, и хотя Синицына не сомневалась в правоте этого требования, ей было жалко этой стираемой цветной пылицы, жалко своеобразия, единственными хранилищами которого останутся тогда, как ей казалось, этнографические музеи.

Она повернула обратно в город.

В общежитии Совнаркома, разбросанном в саду свои белые домики с верандами, кишело, как в гостинице. У каждого из наркомов и секретарей ЦК ночевало человек по пять приезжих из районов: секретари райкомов и парткомов, райсы, уполномоченные, начальники строительства, приехавшие кто отчитываться, кто хлопотать о нуждах своего района и своего строительства. Все их город вместить еще не мог. Днем они носились и спорили по учреждениям, а ночью, дождавшись возвращения нужного наркома, не давали ему спать, а тридцатый раз доказывали необходимость немедленного отпуска тех или иных сумм или строительных материалов, раскладывали карту, тыкали в нее пальцем, вытаскивали из хуржумов, как фокусники, разные удивительные предметы: куски цветных металлов, минералы, бутылочки с золотым песком, пропитанные нефтью известняки, терли, велили нюхать и требовали, требовали, требовали. У наркома от усталости слипались гла

за, он знал заранее, что в каждом районе есть исключительные богатства, которые необходимо начать эксплуатировать в первую очередь, что каждое строительство есть самое важное. Он в тридцатый раз устало повторял, что республиканский бюджет ограничен, что всего одновременно сделать и построить нельзя, и обещал поставить вопрос на коллегии.

Каждое утро часть этих людей раз'езжалась по районам, кто верхом, кто на машине,—одни, бодро нащупывая в кармане выхлопотанную положительную резолюцию, другие, мрачно пережевывая, как личную обиду, лаконичский приговор: отложить до будущего года, до следующей пятилетки.

Синицыну утомляла эта вечная суета. Она не понимала, как могут жить и работать в ней наркомы. Ее раздражала ненасытная жадность этих приезжих людей, готовых выдрать зубами все, что им казалось необходимым для жизни своего района, своего строительства,—этот нескончаемый торг между центром и местами. Каждый район готов был проглотить весь бюджет республики, обещая взамен гектары ископаемых и горы хлопка. И хотя бюджет из года в год прыгал вверх на сотни процентов, он все же не поспевал за требованиями этих людей, для которых, казалось, весь мир вмещался на десятиверстке их района.

Синицыну раздражали эти люди, говорившие с румянцем на щеках о какой-то лишней тысяче га под хлопок, вытаскивавшие из-за пазухи, как карточку влюбленной, какой-нибудь обмусоленный кусок серы. Ни о чем другом говорить с ними было невозможно, всякий разговор они сводили к рамкам своего района. Они напоминали наивных провинциалов, для которых знание мира ограничивается рогатками родного местечка. А между тем из разговора выяснялось, что большинство из них исколесило чуть ли не весь Союз, от Полярного круга до Черного моря, и в своем нынешнем районе работает всего с прошлого года.

Синицыну от этих однообразных разговоров одолевала скука. Эти приезжие люди напоминали ей ее самое лег пятю тому назад, в ее бытность в Хоробе. Она

тогда разговаривала почти их языком, влюбленная в свою неприглядную колючку,—ибо Хороб в переводе на русский значит «колючка». Теперь среди этих людей, говоривших с пафосом влюбленности о своих тоннах и гектарах, она чувствовала себя, как взрослая, излеченная навсегда от увлечений молодости, среди влюбленных юношей, которые, как все влюбленные, кажутся вам немножко смешными и скучными и которым, даже посмеиваясь над ними, чутьточку завидуешь.

Она говорила себе, что, повидимому, отвыкла жить в городе и суета этого города утомляет ее особенно. Она намеревалась пробыть в Сталинабаде дней десять, а на четвертый день спавала манатки и уехала обратно.

Проезжая еще раз по городу, который она любила, как мать любит ребенка, выросшего на ее глазах, она вдруг ужасилась себе, что это уже не подросток, а взрослый большой город, и внезапно почувствовала себя старой. Так мать, не видевшая долгое время сына и представлявшая его себе всегда, в письмах и воспоминаниях, попрежнему резвым мальчиком в куцых штанишках, приехав, встречает на вокзале усатого дядю, и с волнением, которое сын воспринимает как волнение от встречи, она осознает впервые, что жизнь ее прошла и что ее не вернуть.

Синицына не любила больше Сталинабада.

В двенадцати километрах от города дорогу загородил Кафирниган. Вода разрушила мост и унесла запасный паром. Лопнувший трос валялся тут же на берегу, как огрызок стальной цепи, с которой сорвалась река. На обоих берегах толпились люди и машины. Это была обычная история. Каждый год к весеннему паводку Дортранс укреплял мост, и каждый год река, как кегельный шар, вышибала из-под него сваи.

Синицына не хотела возвращаться в город. Она решила переправиться на люльке, которую наладили саперы, протянув высоко над рекой новый трос. Люлька была сделана из куска доски, прикрепленной толстыми проволоками к движущемуся блоку. Красноармейцы с

той стороны тянули канат. На доску надо было лечь животом, ухватившись руками за проволоку. Внизу kloкотала река, над головой жалобно скрипел блок, в руках сухо трещала напряженная проволока. Синецына закрыла глаза: «Если проволока лопнет, будет оглушительный удар и потом ничего...» Бесконечное спокойствие манило, притягивало, как магнит, колючие осколки мыслей. Когда, открыв глаза, Синецына увидела, что находится на том берегу, она с неясным чувством оглянулась на реку. «А все-таки, должно быть, очень холодно».

Она пристроилась на грузовике, шедшем в Курган-Тюбе. Грузовик успел переправиться до того, как вода сорвала паром, и застрял в рыхлой жиже размытой дороги. Они выбрались на гудронированное шоссе и понеслись, отряхивая с колес прилипшую грязь. Шоссе коробилось под колесами. Во многих местах гудрон отскочил, и на черной коже дороги выступили плеши, впопыхах присыпанные гравием. Это были издержки слишком стремительного роста. Эта страна, несколько лет тому назад не знавшая еще никаких дорог, кроме ишачьих троп, не захотела простых европейских шоссе и, позавидовав Америке, стала заливать свои новенькие дороги гудроном. Иностранцы специалисты подвели. Гудрон, пригретый тропическим солнцем, отскочил, как эмаль с поставленной на огонь пустой кастрюли.

Отгромыхав длинную сотню километров серпантинном, ущельем и равниной, грузовик уперся в Вахш, устало пуская пар посеребрянной ноздрей радиатора.

В городок первого участка Синецына попала под вечер и, придя домой, застала на столе письмо. Она устало вытянулась на постели и распечатала конверт.

«Уважаемая Валентина Владимировна!

Во время обыска в квартире бывшего заведующего техническим отделом, бежавшего в Афганистан, найдена записка, написанная карандашом на белом листке, вырванном из книги. На оборотной стороне листка стоит ваша подпись, что показывает, что книга, из которой вы-

рван листок, принадлежала вам. Неделю тому назад вы дали мне читать книжку Киплинга, в которой как-раз не хватает первого белого листка. Судя по всему, листок был вырван именно из этой книги. Так как содержание записки бросает новый свет на дело Кристаллова, очень прошу вас зайти ко мне по этому вопросу обязательно сегодня. Буду вас ждать в шесть часов у себя в кабинете.

С товарищеским приветом  
А. Кригер».

Письмо было датировано вчерашним числом.

Синецына лежала минуту с закрытыми глазами. Потом встала, посмотрела на часы: семь. «В крайнем случае, если Кригера не будет в учреждении, зайду на дом». И, повязав платок, толкнула дверь.

В прокуратуре не было уже никого. Зная, что Кригер часто засиживается в своем кабинете, Синецына прошла к нему кругом, через комнату машинисток. Дверь в кабинет Кригера была не закрыта. Синецына не ошиблась: Кригер сидел за столом, спиной к двери. Он не расслышал, как сзади скрипнули петли.

Синецына подошла на цыпочках к креслу Кригера и заглянула через его плечо. На столе перед Кригером лежало несколько исписанных листов бумаги. Синецына наклонилась через спинку кресла и прочла вслух:

— «Обвинительное заключение по делу № 17, по обвинению гр-на Немировского Александра Григорьевича по статье 58<sup>4</sup> у. к...»

Синецына ждала, что Кригер остановит ее.

— Можно? Или это секрет?

Ответа не было.

Синецына повернулась к Кригеру.

«Что такое? Не хочет со мной разговаривать? А-а!»

Она присела на стол.

Из правого виска Кригера вдоль по лицу струилась тоненькая веревочка крови. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку, с руками на поручнях, с головой, чуть склоненной вперед, словно всматривался во что-то очень присталь-

но своими стеклянными глазами, и только уроненный никелированный револьвер поблескивал в отсвете вечернего солнца, как простой ключ к загадке.

Синицына кинулась к двери, хотела бежать, звать людей, потом вспомнила, что во всем доме никого нет, надо было бежать, звать с улицы. Это значило созвать толпу любопытных. Она вернулась к столу почему-то на дыпочках. Пол закрипел. Она вздрогнула и должна была опереться на стол—ноги подкашивались. Взгляд ее упал на исписанные листы, поверх которых смотрел Кригер. Она наклонилась и стала читать, уже не вслух, про себя, быстро глотая буквы:

«Обвинительное заключение по делу № 17, по обвинению гр-на Немировского Александра Григорьевича по статье 58<sup>14</sup> у. к., гр-ки Немировской Галины Ивановны по статье 17—58<sup>14</sup> у. к.»

Синицына пробежала три мелко исписанных страницы и остановилась на последней:

«Обвиняются:

Гр-н Немировский Александр Григорьевич, 44 лет, грам., имеющий высшее образование, по социальному происхождению интеллигент, не судившийся, женатый, инженер, в последнее время заведывавший сектором механизации строительства,—в контрреволюционном саботаже, направленном на срыв названного строительства и состоявшем в сознательном разложении сектора механизации, путем сознательного неисполнения и умышленно небрежного исполнения своих обязанностей (ст. 58<sup>14</sup> у. к.).

Гр-ка Немировская Галина Ивановна, лет 33, грам., по социальному происхождению дворянка, дочь кадрового офицера, не судившаяся, замужняя, в последнее время работавшая личным секретарем начальника строительства,—в пособничестве своему мужу, гр-ну Немировскому А. Г., в совершенном им преступлении путем предоставления средств, устранения препятствий и сокрытия следов преступления (ст. 17—58<sup>14</sup> у. к.), а также в недонесении о достоверно известном

контрреволюционным преступлении (ст. 58<sup>12</sup> у. к.)».

Дальше шел перечень незнакомых Синицыной фамилий и наконец последний абзац:

«Кригер Андрей Юрьевич, 42 лет, член ВКП(б) с 1918 г., по социальному происхождению сын ремесленника, в настоящее время исполняющий обязанности народного следователя и районного прокурора, — обвиняющийся в том, что, поддерживая связь с подследственной Немировской и потеряв как партицу элементарное классовое чутье по отношению к чуждому элементу, он не только не способствовал раскрытию дела Немировских, но даже после раскрытия преступления продолжал поддерживать с Немировской прежнюю связь и пытался использовать свое служебное положение для смягчения судебного-исправительной меры социальной защиты по отношению к своей бывшей любовнице, — признает себя виновным в измене партии и рабочему классу и неспособным впредь исполнять свои обязанности народного следователя и районного прокурора.

Во избежание дискредитации в глазах местного населения судебной власти, представителем которой является подследственный Кригер, прокурор предлагает не предавать его гласному суду, а как члена ВКП(б), обманувшего доверие партии и неспособного исправить свое преступление, в порядке исключения приговорить без суда к высшей мере социальной защиты — расстрелу, поручая выполнение приговора прокурору Кригеру».

И внизу, мелким почерком:

«Приговор приведен в исполнение 17 мая 193... г. в 18 часов 40 минут.

А. Кригер».

Часы на стене астматически захрипели и прокашляли четыре раза. Синицын встал, нажал халат и вышел во

двор. Ему плохо спалось. Он подумал, что в парткоме сейчас никого еще нет и можно будет спокойно поработать лишний час. Он принял душ и, вернувшись в комнату, стал тихонько одеваться.

— Уже уходишь?

Он обернулся. Валентина смотрела на него, облокотившись на подушку.

— Ты же вчера очень поздно вернулся домой.

— Ничего. Сон не необходимость, а привычка... А ты почему не спишь?

— Не спится.

— Нервы подгуляли? Наверное, вчерашняя история с Кригером?

— Может быть...

— Какой скот! Люди надрываются, чтобы наладить работу, оздоровить атмосферу, а такие бросают все, дезертируют и еще подрывают авторитет судебных органов. Иди, отдавай тут под суд какого-нибудь сбжавшего бухгалтера, когда тот, кто должен его судить, по сути дела делает то же самое. Хорошо, что ты не подымала тарарам, а первому позвонила мне. И сделаешь еще лучше, если не будешь об этом много говорить. Надо постараться не давать пиши обывательским толкам.

— А, по-моему, Кригер — молодец! Сделал все, что ему диктовала партийная совесть, и сказал: больше не играю. Партийный суд не мог бы его наказать более строго, чем это сделал он сам. Чего же вы хотите? Классовая справедливость восторжествовала лишний раз: малодушный наказан, а что наказали его не вы, не партия, а он сам, — какая разница?

— Ты это серьезно?

— Совершенно. По-моему, не каждый на месте Кригера сумел бы найти такой простой и честный выход. Твое возмущение совершенно необоснованно. Поступок Кригера не компрометирует ни партию, ни судебные органы, наоборот, он в высшей степени назидателен. Уйти из жизни по-английски, не представляя никаких счетов, не выволакивая никаких обид, заранее осуждая свою неправоту, говоря другим: продолжайте без меня, я ухожу, но я не прав, — вряд ли много словавшихся партийцев спо-

собны сделать это так благородно, так по-коммунистически.

— Ты считаешь это кривлянье с приговором, это никому ненужное актерство, всю эту обывательскую романтику самоубийства благородной и коммунистической? Я не узнаю тебя, Валя! Ты никогда не говорила, не могла говорить таким языком.

— А разве мы когда-нибудь вообще говорим? Разве ты когда-нибудь поинтересовался тем, о чем я думаю? Боюсь, что однажды ты с большим удивлением обнаружишь, что живешь не с тем, с кем полагаешь, и придешь к заключению, что тебе подменили жену. Или ты думаешь, что за эти тринадцать лет, со дня нашей встречи на фронте, я не изменилась? Что жена, это — как граммофонная пластинка, — выслушал раз, запомнил мелодию и ладно? Ты создал себе раз и навсегда какой-то неменяющийся образ твоей Вали, и по сути дела ты живешь с ним, а не со мной. Если ты однажды протрешь глаза и убедишься, что портрет изменился, то будешь уверен, что перемена произошла за одну ночь. Ты вот считаешь меня серьезной работницей, хорошим товарищем, а о том, что я баба, ты вспоминаешь только иногда ночью, когда приходишь ко мне, как к женщине. И самое главное, ты уверен, что это так и есть на самом деле. По-моему, я становлюсь женщиной только в моменты наших сближений, а в промежутках между ними превращаюсь опять в бесполого товарища. Ты не подумал никогда, что я — прежде всего женщина, а потом уж — твоя жена, товарищ, работница. Вот твой Уртабаев объясняется мне в любви, а я его не только охотно слушаю, но даже поощряю, — это доставляет мне удовольствие. А может быть, я с ним живу? Он — малый красивый.

— Я тебя никогда не связывал. Если ты полюбила другого, достаточно притти и сказать мне об этом.

— Ну вот, полюбила, разошлась. стала жить с другим — это единственные категории, которые тебе понятны. Может быть, мне жить с ним под одной

крышей было бы скучно, а привлекает он меня, как мужчина? Таких понятий нет в твоём словаре?

— Есть и такие. Только я думаю, что физическое влечение — не самое главное, что есть вещи более существенные. А в основном я не вижу в сексуальной проблеме ничего рокового и чересчур сложного. Если ты не любишь человека, с которым живешь, не живи с ним и живи с кем хочешь. Если ты его любишь, для тебя не будет представлять большой трудности пожертвовать для него минутным физическим влечением.

— Как это все у тебя просто, как в катехизисе: не пожелай жены ближнего твоего.

— Я понимаю, что у каждого в жизни могут быть ошибки, минутные слабости, необдуманные поступки, назови их, как хочешь. Но если люди живут друг с другом так долго, как мы, и их связывает нечто большее, чем одна постель, вещи эти перестают быть неразрешимыми проблемами. Нужно просто признаться и сказать об этом друг другу. Нет таких ошибок, которые нельзя было бы простить человеку, которому доверяешь.

— Ты можешь раздавить человека своим благородством. Тебе-то как-раз никогда не скажу. О, да, ты протыкаешь! Ты знаешь, что продолжать тебя обманывать с камнем твоего прощения на шею стало бы невыносимо и нелепо. Ты говоришь: если людей связывает нечто большее, чем постель. А ты уверен, что нас с тобой связывает это большее? Что именно?

— Я думаю то, что связывало нас всегда: работа, борьба, общее дело...

— А если эта работа и это общее дело, слишком общее, на которое ушла вся моя молодость, перестали мне давать тот минимальный процент удовлетворения, на который еще можно жить?

— Мне кажется, ты больна, Валя. У Кримера была какая-то своеобразная география о воздействии тропического солнца на гнилостные бактерии европейцев, — рассказал мне об этом вчера Морозов. С тобой, должно быть, произошло что-то похожее. Я знаю, — я

очень перед тобой виноват. Я ушел в свою работу и не оказал тебе никакой помощи. Но ты ее никогда у меня и не просила. Мне казалось, что мы попрежнему живем одними и теми же интересами. Да, наверное даже это—моя вина. Я взял тебя молодой девушкой и вот уже десять лет таскаю по всяким пустырям, не подумав о том, что человек, который не живет здесь интересами своей работы, должен чувствовать себя в этих краях невероятно одиноким. Как я не сообразил этого раньше?! Но раньше мы ведь жили так хорошо. Помнишь Хорог? Уж до чего был пустырь, а ты там так хорошо работала, такая была всегда веселая. Почему ты мне не сказала сейчас же, когда это началось? Но это ничего, Валечка, я тебя отхожу. Помнишь, когда ты болела тифом? Все думали, что уже конец, а потом прошел кризис, и Валя стала понемногу поправляться. Ты увидишь, я тебе помогу. Надо быть только со мной очень искренней. Видишь, здесь конечно мне будет трудно урвать много времени, но закончим строительство, поедем в Москву, на учебу, там будем всюду ходить вместе, увидишь много новых людей, центр, культурная жизнь, театры, лекции... Будем вместе учиться. Читать. Подумай, ведь есть столько интересных вещей, о которых ни ты, ни я даже не знаем. Ты поймешь там, в какое изумительное время мы живем, и все станет для тебя опять просто и ясно...

— Ты большой ребенок, Володя, — она мягко погладила его по голове. — Извини меня, дуру, что занимаю тебя пустяками. У тебя и без того достаточно дел. Ну иди, ты хотел сегодня поработать.

— Мне казалось, что ты хотела что-то сказать?

— Нет, я пошутила, буду спать.

Он вертелся по комнате, не находя слов. Она уткнулась в подушку и притворилась засыпающей. Он посуетился еще на цыпочках, чувствуя, что будет нехорошо, если сейчас уйдет, окликнул ее вполголоса, она не ответила. Он прислушался к ее ровному дыханию, — спит, — потом взял портфель, тубетейку и тихо вышел.



Прохлада летнего утра показалась горькой на вкус. Он шел и думал, каким образом и когда все это могло случиться, перебирал месяц за месяцем последние годы и не находил ответа. Все это свалилось на него неожиданно, как новый зияющий прорыв на вновь открывшемся фронте, и не находилось даже приблизительного плана, как его ликвидировать. Он мысленно перебрал самые неотложные дела, которые надо было разрешить сейчас же: дело с экскаваторами, история с Кригером, покушение на американцев, прорыв на котловане, разлад в механизации, разлад в автопарке, реорганизация партийного аппарата на базе отдельных участков, наладить работу партийных ячеек на втором и третьем участках, наладить политехнику, наладить газету, чтобы выходила хоть дважды в пятидневку, — длинная вереница задач, одна неотложнее другой. В этой гуще дел история с Валентиной сваливалась на него, как новая, непредвиденная нагрузка.

Синицын заметил, что давно уже возится с замком, раздраженно повернул ключ и вошел в партком. Он тяжело сел за стол и подпер голову руками. Он чувствовал, что не сможет хорошо работать. Взгляд его упал на большой желтый конверт, лежавший на видном месте. На конверте кривыми арабскими буквами значился адрес: «В комитет коммунистической партии». Синицын разорвал конверт, внутри лежал большой лист бумаги, исписанный карандашом. Неуклюжие арабские буквы бежали справа налево кривыми рядами, то соскальзывая вниз, то опять карабкаясь вверх. Внизу листа виднелись отпечатки пальцев. Это напоминало запутанное упражнение из учебника дактилоскопии.

Он пересилил себя и стал читать по складам, с трудом собирая рассыпанные буквы и склеивая из них слова.

«В комитет коммунистической партии.

Нижеподписавшиеся дехкане, бедняки и батраки, а также рабочие доводят до сведения коммунистической партии

и советской власти, а также ГПУ, чтобы обратила внимание, арестовала и расстреляла врага советской власти и пособника эмира бухарского, а также басмачей и капиталистов Афганистана. Уртабаева Саида, родом из Чубека, который-то Уртабаев работает на строительстве до сих пор в чине инженера...»

Синицын потер лоб и пододвинул бумагу поближе.

«...чему имеются многие доказательства:

Когда три недели назад бежали в Афганистан главный бухгалтер и начальник технического отдела, то убежали вместе с ними два рабочих афганца, которые афганцы служили им за проводников. Афганцев этих принял на работу Уртабаев, а, кроме того, за день до того, как они бежали в Афганистан, они заходили к Уртабаеву Саиду и уходили от него со свертком, что могут подтвердить дехкане-рабочие Олим Ассаметдинов, Ходжа, Мумин, Джакобджон Абдурасулов и Абдула Имам-Берды, которые рабочие работают на первом участке и, проходя по улице, видели выходящих от Уртабаева со свертком афганцев и очень удивлялись.

О происшедшем сообщаем советской власти, потому в прошлом году, за три дня до басмаческого налета, к Уртабаеву Саиду приходили тоже из Афганистана два дехканина под предлогом, что хотят организовать в Афганистане колхоз, а три дня спустя был из Афганистана басмаческий налет и много дехкан-доброотрядцев было шеребито. А этому есть свидетели Одинэ Такиев, Хальмурад Токсаба и Шохобдин Касымов.

А также, когда басмачи у кишлака Киик напали из засады на добровольческий отряд, которому служил проводником Иса-Хаджа Ходжияров, дехканин, бедняк и кандидат партии, а которому отряду предводил Уртабаев, то были в бою убиты милиционеры Ибраим Рахимов, Хаким Миркуланов, предрика Абду-Рахим Курбанов, прокурор Хан-Назар Худайкулов, дехканин Раджеб Самандаров и другие, которых не пом-

нят, а также расстреляны басмачами по приказу Уртабаева два русских техника, а сам Уртабаев курбашей Файза был отпущен с почетом на басмаческом коне. О чем засвидетельствовать может кандидат партии Иса-Ходжа Ходжияров из кишлака Уялы, который не донес советской власти об этом раньше по своей неграмотности. А что все сказанное действительно правда, о том настоящим подтверждаем».

Следовали оттиски нескольких десятков пальцев.

Синицына встала поздно, с головной болью. Пока она мылась, сушила волосы, гладила платье, перевалило уже за полдень. Торопиться было некуда. Она медленно оделась, долго рассматривала в зеркало свое лицо, посеревшее и усталое от бессонницы. Заметила под глазами две тонких морщинки, долго пыталась стереть их кремом, как стирают резинкой черту от карандаша, которая на поверку оказывается царапиной на самой бумаге. Потом раздраженно отодвинула зеркало и, накинув платок, собралась в клуб.

В квартиру постучали. Вошел Коменко.

— А Володьки нет. Он в парткоме.

— Я собственно, к вам, Валентина Владимировна.

— Чему приписать такую честь? — Она шутливо подвинула гостью табуретку.

— Есть дело. Не хотел вас утруждать, предпочел сделать себе удовольствие и навесить вас лично.

— Вы очень любезны. Хотите чаю с курагой?

— Только-что пил. Больше не вмещается. Приберегите курагу, в следующий раз приеду специально.

— Всегда рада вас видеть. Итак, что за дело у вас ко мне?

— Дело вот какого рода: Кригер вчера утром, за несколько часов до самоубийства, переслал мне папку по делу некоего Кристаллова, который рассматривался раньше как простой уголовник, а в процессе следствия выясни-

лось, что дело носит скорее политический характер. Так вот, среди бумаг Кристаллова найдена записка. Она написана на листке, вырванном из книжки. На оборотной стороне этого листка стоит ваша подпись. Кригер приложил книжку Киплинга с вырванным первым белым листком и пишет, что листок этот вырван по всем данным именно из этой книги, которую он одалживал у вас. Хотелось бы получить от вас по этому вопросу кое-какие указания.

— Кригер писал мне накануне самоубийства и просил зайти к нему. К сожалению, меня не было в этот день дома. Зайдя к нему на следующий, я уже опоздала. Вряд ли я смогу вам дать по этому вопросу какие-нибудь дельные указания. Мои книжки ходят по людям. Все мои знакомые берут читать постоянно. Возможно, что они в свою очередь одалживали кому-нибудь из своих знакомых. Кто-нибудь мог выдрать листок, на котором была помечена моя фамилия, а кто именно, — это сейчас вероятно трудно будет установить.

— Попытаемся. Круг ваших знакомых, которым вы даете читать книги, не так уж велик. Постарайтесь вспомнить, кому именно вы давали эту книгу.

— Боюсь, что могу ошибиться.

— Это не страшно. Назовите ряд людей, которым вы обычно даете книги. Как-нибудь доберемся.

— Кому я дала эту книгу? До того, как я ее дала Кригеру, она, помню, была у Уртабаева. Уртабаев, по моему, держал ее довольно долго. Она валялась наверное у него на столе, и кто-нибудь из посетителей легко мог вырвать из нее листок.

— Так. А больше кому одалживали, не припомните?

— Нет, не припомню. Это было давно.

— Значит, Уртабаеву вы одалживали ее наверное? И у Уртабаева она за лежалась долгое время?

— Да.

— Хорошо. А, может быть, вы узнаете почерк, которым написана записка, хотя почерк явно изменен.

Комаренко достал из бумажника листок. На листке обыкновенным карандашом было написано четыре строчки:

«Ты — просто сволочь. Даю тебе неделю сроку. Если в течение недели не ликвидируешь всех своих дел и не уедешь, расскажу обо всем Синецину».

Синецина пробежала глазами записку:

— Нет, не знаю такого почерка.

Комаренко убрал листок.

— Что ж, спасибо и за это. Извините за беспокойство. Дай бог всякому.

На дворе жужжал и трепыхался грузовик, не отрываясь с места, как муха, пойманная на клей. На котловане рвали скалу. Взрывы доходили, приглушенные и размеренные, словно где-то кололи дрова. По пустой площади между бараками прозрачным смерчем кружилась жара. Подъехала легковая машина. Комаренко велел шоферу ждать и пошел через площадь в партком.

— А вот кстати, — обрадовался Синецин.

Он попросил оставить их на пять минут одних и, достав из ящика большой лист, разукрашенный оттисками пальцев, показал его Комаренко.

— Интересно, что ты об этом скажешь?

Он перевел фразу за фразой все заявление.

— Вот что, переведи мне дословно на листке всю эту штукину. Проверим.

— Может быть, дать тебе и подлинник с отпечатками пальцев?

— Пальцев я сам тебе наставлю сколько хочешь, благо у каждого человека их по двадцать штук. Ходжиярова этого знаешь?

— Да. Есть такой кандидат партии, работает на котловане. Бедняк, малограмотный, ничем особенно не проявил себя.

— Мне об этой истории с Файзой рассказывал бывший здешний уполномоченный Пехович. Тогда под Кинком действительно перебили весь наш отряд. Один Уртабаев ушел живьем. Выпустил его сам Файза. Уртабаев утверждал, что

уговорил Файзу сдаться с оружием. Говорил, что Файза не хочет сдаваться доброотрядам, а согласен сдаться только самому уполномоченному ОГПУ. Такие случаи бывали у нас часто. Обещал сдать оружие на третий день в ущельи Дагана-Кийк. На второй день налетел на них наш отряд Остапова и разнес их в пух и прах. Встреча в ущельи так и не состоялась. Живьем ушел Файза с несколькими джигитами. Потом голову Файзы принес в мешке один из его джигитов уполномоченному в Пархаре. Джигита этого звать Куандык Ходжагильды, живет сейчас в Муминабаде. Он, должно быть, участвовал с басмаческой стороны в засаде под Кинком и мог бы кое-что рассказать. Это я тебе в порядке справки.

— Это интересно! Значит, все-таки заявление основано на действительных фактах.

— Вот что, ты это дело веди по своей линии, как разбираешь каждое заявление, которое поступает к тебе на того или иного партийца. Пощупай своего Ходжиярова. Это несомненно он организовал заявление. А я займусь со своей стороны проверкой свидетелей. Вызову Куандыка и еще кое-кого.

— Значит, ты думаешь, что все-таки это возможно?

— Шут его знает, я тут такие виды видал, что дал себе слово ничему не удивляться. Как у тебя дело с экскаваторами? Решили что-нибудь окончательно?

— Что же было решать? Два экскаватора, которые дошли до второго участка, оставили там. Пока работают. Остальные задержали в степи, держим охрану. Когда подойдут трактора, будем разбирать на месте и перевозить частями. На пристани приступили к разборке. Уртабаев отстранен от работы. Морозов настаивает на его снятии со строгим выговором. Действительно, во всем этом деле Уртабаев вел себя с начала до конца безобразно: отказался выполнить приказ Морозова и, вопреки приказу, продолжал сборку.

— Кто вам сигнализировал об этом деле?

— Мурри.

— Он утверждает категорически, что экскаваторы после такой прогулки выйдут из строя?

— Категорически. Снимает с себя всякую ответственность.

— Кто работает драгерами на тех двух экскаваторах, которые вы оставили на втором участке?

— Метелкин и Рюмин, брат начальника участка.

— Партийцы?

— Да.

— Что они говорят?

— Оба за Уртабаева. Говорят, что механизмы в хорошем состоянии. А что?

— Интересною этим делом. Если оба экскаватора будут хорошо работать, значит, эксперимент Уртабаева не был вовсе уж таким абсурдным. Не правда ли?

— Так выходит. Но все равно, если бы даже экскаваторы работали превосходно, Уртабаев не имел никакого права затевать на собственную ответственность эксперимент с двадцатью с лишним экскаваторами, вопреки категорическому сопротивлению фирмы Бьюсайрус и вопреки приказу начальника строительства. За такие вещи контрольная комиссия по головке не гладит.

— Кстати, еще одно: нет ли у тебя здесь под рукою какого-нибудь заявления, записки, письма Уртабаева, чего-нибудь, написанного его рукой? Содержание безразлично.

— Есть. Вот тебе письмо, а вот его старое заявление против Еремина.

Комаренко пробежал глазами заявление, достал из бумажника записку, найденную у Кристаллова, и положил ее рядом.

— Смотри, вот интересная записка, которую нашли при обыске на квартире у Кристаллова. Написана она на листке, вырванном из книги, которую у твоей жены одалживал Уртабаев. Не находишь, что ее почерк похож на почерк заявления Уртабаева?

Синицын внимательно сравнил обе записки.

— Чорт возьми, я не эксперт, но, по моему, сходство поразительное! В этой почерк немножко изменен, но рисунок всех основных букв—точь-в-точь.

— Мне тоже так кажется. Впрочем шут его знает, в этих делах легко ошибиться.

— Да, но тут сходство бросается в глаза даже профану. Подожди! Но, если записку эту писал Уртабаев, значит, он был связан с Кристалловым и облегчал ему бегство в Афганистан! Опять нити ведут в Афганистан!

— Не нужны тебе сейчас эти письма?

— Нет, можешь взять.

— Хоп. Ну, работай, я пока поехал. Держи меня в курсе дел.

— Скажи мне все-таки, что ты обо всем этом думаешь?

— Пока-что ничего не думаю, дружище. Индюк думал, а ему голову отрубили. Сначала надо узнать, а думать буду потом. Если буду знать что-нибудь достоверное, заеду сообщить. Тебе тут придется тоже пошевелить мозгами. Главное: не веди сидячего образа жизни и больше занимайся физкультурой,—поиводит в движение кровяные шарики. Кстати насчет шариков: получил новые мячики к пинг-понгу. Заезжай вечером, сыграем. Ну, дай бог всякому!

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Слухи о «деле Уртабаева» и о предпологаемом исключении его из партии стаей назойливых комаров жужжали по вечерам над всем строительством. К дню партийного суда все три участка, как школьники, репетирующие заученный урок, склоняли на все падежи фамилию Уртабаева.

В парткоме в этот день работа шла вяло. Даже людей заходило как будто меньше обыкновенного. Синицын просматривал гранки своей статьи для местной газеты, о перестройке партработы на базе отдельных участков, когда в его брезентовый кабинет вошел Нусреддинов.

— Я хотел бы с тобой поговорить, товарищ Синицын. У меня есть кое-что сказать тебе по делу Уртабаева.

— Давай, — поднялся Синицын.

Он заколол английской булавкой разрез в холстине, отделяющей его кабинет от общей комнаты парткома,—это

обозначало, что дверь заперта на ключ, что секретарь занят.

— Я слышал, что сегодня на бюро парткома стоит вопрос об исключении Уртабаева из партии? Правда это?

— Правда.

— Я боюсь, товарищ Синицын, что бюро делает ошибку, большую ошибку, я потому и пришел предупредить тебя. Нельзя исключать Уртабаева, он не виновен.

— Не виновен? Тем лучше. Давай факты. Ошибку исправить никогда не поздно.

— Фактов у меня нет. Но я знаю, что он не виновен.

Синицын раздраженно стукнул карандашом по столу.

— Это все, что ты хотел сказать? Немного. На основании только твоего личного мнения бюро парткома решения не изменит. Для этого нужны факты.

— У вас тоже нет фактов!

— Не говори глупостей, Керим. И лучше всего, не вмешивайся в дела, которых не знаешь. Мне наверное тяжелее констатировать, что Уртабаев обманул наше доверие и надежды, которые мы на него возлагали. Когда имеешь дело с явным предательством, личная дружба тут не при чем, товарищ Нусреддинов. Запомни это. Секретарь комсомольского комитета должен бы об этом знать. Я считал тебя более зрелым.

— Напрасно обижаешь меня, товарищ Синицын. Я не маленький. Ты сделал для меня очень много, я это помню, но ты часто продолжаешь со мной разговаривать, как с мальчиком. Неправильно разговариваешь. Я вырос с тех пор. Я знаю уже партийную азбуку, этому меня учить не надо. Если бы я сюда пришел защищать Уртабаева, потому что он мой друг, тебе надо было бы плюнуть мне в лицо. Я говорю, что у вас нет фактов, и знаю, почему так говорю. Я здешний, я тут вырос. Я видел не одно такое заявление. У нас, как только какой-нибудь активист начинает расти, становится опасным, бай вместо того, чтобы его убивать, стараются поскорее очернить: организуют заявления, наставят сто двадцать паль-

цев, выдвинут вперед бедняков, которые танцуют под их дудку. Каждый из них поклянется на коране, что ты зарезал своего отца, изнасиловал мать, растлил его дочку. И дочь приведут, и та будет свидетельствовать, что все так точно. А потом, когда поймаешь того, кто их накручивал, и припрешь их к стенке, все будут кланяться в пояс и говорить: «Мы—люди темные, неграмотные, нас подговорили». Не знаешь ты еще нашей страны, товарищ Синицын.

— Знаю немножко, дорогой Керим. И не тебе меня учить. Видел и я не одно заявление и знаю, как к ним подходить надо. Прежде, чем не проверил, не принимал бы решения. Ходжияров не байский ставленник, Ходжияров дрался с басмачами, когда Уртабаев предавал нас и поддерживал с ними связь. Ходжияров в борьбе с басмачами был ранен, и никто не мог сказать о нем плохого слова. Одного того, что он рассказывает о битве под Кииком, достаточно, чтобы поставить Уртабаева к стенке.

— Одного свидетеля достаточно?

— Бывает достаточно и одного. А если тебе интересно — есть и другой свидетель. Я тебе это говорю потому, чтобы ты выкинул дурь из головы. Остался в живых один из джигитов Файзы, который принес в прошлом году в ГПУ в Пархаре голову своего курбаши. Так вот, этот джигит, звать его Куандык, участвовал в засаде под Кииком со стороны басмачей. Допрашивал его на-днях Комаренко. Куандык говорит, что Файза заранее велел им не трогать Уртабаева. Это раз. Говорит, что два русских техника не были убиты в бою, а захвачены в плен и расстреляны потом, когда Уртабаев беседовал с Файзой. И Уртабаев стоял и смотрел на их расстрел. Ему было важно, чтобы не остались свидетели с нашей стороны, — это два. Когда Файза отпустил Уртабаева, дав ему коня, ни о какой сдаче отряда Файзы на третий день, как утверждает Уртабаев, между басмачами не было. Наоборот, после отъезда Уртабаева Файза созвал своих джигитов и сказал им, что через три дня они будут в Курган-Тюбе, что там все будет под-

готовлено, и все они поняли, что подготавливать это должен Уртабаев. Этого мало?

— С каких пор, товарищ Синицын, ты веришь показаниям басмача?

— Куандык — не здешний житель, а муминабадский. Никто не мог предугадать, что его будут допрашивать. Хочешь больших доказательств? Есть большие. Записка к Кристаллову. История с экскаваторами. Еще мало?

— Насчет экскаваторов Полозова выясняла у инженера Кларка. Кларк не знает—договаривался ли Уртабаев с Баркером, или нет.

— Но зато знает Мурри. Этого вполне достаточно. Уртабаев морочил нам голову целый месяц, посылал вслед за Баркером телеграммы и в Москву, и в Нью-Йорк, — никакого опровержения не получили. Что ж, по-твоему, все — и фирма Бьюсайрус, и дехкане, и басмачи, и экспертиза — сговорились, чтобы погубить Уртабаева? Брось дурить, Керим, иди-ка лучше и займись своими делами.

— Я знаю, что дело запутанное, по этому и нельзя его решать так быстро. Из партии исключить всегда успеешь. Надо подумать и о том: Уртабаев у нас один таджик-инженер, больше Уртабаевых у нас нет. Нельзя такими людьми бросаться.

— Тебе рано учить меня, Керим. Знал я все это раньше тебя. Напрасно только ты у меня время отнимаешь.

— Не напрасно. Вспомнишь мои слова, товарищ Синицын. Ошибку большую делаешь. Ай, какую ошибку! Уртабаев не виновен.

— Надоел ты мне, заладил одно, как попугай. Иди докажи вместо того, что болтает впустую, потом будем договаривать.

— И докажу. Только поздно будет, за ошибку отвечать будешь, товарищ Синицын.

— Ты уж обо мне не беспокойся. Я за свои поступки отвечал, когда ты еще на карачках ползал. И с делами своими справлюсь уж как-нибудь, без твоих советов.

— Я не хотел против тебя итти, товарищ Синицын. Сам меня заставляешь.

— А ты, если уверен в своей правоте, иди хоть прямо в ЦК Таджикистана. Что тут против меня, я — человек маленький. Только меньше болтай и не пытайся никого запугать. Если все твои доказательства будут ограничиваться одной пустой трепатней, мы тебя живо призовем к порядку. Ну, а теперь не отнимай у меня больше времени. Займись лучше комсомольской бригадой, вчера опять соревнование проиграли.

Он был раздражен, а сегодня надо было быть очень спокойным. Разговор с Нусреддиновым неожиданно выбил его из колеи. Этот мальчишка, которого он вел в течение пяти лет, как младшего брата, радуясь каждому его успеху, осмеливался сейчас выступать против него с какими-то глупостями, давать ему советы и поучения, объявлять ему войну. Он подумал о неблагодарности этих коричневых малышей и сейчас же одернул себя. По сути дела все, что он сделал для этого малого, было его элементарной партийной обязанностью.

Сунув бумаги в портфель, Синицын вышел из парткома. Ему нужно было поговорить еще с Морозовым о нескольких вопросах, требующих немедленного разрешения.

В юрте, кроме самого Морозова, он застал Кирша, Мурри и небольшого прилизанного техника («наверное из дворян»), служившего Мурри переводчиком. Техник сидел без занятия и сосредоточенно ковырял в зубах. Мурри толковал что-то по-английски Киршу. Морозов, понимавший с пятого на десятое, внимательно прислушивался к разговору. Синицын расслышал фамилию Уртабаева. Он посмотрел вопросительно на Морозова. Морозов молча указал ему на табуретку рядом с собой и наклонился к Киршу:

— Вы мне потом переведете, я тут не все понимаю?

Кирш кивнул головой.

— Вы должны понять, мистер Кирш, — говорил по-английски Мурри, — что для меня лично это в высшей степени неприятно. Как-никак я первый обратил ваше внимание на эксперимент мистера Уртабаева. Выходит, что

я являюсь косвенным виновником тех бед, которые обрушились на Уртабаева. Говорят, что Уртабаев ссылается на согласие Баркера. Я не хочу отрицать такой возможности. Правда, насколько я помню, Баркер в беседах со мною очень неодобрительно отзывался о перебросках экскаваторов с места на место, но в конце концов перед самым отъездом мистеру Уртабаеву, может быть, удалось его убедить. Баркер мог, скажем, согласиться на эксперимент с одним-двумя экскаваторами. Таким образом, коллега Уртабаев, возможно, только несколько превысил свои полномочия...

— Я не понимаю, почему вы так резко стараетесь обелить Уртабаева, — перебил Кирш.

— Видите, получается, что я совершенно невольно подложил свинью своему таджикскому коллеге. Это противоречит элементарным принципам нашей профессиональной этики. Коллега Уртабаев мог это воспринять, как донос. Факт остается фактом: Уртабаев пострадал на этом деле. Сознание этого для меня в высшей степени неприятно. Вы, как инженер, должны бы это понять. Я пришел вас просить не делать выводов из ошибки коллеги Уртабаева. Уверенность, что я испортил карьеру местному коллеге, будет мне серьезно мешать в моей дальнейшей работе.

— Вы ошибаетесь, полагая, что управление устранило от работы товарища Уртабаева за допущенную им ошибку, — сказал Кирш. — Товарищ Уртабаев отстранен не за то, что он допустил ошибку, а за то, что он отказался ее исправить, а за то, что он не подчинился распоряжению начальника строительства. Видите, что дело с экскаваторами, а тем более вы лично тут решительно не при чем. Что же касается разговоров о суде над Уртабаевым, распространяемых досужими людьми, то это — совершенно особое дело. Товарищ Уртабаев как член коммунистической партии отвечает перед ней за ряд поступков, не имеющих прямого отношения к нашему строительству. Ваша профессиональная совесть вполне чиста...

Часам к шести к помещению парткома, где должно было состояться заседание бюро по вопросу Уртабаева, начали мало-помалу сходитьсь члены бюро. Около дверей на дворе собралась небольшая группа беспартийных.

Когда на площади появился Уртабаев, рабочие зашушукались, провожая его неприязненными взглядами. Уртабаев поспешно вошел в партком. Ему указали место немного сбоку, рядом со столом бюро. Минут пять спустя в партком прошел Сигицын в сопровождении Комаренко и уполномоченного контрольной комиссии.

Сигицын открыл заседание и сообщил, что на повестке дня стоит один вопрос: дело товарища Уртабаева, члена партии с 1924 года, обвиняемого в связи с басмачеством и его вожаками в Афганистане, в убийстве двух техников, в связи с контрреволюционными элементами на строительстве, в облегчении им бегства в Афганистан и в преднамеренном вредительстве.

Он зачитал по-русски и по-таджикски заявление, поступившее в партком от Ходжиярова и других рабочих, сообщил о записке Уртабаева к Кристаллову и рассказал вкратце историю с экскаваторами. Он закончил свою информацию сообщением, что бюро парткома, проверив достоверность упомянутых фактов, приняло решение об исключении Уртабаева из партии и предлагает это решение на утверждение парткома. Он спросил, будут ли какие-нибудь вопросы, и предложил разбить их на три группы: вопросы, адресованные к бюро, относительно достоверности выдвигаемых против Уртабаева обвинений, вопросы к свидетелю Ходжиярову и вопросы к самому Уртабаеву — и просил придерживаться впредь этого порядка, что значительно облегчит и упростит ведение собрания.

Вопросы, адресованные бюро, касались преимущественно личности свидетеля Ходжиярова и других свидетелей, записки к Кристаллову, дела с экскаваторами и скоро исчерпались.

Свидетелю Ходжиярову предложили пройти к столу и отвечать оттуда. Поднялся худой дехканин в засаленном ха-

лате, перехваченном платком. В прорехи калата, подмышками и с боков, вылезла клочьями белая вата, и это делало его похожим на взмыленного коня. У Ходжиярова не было левого глаза, отчего лицо его казалось сплюснутым на одну сторону. Говорил он только по-гаджикски.

Его попросили рассказать подробно о гибели отряда Уртабаева в засаде под Кииком. Он провел рукой по усам и бороде, словно выжимая воду, и медленно начал свой рассказ.

— Как подехали мы к кишлаку Киик, сразу грохнуло на нас, как из двадцати винтовок, и конь мой сейчас же упал и затрепыхал задними ногами. А был я тогда без оружия, проводником, понимаешь? И думаю я: эстаться мне на дороге, зарубят меня наверное, и оружия у меня нет никакого. А недалеко, совсем рядом, был невысокий дувал, и в дувале трещина, где можно было пролезть. А когда я увидал, что многие кони и люди валяются на земле, а многие кони скачут назад по дороге без всадников, я перескочил дувал и залег у расщелины в траве, — с дороги меня не видно, а мне в расщелину всю дорогу видать. И увидел я, как из кишлака выскочили басмачи на черных конях и бросились на отряд, а из отряда мало уже кто остался. И как наскочили басмачи на Уртабаева, он поднял руку и в руке что-то держал, а что держал, я не мог разглядеть, только не тронули его басмачи и проскакали мимо. А конь у Уртабаева был ранен в ногу, и он слез с коня и пошел прямо в кишлак, и все время что-то показывал в поднятой руке. И подехал к нему сам Файза и с коня пожал ему руку обеими руками, и стали они у края дороги и о чем-то разговаривали, а о чем, я слышать не мог. А потом подехали остальные басмачи и пригнали двух русских, пеших и без оружия, а были они оба в нашем отряде. И привели их басмачи к Файзе, и Уртабаев сказал что-то Файзе, и Файза махнул рукой, и русских отвели шагов на тридцать вод дувал, и четыре джигита выстрелили им в голову. И Уртабаев стоял и смотрел, и Файза смотрел, и я видел,

что Уртабаев смотрит и смеется, и говорит что-то Файзе. Я спрятал голову и подумал: ай-ай-яй!

«А потом они все ушли в кишлак, а убитые остались валяться на дороге. И тогда я увидел, что нога у меня прострелена, и завязал ногу крепко платком, и как только стемнело, потихоньку стал пробираться ущельем к кишлаку Дагана, чтобы известить наш отряд. А у кишлака Дагана засели басмачи, и схватили меня басмачи и спрашивали: «Чего нога у тебя прострелена?» Я им рассказал, что шел по дороге в свой кишлак Уялы, и выскочили аскеры и басмачи, и началась перестрелка, и мне попало в ногу. И домой я вернуться не могу, потому что у кишлака Уялы стоят аскеры и могут подумать, что я — раненый басмач. А они не поверили и потащили меня с собой, и дали мне коня, и два дня таскали меня по горам с собой, а на третий день я убежал и попал в кишлак Кокташ, пошел в рик и просил перевезать мне ногу. А из рика шла тогда машина в Исталинобод, и райс посадил меня в машину и велел отвезти в Исталинобод, в больницу. И в больнице я пролежал два месяца.

«А когда меня выписали из больницы, встретил я на улице в Исталинобод Уртабаева и очень удивился. И Уртабаев узнал меня и подошел ко мне, и сказал: «Здравствуй, Иса-Ходжа! Это ты нас завел тогда в засаду под Кииком. Я сейчас велю тебя арестовать!» Я очень испугался и подумал: «Как я докажу, что не я завел под Кииком отряд в засаду, а он? Он тут в большем почете и человек ученый, а я — простой дехканин, и грамоте меня не учили, кому поверят, — мне или ему?» И стал я его просить не арестовывать меня, а отпустить домой. Сказал я ему, что меня тогда под Кииком ранило в ногу, и я убежал через бахчи с простреленной ногой и ничего не видал, — убили кого-нибудь или нет. А он подумал и сказал: «Хорошо, я не велю тебя арестовывать. Иди домой и помни, что под кишлаком Киик я уговорил Файзу сдать в ГПУ».

«И я уехал в свой кишлак Уялы. А потом соседи сказали, что на строитель-



стве нужны рабочие копать землю, я пошел и нанялся. Я увидел там опять Уртабаева, и все говорили, что он тут главный. А потом стали говорить, что на Уртабаева рассердился самый главный начальник и что его будут судить. И секретарь нашей ячейки говорил нам, что надо выявлять сообщников басмачей, потому что басмачи могут шпритти из Афганистана опять и потоптать посева. И рабочие стали говорить, что видели, как к Уртабаеву ходили афганцы. И я тогда рассказал, как было дело под кишлаком Киик, и они мне сказали, что надо об этом написать, потому что Уртабаева будут судить, и надо, чтобы его судили сразу за все. И все, что я сказал, есть настоящая правда.

Рассказ Ходжиярова произвел на всех большое впечатление. Вопросов было немного. Касались они преимущественно периода его двухдневного пребывания у басмачей.

Пришла очередь вопросов к Уртабаеву.

После первого вопроса Уртабаев встал и попросил разрешения ответить сразу по всем пунктам обвинения. Он раскрыл портфель, достал из него какие-то записки, долго не мог застегнуть замок, видно было, как у него дрожат руки.

— Товарищи, я постараюсь кратко и с возможной точностью восстановить те события, на которые ссылаются обвиняющие меня люди, преднамеренно извращая факты, имевшие место в действительности.

«Первое звено этого обвинения относится к прошлому году, ко времени, непосредственно предшествовавшему налету басмачей из Афганистана. Свидетели, которые принимали участие в составлении заявления, говорят, что за три дня до налета ко мне приходили из Афганистана два дехкана, якобы под предлогом, что хотят организовать в Афганистане колхоз, на самом деле, чтобы известить меня о готовящемся налете. Ко мне действительно пришли из Афганистана два дехкана, работавшие в течение двух-трех месяцев здесь, на строительстве, и потом ушедшие обратно на родину. Они принесли мне письменное заявление от дехкан кишлака Калбат, Имам-Саибского хакимства,

скрепленное оттисками нескольких десятков пальцев...— Он вытащил из записок засаленную бумажку и положил ее на стол. — В этом заявлении они просят послать им инструктора, который научил бы их, как организовывать колхоз. Я думаю, что ничего странного в этом нет. При открытой границе с Афганистаном вести о нашем колхозном строительстве расходились и продолжают расходиться довольно широко. Афганские дехкане, особенно те, которые побывали здесь у нас на работах, видят преимущество нашего колхозного хозяйства над единоличным и рады бы заполучить этот «секрет». Запросите, товарищи, сколько таких ходяков является из Афганистана к секретарю сарай-камарского райкома и просит инструкторов, тракторов, семян для организации колхоза по ту сторону Пянджа. Вполне естественно, что дехкане, работавшие раньше здесь, обратились именно ко мне, — я единственный инженер-таджик, партиец, в их представлении большое начальство, говорящее на их языке. Удивительно было бы, если бы они обратились не ко мне, а к кому-нибудь другому.

«Мне стоило большого труда убедить их, что инструктора мы послать не можем. Я дал им инструктивную брошюру о колхозах на таджикском языке и посоветовал обратиться в сарай-камарский рик, который, я уверен, помог им семенами. Обращались ли они в Сарай-Камар, не трудно бы, я думаю, было проверить.

— Вы же сами говорите, что в Сарай-Камар их обращается много. Как же вы проверите, обращались ли именно эти?

— Да, это, — пожалуй, правильное замечание. Проверить это в точности будет почти невозможно.

Морозову, не спускавшему глаз с обвиняемого, показалось, что по лицу Уртабаева скользнула косая улыбка.

— Это — по вопросу о прошлогодних гостях из Афганистана, — продолжал Уртабаев. — Я прошу вас, товарищи, обратить внимание на тенденциозное изменение срока этого визита. Дехкане были у меня не за три дня до налета, а за месяц, может быть, и больше...

— А чем вы это можете доказать?

Уртабаев поднял глаза на спрашивающего, и они столкнулись с устремленными на него пристальными глазами Морозова. Морозов заметил две злые, насмешливые искорки.

— Есть число на этой афганской петиции? — спросил Комаренко.

— Нет, к сожалению, дехкане не имеют привычки датировать свои заявления.

— Значит, и этого нельзя проверить? «Издевается, сволочь» — закусил губы Морозов.

Уртабаев вытер рукавом пиджака пот со лба, и глаза его опять скользнули в сторону Морозова. И Морозову по хитрому блеску этих глаз стало вдруг совершенно ясно, что Уртабаев вовсе не волнуется, что он абсолютно уверен и спокоен и что это вытирание лба рукавом и дрожащие руки, нервно перебирающие записки, все это — чистойшая комедия, заранее прорепетированная и обдуманная.

— Продолжайте.

— Дальше: рассказ о визите двух афганцев, бежавших вместе с Кристалловым и Сыроежкиным и навещавших меня якобы накануне своего бегства, конечно вымышлен с начала до конца. Я не хочу заподозривать свидетелей. Были нередки случаи, когда рабочие-афганцы обращались ко мне по целому ряду вопросов, не будучи в состоянии договориться на своем языке ни с прорабом, ни с начальником участка. Бывали случаи, что они приходили ко мне на квартиру. Я не могу точно вспомнить, заходил ли ко мне кто-нибудь как-раз в этот день. Возможно, что и заходили.

Возможно, что и эти два афганца?

— Возможно, что и эти два афганца? поскольку они ничем не отличались от других, и я не мог заранее догадаться, что они собираются бежать.

Опять глаза Уртабаева остановились на Морозове.

«Издевается, сукин сын, явно издевается» — подумал Морозов. Игра Уртабаева вызывала в нем глубокое возмущение.

— Почему же вы тогда говорите, что вся история выдумана? Выходит, что

она не выдумана, — бросил он резко, чувствуя, как кровь ударяет ему в лицо.

— Выдумано, что я принимал каких-то афганцев, зная заранее о их предполагающемся бегстве.

— Значит, о том, что они собираются бежать, вы не знали?

— Нет, не знал.

— А записка Кристаллову? — спросил, роясь в бумагах, уполномоченный контрольной комиссии.

— Кристаллова я вообще знал очень мало, только по его работе в техническом отделе. О том, что в техническом отделе есть неполадки, я знал, но какие именно и кто такой Кристаллов, мне никогда и в голову не могло прийти. И никаких записок Кристаллову я не писал.

— Значит, записка эта написана не вами? — поинтересовался Комаренко.

— Нет, не мною... Дальше: дело с засадой под Кииком. Надо начать с того, что Ходжиярова я вижу впервые. Хотя нет, это было бы не точно. Лицо его я откуда-то знаю, где-то я его видел. Вот я сидел, когда он рассказывал, смотрел на него и силился припомнить: где я его видел?

— А под Кииком-то, под Кииком? Припомните хорошенько.

— Нет, под Кииком Ходжиярова не было. И проводником в нашем отряде он никогда не служил.

— А лицо все-таки знакомое?

— А лицо знакомое!

— Вот, и я так думаю!

В зале засмеялись.

— Вы напрасно, товарищи, стараетесь мои слова превратить в шутку. Мне не до шутки.

— Я думаю!

— Так вот, весь рассказ Ходжиярова выдуман. Ходжиярова не было в нашем отряде ни под Кииком, никогда. К сожалению, и этого простого факта нет возможности установить, так как от всего отряда остался в живых один я.

— Вот это-то и странно.

— Разрешите мне рассказать, как было дело под Кииком.

— Вали!

— Отряд наш из двенадцати человек попал в засаду и, насколько я могу сей-

час восстановить, был перебит до того, как басмачи выскочили на нас из своей засады. Одним из первых выстрелов убили мою лошадь, которая, падая, придавила мне ногу...

— Убили или ранили?

— Не ранили, а убили. Упав с коня, я очутился под ним и не мог точно видеть, — перебили ли весь отряд из засады, или кто-нибудь остался в живых и прикончили его шашкой. Во всяком случае, когда меня выгнали из-под коня, я был единственным живым человеком из всего отряда.

— А два русских техника?

— Были убиты вместе со всеми.

— А не расстреляны потом?

— Я повторяю, я был единственным живым человеком из всего отряда, и поэтому, повидимому, меня не прикончили, а взяли живьем и повели к курбаше, надеясь получить от меня сведения о численности и расположении наших отрядов. Файза сам стал меня расспрашивать. Я называл преувеличенные цифры прибывших из Ташкента частей Красной армии, говорил о сдаче Кур-Артыка и других курбашей, доказывал, что дело Ибраима проиграно и советовал сдаться, обещая, что советская власть сдавшихся с оружием безнаказанно отпускает по домам. Он знал об этом от других джигитов и сказал мне, что он не проречь был бы сдаться, ему надоело воевать и он видит, что Ибраим втянул их в безнадежную авантюру, обещав поддержку населения, от которого сам сейчас вынужден спасаться. Он сказал мне, что если не сдался до сих пор, то потому, что не доверяет доброотрядам. Среди здешнего населения есть у него старые закоренелые враги, которые, взяв его в свои руки, не преминут свести с ним счеты. Он заявил, что готов сдаться лишь уполномоченному ГПУ. Я сказал, что могу это устроить. Мы договорились, что на третий день Файза со своими джигитами будет ждать в ущелье Дагана-Киик и, если придет за ним отряд ГПУ, сдаст оружие. После того, как мы с ним договорились, он дал мне свежего коня и отпустил меня, а я приехал в Курган-Тюбе и доложил обо всем тогдашнему

уполномоченному ОГПУ товарищу Пеховичу. На третий день мы выехали в ущелье Дагана-Киик, но в ущельи никого не оказалось...

— Ага, значит, Файза так и не сдался?

— Дайте мне кончить. Насколько мне удалось выяснить, на отряд Файзы удалось накануне случайно другой наш отряд и истребил его почти совершенно.

— А где же тогда доказательство, что Файза вообще намеревался сдаться и что об этом именно он с вами договаривался?

— Да, другого доказательства, кроме моих показаний, нет.

— Слабое доказательство.

— А с Ходжияровым в Сталинабаде вы не встречались и не разговаривали?

— Нет, не встречался и не разговаривал. Я же сказал вам, что не знаю Ходжиярова.

— А в Сталинабаде в этот период времени, о котором говорит Ходжияров, бывали?

— Если речь идет о времени, спустя два месяца после ликвидации басмачества, то в это время я в Сталинабаде был.

— Ах, в Сталинабаде в это время были?

— Да, в это время был... Говорить дальше?

— Да, расскажите об экскаваторах.

— На идею, что экскаваторы можно пустить от пристани собственным ходом, натолкнуло меня безвыходное положение с транспортом, застопорившим все наше строительство. Довести экскаваторы без помощи тракторов на головной участок — это значило развернуть в течение нескольких недель работы полным ходом, это значило двинуть строительство вперед на целые месяцы. Я конечно не решился бы сам на этот эксперимент без согласия представителя фирмы Бьюсайрус. Я обратился к этому представителю, инженеру Баркеру, и изложил ему свой проект. Баркер сказал, что экскаваторы их фирмы, правда, никогда таких больших переходов не делали, — максимальный их одновременный пробег не превышал 7—10 километров, — но что теоретически это не

невозможно и для его фирмы было бы даже интересно проделать такой опыт. Он говорил, что в крайнем случае придется экскаваторы после пробега поставить на недельку в ремонт. По сравнению с теми сроками, которые могла нам обеспечить перевозка тракторами, это были сущие пустяки. Четверяков тогда уходил и делами уже не занимался. Нового начальства не было. Согласовать больше было не с кем. Я поехал на пристань и стал собирать экскаваторы и спускать их на плато. Когда часть экскаваторов уже вышла, а половина была уже почти собрана, я получил неожиданную записку от товарища Морозова с категорическим приказом прекратить сборку и выехать на «голову». Я в первую минуту опешил, подумал, что, может быть, новое начальство не успело еще выяснить этого дела с инженером Баркером и испугалось, что я это делаю на свой страх и риск. Я не мог уже остановить в полдороге ушедшие экскаваторы и решил закончить сборку тех двух, которые были уже наполовину собраны, и тогда поехать переговорить с новым начальством. Я был убежден, что этот приказ — простое недоразумение и, узнав, что я действую с согласия фирмы Бьюсайрус, товарищ Морозов не будет настаивать на его выполнении. Тогда, в последнюю минуту, неожиданно приехал товарищ Морозов, снял меня с работы и отдал приказ о разборке экскаваторов.

— Значит, вы настаиваете на том, что действовали с согласия инженера Баркера? — Морозов даже приподнялся на своем стуле.

— Да, с полного согласия.

— Доказать этого конечно опять-таки нельзя, так как инженер Баркер уехал в Америку.

— Доказать это можно, только не в данную минуту.

— Как же это так? Вам инженер Баркер говорил одно, а инженеру Мюрри другое?

— Я сам этого не понимаю. Может быть, инженер Баркер в последнюю минуту испугался ответственности перед фирмой и пошел на попятную?

— Подождите, подождите! Ведь, если вы вообще разговаривали об этом с инженером Баркером, то должен быть простой свидетель этого разговора, — переводчик?

Вдворилось минутное молчание. Морозов прищурил глаза. Удар попал в цель. Уртабаев покраснел, голос его впервые зазвучал неуверенно и смущенно:

— Я сам учусь говорить по-английски и немного говорю. И беседовал об этом с Баркером без переводчика?

— А в других случаях все-таки, говоря с американцами, как мне доподлинно известно, вы пользовались переводчиком.

— Да, очень часто, если вопрос очень трудный и мне не хватало слов, прибегал к помощи переводчика.

— Только в этом вопросе у вас как-раз хватило слов, и вы обошлись без переводчика, который мог бы сейчас засвидетельствовать.

— Да, переводчика при этом разговоре не было.

— Вы, кажется, принимаете нас за детей, Уртабаев!

— Это все, что вы можете сказать в свое оправдание? — спросил угрюмо уполномоченный контрольной комиссии.

— Да, это все.

Уртабаев вытер рукавом пот. На этот раз Морозов не сомневался в искренности этого жеста. «Приперли к стенке, не улизнешь».

— Я понимаю, товарищи, что все факты, умело подтасованные моими врагами, говорят против меня и что благодаря нелепому стечению обстоятельств я лишен возможности противопоставить им хоть одно так называемое вещественное доказательство, хоть одного свидетеля, который бы говорил в мою пользу. Я понимаю, что вы не можете верить мне на слово, если я скажу вам: я не виновен...

Голос его дрогнул и вдруг, словно опасаясь, что его слова слишком тихие, не дойдут до собрания, он крикнул во весь голос:

— Я не виновен, товарищи!

Произошло небольшое замешательство. В зале стало очень тихо.

«Ну и актер! В театре ему выступать, а не на бюро парткома» — злобно подумал Морозов.

Уртабаев вытер рукавом лоб и закончил сухим бесцветным голосом:

— Я не буду ссылаться на те мизерные заслуги, которые я имею перед партией. Партия дала мне все, я дал ей только то, что обязан ей дать каждый партиец. Партия послала меня на учебу. Партия сделала из меня человека. Всем, что во мне есть нужного и хорошего, я обязан партии. Партия в праве отнять у меня все, что она мне дала. Изгнать меня из партии — это значит отнять у меня жизнь. Партия дала мне жизнь, партия в праве ее взять.

Он скомкал в руке бумажки, видимо, конспект заключительной речи, которую не произнес, и сунул их в портфель.

Минуту длилось молчание.

— Ну, это все — лирика, не меняющая существа дела, — сказал Морозов, — все ясно, и поздним раскаянием тут не пособишь.

— Да, дело ясное.

— Что ж, товарищи, есть еще какие-нибудь вопросы, или будем резолюцию бюро ставить на голосование?

— Дело ясное!

— Давайте голосовать!

— Кто, товарищи, за исключение Уртабаева из партии?

Поднялся лес рук.

— Кто против?.. Никого. Кто воздержался?

Воздержались Комаренко и экскаваторщик Метелкин.

— Объявляю собрание закрытым.

Уртабаев встал, минутку шарил по карманам, как человек, потерявший бумажник, достал из кармана партбилет и положил его на стол. Потом быстро, не оглядываясь, пошел к дверям.

На дворе толпа беспартийных рабочих встретила его громким свистом.

Синицын вернулся домой раньше обыкновенного. Он чувствовал себя в этот вечер, как хирург после трудной операции, проведенной чисто и без ошибки, по всем правилам медицинского искусства, во время которой пациент

умер на операционном столе. Он решил сегодня больше не работать и, возвращаясь домой, подумал, что вечер этот нужно бы было посвятить Валентине. Со времени их утреннего разговора, после самоубийства Кригера, Синицын откладывал этот разговор на завтра, завтра опять было экстренное заседание, и так прошли дни, а потом недели.

Он шел, укладывая в голове план этой трудной беседы, не зная, с чего именно начать. Тут нужно было не операционное вмешательство, а мягкое внушение. От больного, безнадежно тронутого гангреной, он шел к душевнобольному.

Не застав Валентины дома, он искренне опечалился — вряд ли еще так скоро представится свободный вечер — и в надежде, что она скоро вернется, стал ее ждать. Этот вечер должен был стать поворотным в болезни Валентины. Синицын мысленно подбирал неотразимые аргументы, способные переубедить любого закоренелого оппортуниста, взвешивал их, выстраивал в ряды, пробовал парировать их удары возможными возражениями, и никакие возражения не способны были устоять против их логической неопровержимости.

Когда все они уже были взвешены и выстроены в ряды, Синицыну внезапно показалось, что это совсем не то, что надо. Все это Валентина могла с равным успехом почерпнуть из газет. Очевидно тут надо было что-то совсем другое, а что именно?

Валентина не приходила. Прошел час, прошел другой, все уже было обдуманно до малейших деталей, делать было нечего. Синицын суетился по пустой комнате, заходил в свой «рабочий кабинет», выделенный в отдельную резиденцию воздушной перегородкой из фанеры. Он не привык сидеть без работы. Так прошел еще час. Наконец дверь, ведущая во двор, скрипнула.

Синицын поднялся навстречу. В комнату вошел Комаренко.

— А, это ты, — разочарованно протянул Синицын.

— Проходил мимо, решил заглянуть. Есть что-нибудь нового?

— Очередь за тобой. Придется арестовать Уртабаева.

— Я арестовываю вне очереди и на этот раз очередью не воспользуюсь.

— У тебя всегда шутки. Но, кроме шуток, нельзя ведь его после того, когда все установлено, оставить на свободе.

— А почему бы нет?

— Ты дурачишься или всерьез?

— Конечно всерьез.

— Что же, ты не считаешь достаточно вескими те факты, которые были установлены в процессе следствия не только мною, но и тобою самим?

— Для тебя, как секретаря парткома, выявленных фактов вполне достаточно, чтобы исключить Уртабаева из партии. Я, прежде чем его арестовать, должен еще кое-что выяснить.

— Связь с Афганистаном, сообщничество с Кристалловым, — это для тебя еще не достаточные факты?

— Связь с Афганистаном до конца не раскрыта. Куандык может врать. Единственный свидетель — твой Ходжияров. А насчет Кристаллова предупреждение о том, что расскажет Синицыну, не свидетельствует еще о далеко идущем сообщничестве. К тому же без заключения экспертизы почерка нельзя еще со всей уверенностью утверждать, что записка бесспорно принадлежит Уртабаеву.

— Что же, по-твоему, мы его неправильно исключили из партии?

— Для того, чтобы исключить из партии, достаточно одного показания Ходжиярова и факта какой угодно связи с Кристалловым.

Хлопнула дверь. Синицын поднялся. В комнату вошла Полозова.

— Я вам не помешала?

— Ничего. А что, у вас опять новости? Случилось что-нибудь с американцами?

— Новая фаланга? — поинтересовался Комаренко.

— Нет. Ничего особенного не случилось. Сегодня вечером инженер Кларк поделится со мной впервые своими подозрениями. Не вдаваясь, насколько они обоснованы, я считала своей обязанностью поставить вас об этом в известность. Тем более, что он сам говорил мне о них несомненно с этой целью.

— Ну, ну, давайте. Это интересно, — оживился Комаренко.

— Помните, когда американцам стали подбрасывать записки с угрозами, все спрашивали, каким образом эти записки попадают к ним в комнаты. Они тоже ломали себе головы, и Кларк пришел к предположению, что, может быть, кто-нибудь из посещающих их людей оставляет незаметно эти письма.

— Замечательно! Это самое простое и дельное предположение, — вставил Комаренко.

— Так вот, он стал вспоминать, кто именно навещал их в этот день. И пришел к заключению, что оба раза заходил к ним всем Уртабаев.

— Что? Опять Уртабаев?! — Синицын отодвинул табуретку и стал расхаживать по комнате.

— Вы помните, товарищ Синицын, разговор в столовой, когда Кларк и Мурри показали вам впервые полученные записки? Вы помните, что вы тогда сказали, что таджик не нарисовал бы черепа, что это — европейская символика! — Помню.

— Кларк заметил, как Уртабаев, присутствовавший при этом разговоре, будто бы очень рьяно поддерживал ваше предположение, что таджик ни в коем случае не мог быть автором записки.

— Ну, а дальше?

— Дальше история с фалангами показала вне всякого сомнения, что автором покушения, а тем самым и автором записок, является именно таджик. Европейец не мог бы признать такого оружия, как фаланги. Кларк отмечает как лишнее подтверждение и тот факт, что в момент покушения сам Уртабаев отсутствовал, словно хотел, как говорит Кларк, заранее создать себе алиби. Он отмечает как странное совпадение и то, что с момента, как у Уртабаева начались личные неприятности, — дело с экскаваторами и другие, — угрожающие записки и покушения прекратились, как по мановению руки, словно автор их, занятый другим делом, лишен был возможности продолжать свою игру. Ну, вот и все. Инженер Кларк долгое время не решался поделиться ни с кем своими предположениями, зная, что Уртабаев коммунист. Он решил это сделать только сейчас, узнав об исключении Уртабае-

ва из партии. Я передаю дословно то, что мне сказал Кларк. Мне лично, право, не верится, чтобы все это было возможно. Мне кажется, что это, скорее, какое-то досадное совпадение...

— Спасибо, товарищ Полозова. Вы поступили очень правильно, тем более, что вы являетесь вместе с Нусреддиновым, насколько мне известно, большими друзьями Уртабаева, уверенными в его невиновности.

— Я выполнила свою обязанность. Но это не мешает мне оставаться при своем мнении. Я склонна считать, что в деле Уртабаева произошла какая-то трагическая ошибка, которую я не в состоянии разъяснить, но которая, я надеюсь, откроется.

— Ваше личное мнение, к сожалению, не вносит ничего нового. Что же касается товарища Нусреддинова, то он поступил бы правильнее, если бы не вдавался в критику решений партийного комитета и не втягивал бы в это дело комсомольцев.

— Товарищ Нусреддинов и я вовсе не представляем мнения комсомольского комитета, а только наше личное. Я думаю, каждый комсомолец и партиец, если у него есть предположения, что по отношению к одному из заслуженных партийцев была допущена ошибка, не только в праве, но даже обязан приложить все усилия, чтобы помочь в выяснении и исправлении этой ошибки. Это не имеет ничего общего с втягиванием комсомольского актива в дискуссию по поводу решений парткома.

— Можете быть уверены, что я первый буду приветствовать всякого, кто нам докажет, что мы ошибались в оценке Уртабаева.

— Я в этом не сомневаюсь.

— К сожалению, никто не в состоянии этого доказать. А все дело ограничивается ненужными разговорами о личных симпатиях и убеждениях. Эти обязательские разговоры надо прекратить.

— Хорошо. Вы больше их не услышите.

— Вот это правильно. Ну, до свидания,— он проводил Полозову до дверей.— Ну как, ты все еще не собираешься арестовывать Уртабаева? — обратился Сеницын к Комаренко.

— Разреши мне поступать по моему усмотрению. Я за это отвечаю.

— Боюсь, что берешь на себя слишком большую ответственность. Хотелось бы знать по крайней мере, на основании чего все это делаешь. Тоже личное убеждение или что-нибудь более существенное?

— Что-то тут, понимаешь ли, до конца еще не раскрыто...

— Боюсь, что в поисках таинственных политических заговоров можешь упустить нити, которые сами лезут в твои руки. Поверь мне, я дольше тебя работаю в этих краях и кое-какой опыт у меня есть: не бывает такого случая, чтобы в одной и той же местности работали параллельно две организации, из которых одна занималась бы специально вредительством и террористическими актами, а другая держала связь с Афганистаном. Такого не бывает.

— Да, я тоже так думаю.

— Поймав один кончик нитки, неизбежно разматываешь весь клубок.

— Если не оборвешь этого кончика. Все дело — правильно ухватить.

— А, по-твоему, Уртабаев не является такой ниткой?

— По-моему, нет. Во всяком случае не главной.

— Мудришь. Имей в виду, если Уртабаев останется на свободе, а на американцев повторится покушение, я буду считать своей обязанностью довести свои соображения до сведения ПП ОГПУ в Ташкенте.

— Это твое право. Можешь это сделать, не дожидаясь...

Комаренко надел фуражку, помедлил у дверей и бросил фуражку обратно на стол.

— Вот что,— сказал он, отколупывая ногтем со стола засохший сургуч.— Ты на меня не сердись. Я хотел тебе об этом рассказать раньше, но, понимаешь, факт-то настолько странный, что я сам иногда склонен думать, не показалось ли мне все это. Ну вот, одним словом, суди сам... Когда началось дело с этими записками, я поставил на ноги весь аппарат. Глаз с квартиры американцев не велел спускать. И—ничего, понимаешь,

хоть бы малейшая зацепка,—никакой! Ну вот, потом случилась вся эта канитель с фалангами. Полозова принесла мне на квартиру обе коробки. Я стал их разглядывать и, понимаешь, вижу...— Комаренко оглянулся на дверь, и, подойдя вплотную к Синицыну, взволнованно стал ему шептать на ухо.

— ... Понимаешь? Ну, я конечно мог ошибиться, я—не естествоиспытатель. Вызвал естествоиспытателя из совхоза. Чтобы не было никаких сомнений, велел Хасану убить и привезти еще две фаланги. Разложил перед ней все четыре. Думаю: выбирая одну из двух, может указать случайно. Но ведь если из четырех укажет именно на эту, значит, не иллюзия, а факт...

— Ну?.. — Синицын взволнованно схватил Комаренко за руку.

— Ну и подтвердила, точь-в-точь. Говорит: двух мнений быть не может. Баба-то конечно абсолютно не в курсе дела, и никакого тут внушения быть не могло.

— Но ведь тогда... ты же понимаешь сам, какой из этого вывод... Нет, нет... этого быть не может. Это совершенно нелепо. Зачем?

— Вот я тоже все думаю, спать по ночам плохо стал. Может, я этой бабе сам внушил? Не надо было ей ставить никаких вопросов, а просто спросить, не замечает ли она чего-нибудь. А то баба от старательности могла присочинить. Хотя все-таки очень уж странное совпадение... Стал я после этого наблюдать, присматриваться—ничего. И покушения прекратились, и записок больше нет. И вообще, хоть бы тень чего-нибудь подозрительного!

— Нет, это совершенно невероятно. Подумай сам логически: ну, с какой же целью? Это, брат, — твое воображение.

— Может быть. Ну вот, мое дело — сказать. Дай бог всякому!

... Комаренко сел на коня и шагом пересек площадь, окруженную бараками. Городок спал, закутанный в ночь, как в бурку, мутно мигая редкими освещенными окнами. Окна издали мерцали, как звезды. Через стекла окон, как в стекло телескопа, проезжающий мимо видел обособленные мирки чужой ночной жизни. Вот, придвинувшись близко к окну, тад-

жик в зеленой тюбетейке читает книгу. Вот, нагнувшись над столом, рябой пролаб в непослушном пенсне чертит схему на голубой графленой бумаге. Вот усатый детина, прижав к столу стриженую полураздетую женщину в сползающей с плеч сорочке, покрывает поцелуями ее лицо и шею. Чужая, обособленная жизнь: учеба, работа, любовь.

Комаренко пронул повод. Ему не раз приходилось заглядывать в чужую жизнь, незванным гостем блуждать по ее задворкам. Как семейный врач этих мест, он знал тут наперечет всех. Встречаясь с людьми, он не различал их по цвету волос, по окраске кожи, по внешним отличительным признакам. Он распознавал их, как врач распознает старых пациентов,—по особенностям их внутренней комплекции: не высокий блондин, а увеличенная селезенка; не коренастый рябой, а камень в печени; не грудастая рыжая, а расширение аорты. В окружающих людях Комаренко видел то, чего не мог разглядеть в них никто. В лице светлогоусого старшего техника, изуродованного небольшим рубцом, похожим на обычный шрам от пиндинки, он видел застрявшую и не вытасненную красноармейскую пулю, раздробившую это милостивое лицо еще в те времена, когда вместо гармской тюбетейки его украшала фуражка с врангелевской кокардой. В глазах неказистого встречного дехканина, окучивающего хлопок, премированного ударника и бригадира, в искусном взмахе уверенной руки, поднимающей кетмень, он видел блеск кривой басмаческой сабли, отрубившей головы трем пленным красноармейцам и напоследок собственному курбаше. Глядя на печально улыбающийся еще свежий рот увядающей шатенки, жены главного кассира строительства, проходившей часто мимо его окон с сумкой за продуктами, он видел в нем не искусно спрятанную золотую коронку, а жесткий комок неразжеванных бумаг, проглоченный этим улыбающимся ртом в день неожиданного обыска на квартире первого мужа мадам, начальника охранного отделения.

Комаренко не воспринимал людей, как нечто готовое и данное. Он видел их в процессе их длинного становления, со



всем грузом их социальной биографии. Люди проходили перед ним, как товарные поезда, обросшие на очередных станциях длинной цепью вагонов. Он осматривал их безошибочным взглядом, — простой стрелочник на пути, ведущем в социализм, — осматривал и пропускал дальше, редкие, те, которые не в состоянии были туда пойти, переводил на запасный путь, в ремонт, очень редкие — в тупик, в утильсырьё.

Лошадь споткнулась, Комаренко стянул поводья и шагом миновал последние хибарки «Самстроая». Городок спал, и уполномоченный не хотел тревожить его сна цоком неосторожных копыт. Он оглянулся назад. Вдали, на головном участке, горели огни, размеренно стучал трактор, выкачивая воду, прососавшуюся в котлован. Городок спал, на котловане шла работа. За все это отвечал он, Комаренко: за спокойный сон городка, за бесперебойный стук трактора, за нормальную работу всего строительства. Чувство большой ответственности не тяготило, наполняло приятной гордостью. Уполномоченный широко расправил грудь и подобрал повод. Лошадь тронулась мелкой рысцой. Над головой развороченным муравейником кишели звезды.

Уполномоченному вспомнилось твердое, озабоченное лицо Синицына.

«Все имеют право ошибаться, — подумал он отчетливо, — все, кроме меня. Я лишен права промаха».

И сейчас же, как горькая реплика:

«И все же я делаю промахи. Да, да, нечего закрывать глаза. Кристаллов бежал — раз. Я не сумел раскусить Кристаллова. Этот тип несколько месяцев процветал у меня под боком. Мало бы, что не было никаких данных. Если есть данные, всякий дурак сумеет. Теперь есть данные, но нет Кристаллова. Прوماх... Немировский, правда, из'ят, но из'ят с большим опозданием, после того, как успел разладить строительство. Все материалы по обвинению Немировского собраны мною. Что же из этого? Надо было собрать раньше. Ссылка на пассивное сопротивление и слепоту Еремина — не оправдание. Опять промах... Теперь Уртабаев. Абсолютно неожиданно. Ни тени подозрения. Случайное донесение.

Если Уртабаев действительно во всем этом повинен, единственный честный выход — просить о переводе на низовую работу...»

Комаренко закусил губу. Он считал себя хорошим чекистом, гордился, что видит людей насквозь. И вдруг — Уртабаев. Прوماх с Уртабаевым был бы непростителен. Чекист, сделавший такую ошибку, неспособен нести ответственность за безопасность строительства.

«Если Уртабаев виновен, надо подать в отставку и перебраться на другую работу. Пойду в кооперацию муку развешивать».

Конь посторонился и шарахнулся в сторону. Из мрака навстречу вынырнула всадник, нет, всадница и, хлеща лошадь, пролетела мимо.

Комаренко долго и недоуменно смотрел вслед удаляющейся Синицыной.

После ухода Комаренко Синицын потушил свет и лег на постель не раздеваясь. Он долго лежал с раскрытыми глазами, стараясь что-то поймать. Это мешало, как зубная боль, неизвестно под какой пломбой. Что это? Валентина? Уртабаев?

Он подумал в первый раз, что, может быть, переутомился. Это бывало уже с ним раньше, лет шесть тому назад. Тогда перед глазами в течение целых месяцев носилась неотступно маленькая черная точка, неуловимая и назойливая, как mosquito, но никакого внутреннего нитя он тогда не ощущал.

Он хотел уже встать, зажечь свет, взяться за какую-нибудь работу. Тогда хлопнула дверь, и вспыхнуло электричество. В комнате стояла Валентина — Ты дома?

Он сел на кровать, щурясь от света — Да, дома... Выкроил свободный вечер и вернулся пораньше домой, хотел поговорить с тобой. Очень огорчился что не застал тебя.

— Я была у Уртабаева.

— У Уртабаева?

— Не делай таких удивленных глаз. Нет, это не то, что ты думаешь. Я тогда просто шутила. Не бойся, он никогда не был моим любовником.

— Зачем же ты к нему ходила именно сегодня?

— Пошла предложить ему, что проведу с ним сегодняшнюю ночь. И знаешь, что он сделал? Он меня выгнал вон. Ну, выпроводил, одним словом, очень ласково, но решительно...

— Зачем ты это сделала?

— Знаешь, это исключительно честный человек и прекрасный партиец. А вы, дураки, исключили его из партии. Половина из тех, которые голосовали, не стоят его подметки.

Синицын стал крутить папиросу. Курит он редко, табак в бумажке топорщился и, взъерошенный, набухал в пальцах, пока сквозь пальцы не высыпался на пол. Он скомкал бумажку и бросил в угол.

— Ты выкроил сегодня для меня специально вечер, хотел со мной поговорить и расстроился, что я ушла. Хорошо, я тебе за это расскажу, почему я туда пошла, если тебе интересно. Я верила во всю эту историю с басмачами в Афганистаном. Я верила, что он виноват, я знала, что после того, как его исключат из партии, ему ничего не остается, как пустить пулю в лоб. Все равно, сегодня ночью он будет арестован. Я думала, что он покончит с собой, не дожидаясь ареста, и пошла провести с ним эту ночь. Он меня столько раз пролил уйти от тебя и жить с ним. Я знаю, что он меня действительно любит, больше, чем кто бы то ни было. Я не сошлась с ним потому, что он мне никогда особенно не нравился. Но я так долго водила его за нос, оставляя ему всегда капельку надежды, что решила—меня от этого не убудет, а человеку могу дать перед смертью несколько часов счастья. Я пришла к нему и сказала, что остаюсь у него эту ночь. Он в первую минуту очень обрадовался, потом спросил меня—верю ли я, что он виноват? Я сказала, что убеждена в этом, но что это не мешает провести мне с ним его последнюю ночь. Он наверное подумал, что я, должно быть, очень его люблю. И он отказался. Понимаешь, отказался. Сказал мне просто, что не хочет, чтобы я с ним сходилась, будучи уверенной в его предательстве. Что он и не думает

покончить с собой. Он знает, что не виновен, и рано или поздно сумеет это доказать. И, только тогда, когда он сможет с себя это пятно, он будет чувствовать себя достойным обладать мною. Я знаю, в этом много наивности и восточной романтики. Он мог прекрасно сойтись со мной и потом доказывать свою правоту. Но он думал, что, сойдясь со мной, он брал бы твою жену, жену человека, который сегодня исключил его из партии, и он не хотел воспользоваться этой невольной мстостью, которая сама лезла ему в руки. Он перещеголял тебя с твоим благородством, дал тебе сто очков вперед. Я знаю, что он не виновен, что его оклеветали, а ты и тебе подобные во имя сухой формулы партийного устава, не задумываясь, спешили похоронить живого человека, который лучше и благороднее вас и которого я люблю. Я теперь знаю, что люблю его. И больше я тебе не жена. Кончилось.

Синицын взял со стола тубетейку и медленно пошел к двери.

— Ты уходишь? На ночь глядя? Куда?

— Пойду на котлован.

— На котлован?—Валентина посмотрела на него внимательно.—Слушай, там взрывают скалу, может быть несчастный случай. Ты хочешь?..

— Ночью не взрывают, да и аммонала нет, весь вышел. Просто пойду, посмотрю, как работает ночная смена.

— А-а... Ну, иди...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В этот день с утра Кларк получил извещение, что пришли из Сталинабада бетономешалки и компрессоры для бурения скалы и стоят на той стороне у переправы. Он решил дожидаться их в местечке и лично принять машины. Ждать пришлось долго,—на целое утро переправу закупили возчики с лесом, дождавшиеся уже два дня своей очереди. Бетономешалки привезли под вечер. Приняв машины, Кларк отправился к Киришу, просить его отпустить леса для шахтного под'емника: леса привезли много, а когда прибудет следующую

щая партия—неизвестно. Кириш внимательно перебрал пачку срочных заявок на лес со всех участков и наконец уступил,—Кларк обещал освободить на-днях два экскаватора.

Обрадованный победой Кларк послал шофера за Полозовой и за прорабом, ему хотелось навёрстать потерянный день и сегодня же начать подготовительные работы по постройке подёмника.

Вызвали плотника. Пришел бородастый дядя в картузе и почтительно остановился у приложи.

— Вы будете товарищ Пригула?—спросил прораб.

— Пригула, Климентий, он самый!

— Нам вот надо ставить на котловане шахтный подёмник. Возьметесь?

— Почему бы нет. Можно.

— Вы ставили уже когда-нибудь?

— Шахтенный поденник? Нет, не приходилось.

— Не поденник, а подёмник. Ничего, дадим вам чертеж и все измерения. Будете работать под руководством американского инженера.

— Можно, — согласился Климентий.

Кларк на листке бумаги начертил схему сооружения и протянул листок плотнику. Климентий долго вертел листок в пальцах, пристально всматриваясь в рисунок, словно в ребус, когорый предлагали ему разгадать.

— Ну, как? Понимаете?

— На бумажке-то оно всегда выходит так точно, а начнешь строить, что получится, неизвестно.

— А вы в чертежах-то разбираетесь?—подозрительно покосился прораб.

— Мы—плотники. Наше дело из дерева строить, а не из бумажек,—обиделся Климентий.

— Ну, брат, без чертежа тут своим умом не поставишь. Нет ли у вас там в артели кого-нибудь, кто бы в чертежах понимал?

— Не такие штуковины строили и без бумажек. Ты вот расскажи, какой он из себя, твой поденник, сколько на высоту, сколько в ширину, а насчет нашей работы не сумлевайся, сделаем.

— В шахтах ты бывал? Копера видел?

— Бывал. А где же у тебя тут шахта?

— Да, не в шахте дело. Принцип тот же...

— Насчет принципа не знаю, не видал и врать не хочу.

— Чудак ты человек, копер-то видел? Деревянная башня, кверху сужается, наверху колесо.

— Знаю.

— Ну, так и тут, то же самое, только меньше: уже, и не лифт в нем ходит, а ковш от экскаватора. И на высоте, там, где колесо, отходит в бок эстакада.

— А выстукада тоже деревянная?

— Эстакада — это, как мостик, узкий, чтобы по нем ковш в бок мог от'ехать. Башня сама стоит внизу, в котловане, высотой метров двадцать пять, колесо наверху вертится, вытаскивает наверх ковш, как из колодца. Потом, надо ковш отвести в бок. Для этого строится на этой высоте мостик от башни до самого края котлована, так, чтобы ковш, проехав на колесиках по этому мостику, высыпал камень за край котлована, на кавальере.

— На кавальерии? Это значит, лошадыми его вывозить будете?

— Да не на кавальерии, а на кавальере, на насыпи, значит.

— А ты так и говори. Нас по-американски не учили,—Климентий покосился на американца.

— Ну как, понимаешь?

— Что же тут понимать, дело простое. Ты вот мне место покажи, где этот копер стоять должен, а я тебе скажу, сколько дерева на него нужно и какого.

— Что ж, давай попробуем. Мы едем сейчас на участок, садись с нами, посмотришь.

Они уселись в машину вчетвером.

На котловане теперь работали в три смены. Днем и ночью громыхали тачки, днем и ночью взлетали на воздух один за другим два грохочущих ковша и, опрокидываясь на лету, высыпали в реку новые порции камня, и камень, как сахар, растворялся в кофейной гуще реки. Ночью над котлованом, как прирученная луна, восходил белый электри-

ческий шар, виденный издали на десятки километров, и внизу, по узкому карнизу дорожки, бежали вереницей тачечники с напудренными светом лицами, опрокидывали тачку, бежали назад, гуда и обратно, туда и обратно, как беспоконная вереница лунатиков по обрывающемуся карнизу одинокого дома.

Когда машина подехала к городку, была уже полночь, мрак здесь был исколот булавками света. Над котлованом висел белый раскаленный шар, но котлован безмолвствовал, безмолвные стояли экскаваторы, с неподвижной, пагетически нацеленной в небо стрелой.

Кларк успокоился.

— Почему стоят оба экскаватора? Нехватило горючего?

Добродушный прораб, худощавый Андрей Савельевич, тоже встревоженно приподнялся на сиденьи.

— Нет, горючее только вчера подвезли. Не пойму, что это такое. Не могли же застопориться сразу два экскаватора.

Машина остановилась, они вчетвером стали карабкаться на кавальер. На краю котлована стояла группка людей. Кларк разглядел Кириша и Синицына. Дело становилось серьезным.

— Что случилось?

Синицын посмотрел на часы.

— Дальверзинцы не вышли на работу. Вся третья смена потребовала прибавки пятидесяти копеек с кубометра. Знают, что нечем их заменить, а работу надо закончить к сроку, вот и попались на удочку к рвачам.

Полозова перевела Кларку.

Кларк растерянно смотрел в опустевший котлован.

— У нас нет другого выхода, как согласиться на их требования, — обратился он к Киришу. — Каждый рабочий пользуется затруднениями предпринимателя, чтобы урвать лишний цент. Против этого ничего не поделаешь. До окончания работ по котловану осталось всего несколько дней, и каждая смена простоя обойдется гораздо дороже, чем эти пятьдесят копеек.

— Дело не в пятидесяти копейках, дорогой мистер Кларк, — нахмурился Кириш. — Нельзя поощрять рвачества.

Сегодня дадим пятьдесят, завтра потребуют рубль. Мы — не капиталистические предприниматели, у которых каждую прибавку надо вырывать из глотки забастовкой. У нас рабочий обеспечен во всех отношениях, за исключением разве жилищного, — но этого на деньги не купишь, — и ставки здесь больше, чем во всем Союзе. И потом у нас далеко не всякий рабочий пользуется затруднениями, чтобы вырвать у своего рабочего государства деньги, которых не заработал. Вы еще мало видели наших рабочих. Только слабый деревенский элемент поддается на кулацкую агитацию.

— Все это очень хорошо, но у нас нет другого выхода! Перейти, опять на две смены?

— А вот выход сейчас постараемся найти, — Кириш оглянулся на Синицына.

— Товарищ Полозова, — позвал Синицын. — Я только что послал Нусреддинова оповестить ребят и срочно организовать комсомольскую бригаду. Берите машину и поезжайте в местечко. Мобилизуйте всех комсомольцев, которых застанете на квартире.

— Есть, товарищ Синицын.

Она быстро сбежала по кавальеру.

С неба медленно отклеивалась сизая пленка туч, и небо всплывало из-под нее четкое, как сводная картинка со своим серебряным кружком луны, со сплошной путаницей мерцающих фонариков, со своим городком, отпечатавшимся сплошным пятном синего мрака, исколотого булавками света. Нехватало на нем только людей, скользящих, как канатобегцы, по изворотливому гребню кавальера, и американских экскаваторов, застывших с костлявой рукой, поднятой, как для фашистского приветствия.

— Экскаваторы в исправности? — спрашивал у кого-то Кириш.

Кларк молча следовал за ним.

— Будьте готовы, товарищи, через час возобновим работу.

Экскаваторщик кивнул головой. Он ежился в своей теплой кожаной куртке.

— Что с вами? Вы нездоровы?

— Малярия треплет. Это ничего.

— Чего же вы не остались дома? Можно было бы договориться с драггером первой смены, чтобы вас заменил.

— Нельзя. Заболел. Воспаление легких, кажется. Драгер второй смены проработал за него две смены под ряд.

— Везет, так везет. Ну, а вы-то выдержите? Завтра найдем вам заместителя.

— Выдержу. Не впервой.

Он поднял воротник кожанки и залез в кабинку.

— Андрей Савельич, а Андрей Савельич, — дергал прораба за рубаху Клементий. — Где же копер-то стоять будет? Там, внизу нешто?

— Да, отстань ты от меня со своим копром. Видишь, тут не до этого.

— А вы мне только покажите, где это будет. Я сам все посмотрю и вымеряю.

— Вон там, внизу. Только надо еще выбрать в этом месте три метра скалы, тогда можно и ставить. А раз некому выбирать, значит, и постройку подъемника отложить придется.

Клементий вытащил из кармана складной метр и стал спускаться в котлован.

Через некоторое время Кларк, растерянно бродивший по кавальеру, услышал вдали шум мотора и всплески хоровой песни. Песня напоминала ту, которую в Москве пел проходивший по улице отряд красноармейцев.

Несколько минут спустя внизу, у насыпи, остановилась лерковая машина. Из машины высыпал десяток парней, почти мальчиков, и одна девушка. — Кларк узнал Полозову. Парни с пением карабкались на кавальер, словно хотели взять его приступом. Кларку показалось на минуту, что он присутствует на каких-то ночных маневрах. Вскарабкавшись наверх, комсомольцы по-военному выстроились перед Синицыным.

— А где же Нусреддинов?

— Идет. Мы его обогнали на дороге.

Нусреддинов с комсомольцами подымался по другой стороне. Они выстроились двойками, в ответе электрического шара их смуглые лица казались посеребрёнными. Зазвенела песня, и комсомольцы гуськом стали сбегать по усту; пам отвесной тропинки на дно котлована.

— Нусреддинов! — позвал Синицын.

— Слушаю, товарищ Синицын.

— Плохой из тебя организатор. Не дело брать тачку и работать самому, это каждый может. Секретарь комсомольского комитета должен уметь организовать. Что же ты больше двадцати пяти человек собрать не смог?

— Ночь, товарищ Синицын, в полчаса всех не разыщешь. Завтра организую, как следует, а сегодня не сумел собрать больше, — придется самому поработать.

Он улыбнулся, по темному лицу скользнул поперечный блик. Нусреддинов, не дожидаясь ответа, сбежал в котлован.

— Товарищ Кларк!

На выступе тропинки, спускавшейся в котлован, стояла Полозова.

— Поезжайте домой. Я тут останусь с ребятами поработать. Приезжайте в утренней смене, буду вас ждать здесь.

Внизу уже звенели первые тачки в первые удары кирки.

— Андрей Савельич, а Андрей Савельич! — дергал запарившегося прораба за рукав Клементий, — я вымерил. Построить можно. Завтра лес привезти надо. Я сам выберу. Лес привезла подходящий. Послезавтра начнем. Только вот скалу, говорите, выбирать надо это они, что ли, выбирать-то будут? — он указал на комсомольцев.

— Они, а кто же?

— Нешто у них сила есть? Не выберут!

— Сколько смогут, столько и выберут.

— Долго выбирать будут. На такую работу мужиков здоровых надо, а такие дитяты и в месяц не выберут. А без этого никак строить нельзя?

— Сказал тебе — нельзя. Не нравися, иди и выбирай сам. Критику навредить каждый умеет, а когда надо по мочь, выходит — кишка тонка.

Прораб пошел к экскаватору.

Ковши полетели вниз и опять взвились вверх. Внизу под тяжестью тачек жалобно скрипели доски, и люди, сколько ж, толкали их с надугой вперед. Они держали ручки тачек, как крестьянин держит омач, напирая на него всем те-

лом, и тачка спотыкалась и застревала, как омач в каменистой почве.

«Нет у ребят сноровки, — подумал Кларк, — все равно тех двух бригад не заменят».

Он все еще продолжал стоять на гребне кавальера, нерешительно поглядывая вниз. Полозова с парнем в зеленой тюбейке грузила вываленный из тачек камень в ковш экскаватора. Кларк медлил. По сути дела, делать ему было нечего, но уходить почему-то было неловко. Он мялся на месте, делая вид, что присматривает за работой, и отдавая себе одновременно отчет в нелепости своей роли праздного наблюдателя. Он поднял глаза, разыскивая прораба, словно надеясь найти указание для себя в том, что делает сейчас прораб. По другую сторону кавальера стоял бородатый мужик в картузе, плотник, поглядывая вниз. Он топтался на месте так же нерешительно, как Кларк, словно тоже не знал, что ему с собой делать. Кларку эта аналогия показалась обидной, он повернулся уже, чтобы сойти к автомобилю, когда вдруг увидел, что бородатый спускается по тропинке в котлован. Кларк остановился из-за любопытства. Бородатый достиг дна и, протиснувшись между работающими, поднял с земли свободную кирку. Минуту он постоял в нерешительности, потом повернулся и, подойдя к самому худенькому, невысокому комсомольцу, рассыпавшему на полдороге свою тачку, мягко отстранил его рукой, сунул ему кирку — как ребенку, чтобы не обиделся, дадут в руки игрушку — и, навалив тачку, плавно покати ее к ковшу. Внизу одобрительно зашумели.

Кларк продолжал стоять. Положение его стало все более неловким. Ему казалось, что, если он повернется сейчас и станет сходить к автомобилю, все оглянутся в его сторону.

Тогда случилось совершенно неожиданное. Ковш одного из экскаваторов, нагруженный доверху, не взлетел. Снизу закричали, дернули цепь. Ковш продолжал неподвижно лежать.

Кларк быстро пошел к остановившемуся экскаватору и натолкнулся на прораба, который вытаскивал из кабинки

неподвижного драгера. Кларк помог уложить драгера на камни.

— Что случилось? — прокричал он по-английски в ухо прорабу, и прораб, не понимая английского, понял и ответил:

— Малярия.

Кларк тоже понял. Они уложили упавшего в обморок драгера, и прораб побежал за водой. Кларк расстегнул драгеру куртку, из-под кожанки дунуло жаром. Он положил больному руку на лоб. Лоб горел, у человека было не меньше сорока градусов температуры. Прибежал прораб с водой и стал приводить в чувство драгера. Драгер открыл глаза, глаза его горели, и в глазах беспокойной каплей ртути прыгали зрачок.

Кларк поднял драгера за плечи и жестом приказал прорабу подхватить больного за ноги. Они снесли его по насыпи вниз, в ожидавшую машину. Кларк рукой показал шоферу по направлению к городку, сам стал карабкаться обратно на кавальер. Прораб в молчании следовал за ним. Они остановились у затихшего экскаватора. Прораб махнул рукой. В переводе на слова это означало: «Капут!»

Кларк взглянул вниз, где у неподвижного ковша столпилась кучка людей, потом с сожалением посмотрел на свои снежно-белые брюки, повернулся и быстро поднялся в кабинку.

Прораб разинул рот.

Ковш вздрогнул и взлетел вверх. Внизу радостно зашумели, за перемычкой разгневанно хлопнула вода.

В кабинке густо пахло маслом. Кларк уселся поудобнее, и, засучив внешне побуревшие рукава, стал размеренно, как циркулем, отмерять дреглейном расстоянием от котлована до реки, сначала медленно, потом быстрее и быстрее.

Внизу грузно громыхали тачки, скрипящая несмазанным колесом, и кирка раскалывала камень, и от соприкосновения их, как от столкновения слов «кирка» и «камень», выскакивал односложный звук, похожий на звук «ка» с ударением на «к», как его выговаривают грузины. Скрип несмазанного

колеса, удар киркой: кир-ка, кир-ка, кир-ка...

Так пела работа. Кларк не слышал этой песни. Слышал ее один прораб Андрей Савельевич. Он все еще стоял в недоумении у экскаватора. Он был старый добросовестный работник, видевший на своем веку немало строителей, руководивший не одной работой еще в «старое время». У Андрея Савельевича было свое, выращенное годами, отношение к работе, своя азбука работы, заученная еще в то время, когда он бегал с тачкой, служил подносчиком, простая, как десять заповедей: «работа есть работа», «хозяину важно, чтобы работали побольше, рабочему, чтобы поменьше», «работать надо, чтобы есть», «кто может есть не работая, тот не дурак работать». Руководя работами, он защищал интересы хозяина, смотрел и требовал, чтобы работали побольше, и потому ценился как хороший работник. Когда на строительствах появились новые слова «энтузиазм», «ударничество», «соревнование», он встретил их скептическим прищуриванием глаз, как большевистские штучки, но не выражал своего неодобрения, и потому считался хорошим советским работником. По существу же, он привык, что у хозяев бывают свои причуды, свои «коньки» и что причуды эти надо уважать и не показывать виду; что над ними подтруниваешь,—ни один хозяин этого не потерпит. Иностранных специалистов, приезжавших на строительство, Андрей Савельевич уважал за то, что те работу понимали как работу без штучек и над штучками иронически щурились глаза. Они могли себе позволить делать это открыто, но и они соблюдали в этом общепринятые правила вежливости. Американский инженер, залезший ночью на экскаватор, чтобы работать всю смену простым драгером,—такое Андрей Савельевич видел впервые. Рассуждая нормально, это была тоже штучка, но она не исчерпывалась простой иронической улыбкой в глазу. Она нарушала всю азбуку. И Андрею Савельевичу было не по себе. Он чувствовал то, что вероятно должен чувствовать верующий, трудолюбиво и набож-

но проведший жизнь, которому вдруг, в последнюю минуту, после соборования, поп сказал по секрету, что никакого бога нет.

— Ишь шпарит!—подумал Андрей Савельевич, поглядывая на взлетающий и падающий ковш, который комсомольцы внизу с трудом успевали напрягать доверху.

Теперь он в свою очередь чувствовал себя неловко, один на гряде кавальера, и, оглядываясь кругом, раздумывал, что ему полагается делать в такой необычной ситуации. Стоять тут бесцельно наверху, когда работало даже заграничное начальство, было явно нехорошо.

— Кир-ка, кир-ка, кир-ка, — скрипело и звенело внизу.

Андрея Савельевича, как и Кларка, выручил случай. Снизу донесся крик, и один из комсомольцев упал, потом привстал и прислонился к стене.

Тогда Андрей Савельевич тихонько спустился вниз, будто шел констатировать несчастное происшествие. Очутьившись внизу, среди запаренных, блестящих потом людей, в общей суматохе, он незаметно поднял кирку и, нахлобучив на глаза тубетейку, стыдливо принял колоть камень.

Когда утром на работу явилась первая смена, она не сразу опустилась в котлован. У кавальера состоялся летучий митинг. Митинг открыл секретарь стройкома Гальцев, худой, белобрысый парень на длинных ногах. Возраст его не позволяла точно определить названная цыплячья белизна волос и ресниц, словно выгоревших на солнце. На строительстве закрепилась за ним кличка «египтянин», вероятно потому, что вид у него был такой, как будто спал он в складе на хлопке и не сумел отряхнуть: на голове, на веках, на небритом лице остался белый хлопковый пух.

У Гальцева с утра был неприятный разговор с Синицыным, стащившим его в четыре часа с постели,—один из тех разговоров, когда один говорит, а другой молчит. Как на зло, вчера—греха не утаишь—Гальцев на октябринах у

младшего бухгалтера распил бутылочку дубняка и, вернувшись домой в третьем часу, лег спокойно спать, ничего не зная ни о какой забастовке. Узнав о ней из уст Синицына, он пробовал было защититься вполне резонным замечанием, что не может же он каждую ночь сидеть на котловане, но Синицын так выразительно посмотрел на него и таким, необыкновенным в его устах, неприличным выражением охарактеризовал работу постройкома, что Гальцев больше слова не брал, решив твердо про себя поставить немедленно на ноги все рабочкомы.

В течение трех часов митинг был подоготовлен, собралось несколько сот рабочих, в том числе и вся вторая смена, только никто не явился из третьей смены. Знали, сукины дети, что речь будет итти о них, предпочли не присутствовать.

Взбираясь на кучу камней, которая должна была заменять трибуну, Гальцев почувствовал бурный прилив красноречия. Он умел агитнуть, речь свою обдумал на ходу и боялся только одного, как бы в увлечении не покрыть дезертиров матом. Это с ним бывало, по этой линии был даже один выговор. Окидывая взглядом собравшуюся толпу, Гальцев думал с горечью, что выговора за ночную бузу дальверзинцев ему не избежать и что спасти его может только исключительная активность и немедленная ликвидация прорыва.

Речь отгрохал хорошую, обстоятельную, рвачей почистил отборными словами, с песочком, но без мата, зацепил и промфинплан, отметив, что комсомольская бригада перевыполнила задание на одиннадцать кубометров. Фразы готовые, привычные, такие, какими поставляли их газеты,—в хорошем лозунге слова не переставишь,—летели из него, как из мясорубки: и ликвидация кулака как класса, и шесть условий, и овладение техникой. От рвачей из ночной смены, пропущенных через эту мясорубку и изрубленных на котлеты, остались лишь, как дощечки на кладбище, одни позорные ярлыки: кулацкие подголоски, предатели рабочего класса, враги социализма, а сами, похороненные под ними

люди давно перестали существовать.

Он всегда говорил речь, как играл в козла, заранее приберегая козыри, чтобы не дать себя побить неожиданным вопросом или возгласом из публики. На этот раз игра была верная, в руках три крупных козыря: Кларк, Андрей Савельевич и плотник Клементий. Козыри стояли в толпе потные и измазанные. Гальцев бросал их неторопливо, по одному, начиная с Клементия,—сознательного рабочего, ставшего на ликвидацию прорыва на чужом участке,—перешел к Андрею Савельевичу—примеру единения инженерно-технического персонала с рабочей массой в общей борьбе за промфинплан; когда же наконец заговорил об американском инженере, проработавшем всю ночную смену вместо свалившегося драгера, толпа забулькала рукоплесканиями, кто-то крикнул: «Качать!» Отбивающегося недоуменно Кларка подхватили и, несмотря на его отчаянное сопротивление, раза четыре подбросили на воздух, потом церемонно подняли с земли его упавшую тубетейку, помогли отряхнуть брюки и отпустили, виновато улыбаясь.

Гальцев сошел с импровизированной трибуны. Он был доволен речью и произведенным эффектом. Спускаясь по камням, он оступился и сорвался прямо в объятия Клементия.

— Ты бы им сказал парочку слов, товарищ Притула,—предложил он, придя в равновесие, словно его, Притулу. Он только и разыскивал.

Клементий от неожиданности снял картуз.

— Это я-то?

— Можешь говорить?

— А то, языка у меня, что ли, нет?

— Лезь тогда на трибуну. Слово имеет товарищ Притула, плотник, проработавший всю ночную смену с комсомольской бригадой.

Клементий немного сконфуженно мял в руках картуз.

— Так что, товарищи, мне тут поденник ставить надо, то-есть копер, значит. С выступкой, чтобы по ней камень отъезжал на колесиках, прямо на кавалерию. И вам подмога, и нам, плотникам, интересно. Только не люблю я



дела откладывать. Сказано делать — делай. А тут мне Андрей Савельич говорит: нельзя, говорит, ставить, камень убрать некому. Вот, говорит, погоди, пока они выберут. А я говорю: да нешто такие выберут? Оно выходит—одна задержка. А мне еще давеча Андрей Савельич говорит: копер-то, он не простой, а с принципом,—без бумажки не построишь. А ему говорю: строили мы и почище, и мельницы строили, и ветряки строили, нешто нам копра не построить? Покажи, говорю, где строить надо, построим. А тут, выходит, камень не убран, и строить, говорит, не убрамши камня, нельзя. А работу кто ж любит откладывать: сказано — сделаю, значит, делай. И камень, выходит убрать надо, а то как же ставить копер, не убрамши? Обязательно надо. А то, выходит, не работа, а одна задержка...

Мало кто понял, о чем говорил Клементий, а говорил он долго, даже вспотел и, слезая с груди камней, вытер лицо картузом. Все громко хлопало, не столько тому, что он говорил, сколько количеству вывезенных за ночь тачек. А он, сойдя с трибуны, еще взволнованно договаривал какому-то рыжему, уставившему на него свои выцветшие круглые глаза,—такие бывают у ценят.

— А копер-то, он не простой, с выстукадой. У меня на одну выстукаду лесу больше пойдет, чем на весь копер. А лес-то привезли подходящий. Самый раз теперь взять, а то растащат...

Тогда попросил слова тачечник из второй смены и сказал, что рабочий, за пятьдесят копеек подставляющий ножку строительству,—не рабочий, а просто сука, что бригады Кузнецова и Тарелкина не впервые бузят и срывают работу и что таким рабочим надо объявить бойкот, чтобы даже никто с сегодняшнего утра с ними не здоровался и не разговаривал, а будет заговаривать—не отвечать. И на работу, хоть бы и захотели встать, пускать их больше не надо. Пусть сначала публично, перед всеми рабочими, признают, что поступили, как последние суки, и выгонят рас-

кулаченных, которые их на это подбивали, а тех чтобы без никакого разговору передать в ГПУ.

Все кричали: «Правильно!», «Так их, сукиных детей, и надо!»

Мужик в соломенной шляпе закричал, чтобы это вписать в резолюцию.

Гальцев тут же, на клочке бумаги, написал резолюцию и зачитал ее вслух. пропустив только предложение о передаче зачинщиков в ГПУ. Он доказывал в течение пяти минут, что ГПУ—орган диктатуры пролетариата для борьбы с особой важности врагами советской власти и трудящихся. Ему закричали, что это и есть враги советской власти и настаивали, чтобы непременно в ГПУ И Гальцев, видя, что всех не перекричишь и что выходит, будто он защищает рвачей, записал этот пункт в такой редакции, что если ГПУ найдет нужным то собрание просит выяснить личности зачинщиков.

Резолюция была принята единогласно

Три дня спустя, наблюдая за работой комсомольской бригады, Кларк мимоходом спросил, что случилось с теми двумя забастовавшими бригадами, продолжают ли они бастовать или их уволили.

— Хотя встать на работу на старых условиях. Вчера вышли в полном составе, а рабочие не пустили их в котлован. Вынуждены были вернуться обратно в барак. Бойкот.

— Раз признали свою ошибку, почему же не пускают их на работу?

— В том-то и дело, что не хотят публично признаться. Амбиция не позволяет.

— Ну, хорошо, а как же они живут, ничего не зарабатывая уже четвертый день? Надо их тогда просто уволить. Не собираетесь же вы их взять измором?

— То-есть как это взять измором? Едят то же, что и все рабочие. Наоборот, сегодня заявили, что, если им не дадут встать на работу, устроят голодовку.

— Это замечательно! А чего же они, собственно говоря, хотят? Их кормят,

не дают работать? Какое же это наказание? Это—отдых!

— Наказание не в этом, а в том, что никто из рабочих с ними не разговаривает и руки не подает, а они делают гордый вид, что им наплевать. Сидят, как мыши, в своем бараке и голов не высовывают. С позавчерашнего дня не посылают даже за обедом. Приходится чосить им в барак.

— Чем же это кончится? Хотите сломать их упрямство? Это неплохо. Плохо то, что в результате от этого страдает строительство. Ведь комсомольцев, которые их сейчас замещают, пришлось снять с других работ, чтобы залагать один участок, надо было обнажить другой. Амбиция—не такая уж плохая черта, может, и не особенно стоит ее ломать. Тем более, что, отказываясь от своих чрезмерных требований, они тем самым фактически признают свою ошибку и готовы исправить ее на практике. Разве уж так важно, чтобы это сделать публично и на словах?

— Важно, чтобы через неделю или через месяц у нас не было бы опять такой же истории. А для этого надо из этой забастовки сделать все напрашивающиеся выводы, то-есть на ней надо воспитать не только эти две бригады, но и всю остальную рабочую массу строительства.

— Вы смотрите на строительство с точки зрения педагогики, а я смотрю на него с точки зрения скорейшего выполнения намеченных работ. Это противоречие, повидимому, тормозит ваше строительство не только в этом конкретном случае.

— Наоборот, милый товарищ Кларк, наоборот. Если бы мы не воспитывали рабочих в процессе самих работ, то с тем человеческим материалом, с которым мы начали строить, мы наверное не были бы в состоянии осуществить ни одного строительства. В этом весь секрет наших успехов.

Кларк качнул головой.

Из котлована вылезали комсомольцы, смена как-раз кончила работу, и они с веселым шумом окружили Кларка, осыпая его улыбками.

Со времени памятной ночи, проработанной им на котловане, Кларк везде, куда бы он ни повернулся, встречал эти улыбки. На улице, в столовой, на кавалере, в кино незнакомые коричневые парни встречали его улыбкой, как дружеским поднятием шляпы. Кларк на первых порах даже удивлялся, откуда у него появился такой широкий круг знакомых. В приветствии этом было больше, чем знакомство. Так приветствуют не просто знакомого человека, а своего человека. И Кларк отвечал улыбкой. Чувство большого одиночества, которое он ощущал здесь в первые недели своего приезда, постепенно растворялось в этой мягкой теплоте встречных улыбок людей, с которыми он не обменялся ни одним словом, но улыбающиеся глаза которых предлагали дружбу.

Возвращаясь как-то поздно вечером в городок, где ждала его машина, он заметил, что кто-то следует за ним по пятам. На другой вечер, оглянувшись, он заметил идущую за ним в десяти шагах темную фигуру. Это не могла быть простая случайность. Кларк рассказал о своих вечерних встречах Полозовой. Она, словно извиняясь, объяснила, что комсомольцы, узнав о покушении с фалангой, опасаются, чтобы с Кларком чего-нибудь не случилось во время его ночных возвращений через пустырь, и решили попеременно провожать его с участка в городок. Кларк пророботал что-то невнятное, нельзя было понять—доволен он этой опекой или нет. На самом же деле он просто был смущен, но в смущении было что-то теплое и приятное. Расхаживая по строительству, он уже не оглядывался, как прежде, с опаской по сторонам. Ощущение наличия вокруг многочисленных незримых союзников было радостно и ново.

И сейчас, окруженный комсомольцами, он хотел им сказать что-нибудь приятное, дать им понять, что он ценит их дружбу и сам чрезвычайно хорошо к ним относится. Он в затруднении подбирал слова, как писатель, потеющий над автографом, который надо надписать не откладывая, экспромтом и который тем труднее выдумать, что знаешь заранее, — он будет ходить по рукам.

Тогда, через группу молодежи, пробрался к Кларку «египтянин» и попросил Полозову перевести, не согласится ли Кларк выступить сегодня вечером на собрании рабочих и ИТР по делу Уртабаева. Нужно сказать всего несколько слов, разъяснить дело с экскаваторам, и хорошо бы было, если бы выступил американский специалист. Мурри отказался, — никогда публично не выступал. Кларка помнят еще с первого выступления, знают о его участии в ликвидации прорыва на котловане, и было бы очень хорошо, если бы выступил именно он.

Кларк отрицательно мотнул головой. Гальцев пробовал настаивать, но Кларк отрезал решительно, что выступать публично не умеет, по экскаваторам спеццем не является и в роли эксперта ни в коем случае выступать не собирается. Напоминание о его первом выступлении в бараке, в устах Полозовой, которая, по существу, перефразировала лишь дословно слова «египтянина», задело его, как насмешка. От выступления этого он сохранил маленькую обиду, которой не показал ни тогда, ни потом, о которой даже не догадывалась Полозова. Обида со временем стерлась, но воспоминание об этом эпизоде, в котором, на его взгляд, он оказался в смешном положении, было Кларку попрежнему неприятно.

Гальцев, убедившись, что американца не уговорить, вежливо извинился и зашагал на своих длинных ногах к городку. Он был озабочен сегодняшним собранием, вся организационная сторона которого лежала на его плечах. О деле Уртабаева циркулировали слухи, все более невероятные. Все уже знали, что Уртабаев не арестован и свободно уехал в Сталинабад. Слухи надо было пресечь в корне, показать беспартийным рабочим, что это никакой не партийный секрет, а что бороться с Уртабаевыми должна вся рабочая масса. Гальцеву как антрепренеру сегодняшнего собрания хотелось обставить его с возможной помпой. Выступление Кларка, который — сам этого не подозревая — пользовался среди рабочих большой популярностью, могло быть гвоздем собрания. Да и вообще выступление аме-

риканца на ряду с русскими, таджиками узбеками и киргизами давало бы повод для произнесения не плохого заключительного слова о международной солидарности. Гальцев был явно раздражен, он ускорил шаги, и широкие штаны на его тонких ногах трепыхали на ветру, как флажки.

У входа в юрту стройкома он с размаху столкнулся с выходящим оттуда Тарелкиным.

— Я к тебе, Гальцев. Второй раз захожу.

— Зашел, подожди. Не мне же целый день в стройкоме ждать твоего визита. Долго пришлось бы сидеть. У меня дел, как у тебя волос, и все успеть надо. А ты, слава богу, за три дня отоспался. Хорошо, хоть на четвертый удосужился зайти. Ну, ну, садись, по слушаем, что нового надумал. Голодовку думаете объявить? Слышал, слышал. Что ж, дело хорошее, оно без работы конечно и аппетиту нет. Скучно наверное шамать каждый день, ничего не делая. Можно для разнообразия и попоститься.

Тарелкин раздраженно передернулся.

— Я пришел тебе сказать, что пора эту волюнку кончать. Не хотите нас на работу пускать, так давайте расчет. Сам себе работу найдем.

— Договор ты заключал не со мной не со мной его и расторгать будешь.

— Чего вам от нас надо?

— Ты резолюцию общего собрания читал? Вот этого самого! Признать, что поступили неправильно и что наш, советский рабочий так не поступает. Это раз. А во-вторых, больно уж часто что-то бузите. Не мешало бы вам немножко бригаду почистить, приглядеться, кто у вас там мутит. Дело простое, не над чем было три дня думать.

— Для тебя, может, и простое, для нас—нет. Никто нас не мутит, у каждого своя голова, и каждый сам себе хозяин. А насчет того, что неправильно, наше дело—просить, ваше—не дать. Каждому интересно получить побольше.

— Это чье же, ваше и наше? А я вот думал, что все наше. А резолюцию-то кто делал, наши или ваши?

— Ты меня на слове не лови.

— Ты, Тарелкин, видать, три дня думал и недодумался, почему это рабочие разговаривать и работать с вами не хотят. Это кто же будет — наши или ваши?

— А нам что? Прощение у них на коленях, что ли, просить? Не дождутся, больно надо.

— Эх, Тарелкин, Тарелкин! У кого прощения не хочешь просить? У своего класа? Да он, класс, тебе снисхождение оказывает, что разговаривает с тобой. Поддал бы раз коленом под зад, и кагись от наших к вашим. Амбиция тоже заела! Перед кем ломаешься? Перед своим же рабочим, товарищем! Ишь, стыд какой! Не выходить на работу, рвачей слушать не постыдились, а прощение попросить у своего брата, рабочего, им стыдно.

— Ну, одним словом, подговаривать нас — никто не подговаривал, и выгнать из своей бригады никого не будем. А впрочем приходи сам в барак, поголкуй с ребятами. Я им не командир.

— Вот и плохо, что ты им не командир. Раз выбрали бригадиром, значит, командиром быть должен. Ты ступай, поговори со своей бригадой, а я освобожусь, зайду к вам через часок, побалакаем.

В барак Гальцев через час не пошел, а переждал часика два с половиной, — пусть шельмы подождут и поволнуются. По дороге зашел в гараж и захватил помощника монтера со второго участка, который с утра заходил к нему в постройком.

Подойдя к бараку дальверзинцев, он велел парню подождать:

— Вертись тут около барака, когда позову, заходи.

В бараке было непривычно тихо. Увидя «египтянина», дальверзинцы столпились поближе. Видно было, что его ожидали.

«Египтянин» присел на стол, достал кiset и невозмутимо принялся крутить цыгарку и скрутив, пододвинул кiset к ближайшему: на, мол, угощайся. Все молчали.

— Ну, как? Надумали? — бросил он, затягиваясь цыгаркой.

Ответа не последовало.

— У вас что, языки отнялись?

— Пусть Кузнецов говорит, — предложил мужичок с рыжей бородкой.

Раздвигая толпу, вышел вперед парень в синей майке, с большим сердцем, пробитым стрелой, вытатуированным на левой руке.

— Насчет извинения — шут с ним, раз все рабочие говорят «неправильно», значит, неправильно. А насчет того, чтобы товарищей выдавать, — все решали, все отвечают поровну. Никто нас не подговаривал, и выдавать никого не будем.

— А тебя кому выдавать велят? Полиции царской? — соскочил со стола Гальцев, наступая на Кузнецова. — Заучил наизусть: «не выдадим» да «не выдадим», и думает — рабочая солидарность! С кем солидарность держишь, с классовым врагом, с кулаком, вот с кем! Думаете, мало тут бежавших раскулаченных на строительство к вам втерлось. Как их различить, у каждого две руки и две ноги, как у меня с тобой. Почему их узнаешь? По агитации! Если у тебя такая сука в бригаде агитацию ведет, возьми ее за ворот и покажи всему рабочему классу: вот он, кулацкий агитатор, посмотрите, братцы, что у него там под рабочей рубахой. Вот как настоящий рабочий поступает. А вы что? Грудью своей перед рабочим классом его заслоняете? Не дадим, мол, своего кулака, он нам родного брата милее! Вот оно ваше «не выдадим». А не выдавай, чорт с тобой, видно, один другого стоите.

— Нет у нас никаких кулаков, ты нам очки не втирай! — огрызнулся Кузнецов.

— Нет? Наверное знаешь? А ну-ка посмотрим.

«Египтянин» направился к дверям. Все думали, что разошлся и уходит, но он открыл дверь и позвал:

— Козюра, заходи!

Вошел монтер со второго участка.

— Ну, показывай, который?

Парень обвел всех глазами, раздвинул передних, чтобы разглядеть стоящих позади, осмотрев всех, удивился:

— А его здесь нет!

— Как так нет?

— Нету. Вчера его видел, а сегодня нет. В белой рубашке ходит, сам в роде блондин, а борода у него рыжая.

Дальверзинцы переглянулись.

— Это он про Птицына, небось,—отозвался Тарелкин.—Птицын. Где же он?

Все расступились, открывая дорогу, но Птицын не выходил.

— С рыжей бородакой, говоришь? Да, он тут только-что стоял?

— Верно, стоял.

— Вот-вот стоял.

— Куда же он смылся? Выхода у вас другого нет?

Несколько человек кинулось в другой конец барака.

— Отперта. Ей-богу, отперта. Настежь! Даже захлопнуть не успел.

— Вот вам и Птицын ваш,—«египтянин» оглянулся. — Козюра! Беги в милицию!

Дверь хлопнула. В бараке залегло тяжелое молчание.

— Кулаков никаких нет у вас? — «египтянин» наступал на Кузнецова, и Кузнецов, шаг за шагом, пятился к стене.

— Очки вам втирают, говоришь? А вот Птицын из твоей бригады? Пролетарий чистокровный, небось? А знаешь ты, что твой Птицын после того, как его раскулачили в Тамбовской губернии, весь хлеб колхозный поджег. Колхоз из-за него развалился, и люди помиру пошли. Пришел ко мне сегодня утром парень, говорит—так и так. Может быть, ошибаюсь, но только очень уж похож. Мы его, говорит, искали, искали, пропал, как камень в воду, а он, говорит, оказывается, на первом участке обретается... Небось, он вас тут первый на все дела подбивал?

— И верно, — раздался сзади молодой голос. — Он нам говорил, что на шоссе из Сталинабада в Курган-Тюбе рабочим на пятьдесят копеек больше за кубометр платят.

«Египтянин» повернулся к говорившему, но внезапно хлопнула входная дверь, и в барак вбежал малый в длинных штанах, достигающих ему до подмышек и пережваченных в талии шпагатом.

— Ребята! Не видали? Человек с бэрега в реку скакнул и вплавь пошел. Ей-богу, не вру! Вода его снесла за километр. Вылез на мель, потом на тот берег выбрался. Вот те хрест, не вру!

— Вот вам и ваш Птицын, — махнул рукой «египтянин». — «Не выдадим, не выдадим» — вот и не выдали. Видите теперь, кого не выдали, за кого заступались? Тьфу!..

«Египтянин» резко хлопнул дверью, с потолка посыпалась глина. Через минуту он уже шагал по направлению к парткому.

Сделав свой привычный круг, часа через два, Гальцев зашел в юрту редакции местной газеты и столкнулся там опять лицом к лицу с Кузнецовым и Тарелкиным.

— Вы что?

— Да мы тут заявление принесли в газету, насчет бузы... что неправильно и всякое такое... и там еще, насчет чего обязуемся... — Кузнецов, не глядя на «египтянина», сунул ему вспотевшую в руке бумажку.

«Египтянин» быстро пробежал глазами.

— А насчет агитации мы там еще двух, чтобы не дали драпу, заперли в чулане. Разберитесь, кто и что... Только, ежели окажется, в роде как не кулаки,— не трогать. Все решали, у кого своя голова, и отвечать, значит, надо поровну.

Они поправили кепки и быстро вышли из юрты.

Весть о заявлении дальверзинцев и в том, что в двенадцать часов они выйдут на работу, быстрее спешной телеграммы обежала весь участок. К двенадцати часам многие рабочие, на пять минут раньше побросав работу, столпились у котлована посмотреть, какие у шельмецов будут физиономии.

— Небось, носы в ворота рубах прячут.

— Совесть зазрела, стыдно им теперь на люди-то показаться. Четыре дня носа из барака не высовывали.

— Так им и надо! Пусть видят, что все на них смотрят.

Ровно без пяти двенадцать на дорожке, ведущей на котлован, появились дальверзинцы. Они приближались уже

к насыпи, когда Кларк с Полозовой вылезли из котлована на кавальер посмотреть на покаянное шествие.

— Видишь их? Собрались, как на гулянку.

Дальверзинцы шли гурьбой. Видно было, что к выходу своему они готовились долго. Они действительно принарядились, как на гулянку: на всех были свежестырианные белые рубахи и начищенные до глянца сапоги. Они знали, что рабочие, объявившие им бойкот, соберутся смотреть на их покаянное возвращение, и уязвленная амбиция решила отказать им в этом спектакле. Они шли между шпалерами любопытных, не оглядываясь по сторонам, словно не замечая их присутствия. Впереди, пятясь задом, шел гармонист, развернув павлинь-

им хвостом гармонь, и перед гармонистом, отбивая чечетку, мелькая начищенными голенищами, упершись руками в бока, плыл светлый парень в белой рубахе. Гармонист, отбивая ногой такт, шел высоким задиристым фальцетом:

Стоит милый на крыльце,  
Моет морду борною,  
Потому что пролетел  
Ероплан с уборною.

Они с музыкой вскарабкались на кавальер и с музыкой спустились в котлован, и, только когда стрела экскаватора, как рука дирижера, одним взмахом очертила полукруг, гармонь оборвалась и зазвенели кирка и тачка.

Ходжент—Иевлево—Москва.  
Лето 1932

*Конец первой книги*



# На порогах

Рассказ

А. ГУРВИЧ

... У деревенского кулака есть свой план «встречный».

Демьян Бедный.

1/

Ялла решила не заезжать в аул. Старик-отец спит робким, неверным сном. Он сейчас же проснется и потом<sup>3</sup> долго будет стонать, пока не утихнет тягучая, заунывная боль в ноге.

Хотелось прилечь где-нибудь наедине, — спокойно обдумать положение. Она дернула повод: Тигирек послушно свернул с дороги. Ломая грудью и копытами тонкие сухие ветки, он медленно пробирался в глубь чащи. Чеке-Таман, больше напоминавший волка, чем овчарку, плелся позади. Выехав на небольшую поляну, Ялла спрыгнула с коня, расседлала его и пустила на волю. Тигирек потоптался на месте, сорвал пучок свежей, влажной травы и скрылся в темноте ночи. Минуты две-три слышны были стук копыт и треск ломающихся веток. Затем все стихло. Мощный гул полногрудой обильной реки, гнавшейся за самой собой, не нарушал для Яллы сонной тишины ущелья. Ялла с детства непрерывно слышала шум реки и перестала его различать. Он стал для нее тишиной.

Она нарезала хвойных веток, набросала на них листья папоротника и тяжело свалилась, не чувствуя сил подтащить к изголовью седло. Сто километров, сделанных крупной рысью под горячим солнцем, очень утомили ее. Острая боль в лопатках заглушала голод. Ялла лежала на спине, ощущая тяжесть своего тела, как посторонний груз. Какая-то непреодолимая сила по-

вельительно закрывала веки. Но другая, еще более властная, сверлила мозг, отгоняя сон.

Слова председателя аймакисполкома стучались в виски, настойчиво стараясь проникнуть в сознание:

— Лесосплав должен быть выполнен. Работать будет трудно, — предупреждаю. Все сплавщики — раскулаченные баи. Они очень опытные, но еще более злы. Сумей взять их в руки.

Кадышев произносил эти фразы, как боевой приказ, четко отчеканивая каждое слово. Ялла слушала предисполкома с нескрываемой тревогой. Аймак решительно отказывался бросить на сплав хотя бы нескольких колхозников. Посевная кампания, сбор кедров, путина, — со всех сторон требовались люди, и всюду их нехватало. Прощаясь с Яллой, Кадышев протянул ей левую руку (правую он потерял три года назад на лесозаготовках) и тепло улыбнулся. Оттого, что левая рука Кадышева столкнулась с правой рукой Яллы, рукопожатие получилось неловким. Ялла смутилась и поторопилась уйти.

Сейчас, лежа с закрытыми глазами в лесу, она беззвучно повторяла: «Лесосплав должен быть выполнен... должен быть выполнен...»

Нужно было ясно представить себе, как будет идти работа, как взяться за нее.

В аймаке со сплавщиками договорились о сдельной оплате. С Алтын-Коля должны подвезти рыбу. Турочакский кооператив доставит хлеб и кирпичный

чай. Но прозодежды нет, табаку мало. Согласятся ли бай работать?

Ялла напрягала невероятные усилия, чтобы удержать хотя бы одну из мелькавших мыслей, ответить себе точно хотя бы на один из встававших вопросов. Но мысли путались, нагромождались друг на друга, как муравьи в муравейнике. А перед глазами Яллы выростала фигура Самбу, старого богатого охотника и скотовода. Она хорошо помнит его с детства. Самбу — опытный сплавщик. Сейчас он будет работать на участке Яллы. Ялла видит перед собой слезящиеся веки и громадные, точно кофявые корни кедра, руки. Она вспоминает, как вздрагивали и шарахались от Самбу кони, когда он подходил к ним, как натягивал поводья, обнажая у необъезженного жеребца зубы и десна, покрытые окровавленной пеной.

— Сумей взять их в руки, — вспомнила Ялла последние слова Кадышева, и ей вдруг стало холодно. Она открыла глаза. Легкий ветерок тревожным шопотом пронесся по верхушкам черных чиственниц. Почудились шаги, треск. «Тигирек» — вспомнила Ялла и, успокоившись, снова сомкнула веки. Усталость тяжелой теплой ладонью легла на лицо. Ялла почувствовала, как она погружается куда-то в неизвестную глубину, в опрокинутый купол неба, освобождаясь по пути от гнетущей тяжести своего тела.

## 2

Утром, по пути в лес, Ялла заехала в юрту. Отец сидел у очага, потягивая грубку и ежеминутно сплевывая в огонь. Через дымоходное отверстие солнце входило в юрту причудливыми золотыми кружевами. Они дрожали в густом полумраке мелкой, едва уловимой дрожью. Ялла быстро налила в деревянную чашку чаю, всыпала в него горсть перемолотого жареного ячменя, посолила, принялась есть. Не спуская глаз с огня и не вынимая изо рта трубки, старик заговорил:

— Странные вещи творятся... Заходил Самбу. С ним был Чемандаев и Седых. Спрашивали, где ты, зачем поехала в Турочак...

Ялла насторожилась. Аргачи сплюнул и продолжал:

— Долго сидели, жаловались на свою судьбу. Ночью Самбу снова пришел. Скажи, говорит, Ялле — тридцать человек наших ушли в горы. Скажи, пусть спит спокойно. Завтра пойду на Гнездо, всех до одного верну. Странные вещи творятся...

Ялла слушала отца молча. Она не знала, как отнестись к происшедшим в ее отсутствие событиям. «Бай ушли в горы... Самбу хочет их вернуть?.. Странные вещи творятся — отец прав. Почему Самбу? Старый, хитрый бай зол, как шакал... У него забрали много, много лошадей, коров, овец, серебряное седло и сорок шкурок чернубурой лисы...»

Ялла терялась в догадках. А что, если все это уловка? «Скажи Ялле, пусть спит опоконно». Что-то недаром Самбу убаюкивает. О-ох, путает верно старик, отводит глаза.

Ялла испугалась вдруг мысли, что сейчас в лесу он уже не найдет никого, что раскулаченные бросили ваги и бандой ушли в тайгу. Она представила себе немой, безлюдный лес, пустую гавань в Турочаке, плотовщиков, присланных с Волги и Камы, тщетно ожидающих древесины, вспомнила Кадышева.

Бросив чашку на землю, Ялла выбежала из юрты, вскочила на коня и быстро помчалась в лес, к своему участку. Обогнув последний мысок, Ялла повернула от знакомой тропинки влево. Тигирек понес ее прямо на крутую гору по кратчайшему пути. Перевалив вершину, Ялла затаила дыхание, прислушалась. Издалека доносились гулкие удары топоров. Ялла облегченно вздохнула. Работы продолжалась. Медленно обдумывая предстоящую встречу со сплавщиками, спустилась Ялла к высохшему руслу водопада, в котором копошились люди, расчищавшие путь от камней и вывороченных водой деревьев для спуска древесины.

## 3

Самбу, Чемандаев и Седых медленно подымались на гору. Все трое молчали. Все договорено. Только вот как эти, на Гнезде... Не станут ли артачиться?



Подъем был крут и утомителен. Приходилось все время хвататься за ветки, за стволы. Давили кожаные мешки с мясом, толканом, аракой.

Чем выше, тем чаще попадались камни. Громадные, острые обломки скал причудливо повисли над пропастями. Отломавшись от скалистых уступов гор, с гулом и грохотом прокатясь вниз, они свалили на своем пути могучие колонны кедров и лиственниц и сейчас надгробными плитами лежат у вытянувшихся мертвыми телами стволов. У растопыренных корней образовались глубокие норы. В них прячутся полосатые бурундучки и зайцы.

Путники устало карабкались вверх, опираясь ладонями в колени. С трудом двигались ноги. Казалось, каждый раз их надо было вытягивать из вязкой трясины.

— Отдохнем, — предложил Самбу.

Баи остановились у большого плоского камня, из-под которого тоненькой струйкой лилась холодная вода. Сбросив мешки, смочив губы и вспотевшие лбы, они присели отдохнуть. Курили молча. В просветах между ветвями розовело небо. Самбу пристально смотрел на громадный свалившийся ствол кедра. Одутловатый, пористый, как пробка, он сох, потрошился, рассыпаясь в прах. «Гибнет, гибнет лес» — думал Самбу, и на его лице проскользнула горькая улыбка. «Пусть гибнет». Он крепко стиснул зубы. На лбу снова появилась испарина.

Молчание нарушил Чемандаев.

— Первый раз за пятьдесят лет, — сказал он сокрушенно, — иду пешком. Пятьдесят лет не слезал с коня.

Глубоко вздохнув, он добавил, обращаясь к Самбу:

— Хотя бы рыжего чорта оставили, говорят, в Улагане на скачках первым пришел.

Самбу ничего не ответил. Резким движением он спрыгнул с камня, взвалил на себя мешок и пошел дальше. Седых ткнул трубкой задумавшегося Чемандаева, и они последовали за Самбу.

Дорога становилась все труднее. Местами приходилось обходить громадные выступы, вскарабкиваться на них ползком.

К основанию Орлиного Гнезда подошли, когда уже начало смеркаться. Восток окутался в мрачную синюю тогу. На западе, за дальним хребтом, рвались ключьями, горели в опаловом дыму малиновые, оранжевые знамена.

Самбу выстрелил. Звук ударился в стены ущелья и рассыпался многократным эхо. С Орлиного Гнезда раздался ответный выстрел, и вскоре сверху слышался голос.

— Кто-о-о? — гулко перекликались горы.

Самбу сложил рупором ладони.

— Са-а-ам-бу-у-у, — завывало ущелье.

С Гнезда по отвесной стене черной змейкой спустился аркан. Самбу укрепил узел, всунул в петлю ногу, ухватился за аркан руками и медленно поплыл вверх. Так же были подняты на Гнездо Чемандаев и Седых.

Баи сразу окружили пришедших, закидали их вопросами. Самбу ждал, пока стихнут нетерпеливые, жадные голоса. Неожиданно взгляд его упал на стоявшего позади всех Пашаева. Самбу удивился: «Почему здесь Пашаев? Почему его раскулачили? Рыхлая юрта без сруба, две коровы и десять детей». Он вспомнил Пашаева своим батраком-пастухом и ухмыльнулся. «Раскулачили» свалке бедняка. Озлобили, верно. Но на дежен ли?» Самбу переживал минуту сомнения. «Стоит ли рисковать? Нет, паршивая овца все стадо портит». Самбу резко отстранил от себя наседавшего с вопросами баев и хмуро проворчал:

— Не все сразу. Двадцатью ключами замка не откроешь.

Затем он повернулся к Пашаеву и устало проговорил:

— Пашаев, не принесешь ли мне, по старой дружбе, воды вон из того ручья. что серебрится, как хвост белой лошади

— Воды, воды, — раздались голоса

— Воды, аркан еще не поднят.

— Живей за водой, Пашаев.

Пашаев нехотя повернулся и медленно, точно обдумывая каждый свой шаг, пошел за кожаным кувшином. Самбу смотрел вслед Пашаеву, пока тот не скрылся в сумеречной мгле.

Баи сидели тесным кольцом вокруг большого костра, над которым склонились

лись отягощенные таганы. Подкладывая в огонь сучья, сухие ветки, березовую кору, говорили тихо — ожидающими чего-то голосами, беззвучно смеялись.

Потрескивающий огонь колебал вокруг себя горячий воздух. На широкоскулых, с реденькими щупленькими бородками монгольских лицах теленгитов, на крепких, широких, в густых бородах лицах кержаков знойными отсветами плясало зарево. В глазах светились раскаленные угольки.

Из-за спины Чемандаева вынырнула рука с деревянной чашей. Чемандаев отпил глоток араки. Чаша пошла в круговую. Загудорили веселей, но в голосах не было свободы. Все ждали, когда заговорит Самбу. Все знали — Самбу будет говорить сейчас, через минуту-две, и пока болтали о ненужных, никого не занимавших вещах.

Самбу обошел края Орлиного Гнезда, всматриваясь в глубь черных провалов, вслушиваясь в темноту ночи. Затем быстрыми шагами подошел к костру и неожиданно спросил:

— Что вы сделали?!

Кулаки подняли на Самбу удивленный взгляд. Они не сразу его поняли. Понемногу стали догадываться, что вопрос относится к их уходу в горы. Но если так, то что тут непонятого для Самбу? Раскулаченные кишат по горам Алтая. Самбу это прекрасно знает. Ведь он сам до того, как дал Кадышеву согласие строить запонь и сплавлять лес, хотел организовать банду и присоединиться к Тужлею.

Самбу выдержал долгую смительную паузу. Медленно переводил он взгляд с одного лица на другое, не пропуская ни одного из окружающих его баев.

— Удрали, баранта пугливая! Здесь мечтаете о своих табунах. Здесь, на Орлином Гнезде. Вы думаете, внизу без вас не обойдутся? Много ли сделаешь набегам. Угонишь овцу, корову или коня.

— А что же нам делать?..

— Что делать!

— Говори ясно, — сразу заволновались баи.

— Что делать? Работать! — Самбу сжал кулаки до боли. — Работать не

покладая рук, как работали наши батраки.

Сплавщики слушали Самбу недоумевая. Рехнулся, что ли, старик?

О костре, о котелках с пищей забыли. Огонь стал потухать. Самбу сел на землю, понизил голос. Вокруг него сгрудились потемневшие тела.

— Запонь может выдержать только тысячу кубов. Пусть срзат меня гром, если выдержит больше. Канат ржав. Я знаю, хорошо знаю. Сам строил. Осталось три дня. Вода подымается... Нельзя терять ни одного часа. Понятно?

Только сейчас баи стали понимать хитрый план старого Самбу. Все заговорили сразу. Хриплые голоса рвались из темноты.

Вдруг смолкли. Выплывшая из-за далекой вершины луна залила Гнездо ясным голубовато-лиловым серебром. За уступом стоял Пашаев. В руке у него болтался пустой кожаный кувшин.

В воздухе повисла тревога. Тридцать человек не спускали с Пашаева испытующих глаз. У всех была одна мысль: «Кувшин пуст, Пашаев за водой не ходил». Гнев обухом оглушил Чемандаева. По щекам его заходили желваки. В памяти выплыл Белый бом. Вспомнил Чемандаев, как в колчаковском отряде Кайгородова сбрасывал он с Белого бома красных партизан. Сразу заныли, отяжелели кисти рук, зашевелились пальцы.

Чемандаев нагнулся к Самбу и прошептал ему на ухо:

— Скинуть?

Самбу удержал Чемандаева за руку:

— Лучшее порешить здесь, меньше будет шуму. Здесь его никто не найдет.

Чемандаев всунул трубку за кушак, сплюнул и медленно приблизился к Пашаеву. Пашаев оглянулся. За ним была черная бездна. Страх подошел вплотную, — Пашаев хотел вскрикнуть, но не смог: тупой, тяжелый удар в голову свалил его. Несколько человек мигом набросились на упавшего. В раскрытый рот втикнули шапку. Затем посыпались глухие удары прикладами. Били Пашаева молча, не проронив ни единого звука.

с холодным расчетом—из'ять ненужного свидетеля.

После долгой, сосредоточенной возни первым поднялся Чемандаев, за ним—другие. Самбу подошел к Пашаеву, гкнул его ногой и, резко повернувшись, командовал:

— Теперь живо вниз. Завтра с рассветом всем быть на берегу.

Баи зашевелились, стали разматывать арканы, прикреплять их к деревьям и камням. Восемь арканов паутинками протянулись на залитой лунным светом отвесной скале. Как пауки, спускались по ним люди в непроглядную тьму.

Последним спустился Самбу.

Орлиное Гнездо опустело. На его верхушке дотлевали, покрываясь золой, угольки брошенного костра. Тихо умирал Пашаев.

#### 4

Утром сонный, еще слепой лес был разбужен гулом катящихся бревен.

Истомная синева ночи блекла, изнемогая в борьбе с невидимым еще за горами солнцем. По логам и ложбинам, гочно белые лебеди в запущенном пруду, плыли облака. Лес курился: опаловые клочья ползли по низинам у самой земли.

На макушки западных вершин брызнуло солнце: тайга покорялась дню.

На берегу, по всему участку Яллы, баи скатывали в воду древесину. Работами руководил Самбу. Его никто не выбирал, но все беспрекословно ему подчинялись. Старик метался по участку, подгоняя, подхлестывая сплавщиков, помогая им устранять всяческие неполадки. Он не пропускал ни одной из работающих групп и всегда был там, где его ждали.

Лес сплавливали, как деды и прадеды. Волосяные арканы и жерди от молодых берез, заготовленные для весел рыбаками с Алтын-Коля, были единственными приспособлениями для сплава.

Срубленная, обескровленная, безлиственная древесина цепко прижималась к родной земле, всей тяжестью своей зарывалась она в болото, в камни, в гальку. С каждым бревном приходилось аступать в ручной бой, опутывать его

арканами, подталкивать вагами, налегая на них грудью. Как лилипуты вокруг великана, копошились люди у гигантских кедровых обелисков. Стопудовые, казалось, незыблемые, колонны сопротивлялись недолго: они внезапно теряли свой вес, всю свою тягу к земле, вприпрыжку скатывались в воду и легко, точно спички на конвейере, ускользали вниз по шалым водам Бии, к гавани.

Чемандаев с вернувшимися сплавщиками работал в десяти-двенадцати километрах от участка. С нечеловеческими усилиями они заграждали проносы и староречья, чтобы спасти древесину от разноса. Мокрые одежды ледяными веригами стягивали тела. Несколько человек на двух лодках, ежеминутно рискувавших превратиться в щенки, разбирали залом в бурной пене порогов, среди острых выступов подводных камней.

Орлиное Гнездо хорошо поняло Самбу. Работа кипела.

Ялла была растеряна. Несколько раз она об'езжала сегодня свой участок, несколько раз проверяла табель, подсчитывая количество сплавленного леса. Цифры поражали. Солнце еще высоко, а дневная норма уже давно выполнена.

Дружный, напористый труд заражал Яллу, наполнял ее радостью и в то же время томил какой-то отравой: радость была, как тронутый горечью плод.

«План будет выполнен... будет... будет»—вспыхивали мысли, но они не успокаивали Яллу: в них была какая-то неясная тревога.

Сплавщики гулко перекликались. Один за другим падали брошенные людьми ваги на гальку. В первый раз за весь день баи отдыхали. Усталой, качающейся походкой подымались они на полянку, утыканную обугленными таганами.

Быстро запылали костры. В густом сером дыму ракетами рассыпались искры. Кержаки и теленгиты не разбирались, как обычно, на две группы. Сегодня их не разделяла даже пища. В котелках варились пойманные еще утром вкусные, нежные хариусы. Их охотно ели и старообрядцы, и язычники, и крещенные теленгиты.

В ожидании ухи сушили одежды. Плотным кольцом сидели у костров, изредка перекидываясь отдельными фразами.

Ялла лежала в траве,—дремала. Чеке-Таман тербил ее лапой и сердито урчал, пока на глаза ему не попадался прошмыгнувший мимо бурундучок. Тогда он вздрагивал и пулей вылетал за зверьком. Вздрагивала и Ялла. Она подымала веки и жмурилась от горячей зеленой огнем травы, от плававшей в воздухе золотой пыли.

Вдруг справа шевельнулась и застыла тень. Ялла подняла глаза. Перед ней стоял Самбу. Снизу он казался громадным и суровым, как нависшая скала. Однако Самбу был далеко не суров. Он ласково, как бы извиняясь за овой приход, смотрел на Яллу. На лице его геплилась улыбка. Узкие щелки глаз, еще более сужаясь, исчезли в тонкой сетке морщин.

— Якши, Ялла, якши...

Ялла приподнялась на локтях, поджала под себя ноги. Самбу сел рядом. Он вынул из-за кушака трубку и прогянул ее Ялле. Ялла закурила раньше, чем успела сообразить, нужно ли это делать. Несколько минут оба молчали. Наконец Самбу засмеялся хриплым, похожим на кашель смехом и, приподняв чуть-чуть руку над травой, тихо сказал:

— Вот такой... маленькой... помню тебя, Ялла...

Ялла внутренне встрепенулась, ошегинилась. «Надо сейчас же заговорить о чем-нибудь другом» — подумала она, но вместо этого рассеянно оглянулась по сторонам. С горы скатился к ней Чеке-Таман. Она радостно прижалась к нему, сразу почувствовав себя более уверенной.

Самбу продолжал:

— А ты? Ты помнишь, Ялла? Помнишь Эрке? Как часто ты пропадала у нас в юрте и вместе с моей маленькой Эрке мяла овчины, растирала ячень...

Ялла все помнила: помнила свое детство, наполовину проведенное в богатой юрте Самбу, на коленях перед баспаком, помнила — и точно сейчас еще ощущала — ломоту в спине, жгучую боль в

изодранных о камень пальцах, помнила, как в растертый порошок жареного ячменя падали ее слезы.

Но когда младшая дочь Самбу— Эрке—готовила с ней толкан? Этого Ялла не помнит. Не помнит она и Эрке с кожемялкой в руках. Эрке ежесекундно влетала в юрту и выбегала из нее, забавляясь с подругами, и почти беспрерывно грызла кедровые орешки. Ялла всегда ей завидовала. Когда дверь юрты открывалась и Эрке исчезала, сверкая пятками, в солнечном просвете,—полумрак юрты становился особенно невыносимым, и слезы чаще падали в толкан. Бежать за Эрке в лес, в изумрудную рошу лиственниц или на реку нельзя: надо было работать для Самбу, для Эрке. Ведь Самбу богат, знатен, для него работает пол-урочища. Для него работает и отец Яллы. У него можно будет выпросить к зиме немного пороху и дробы. Он много получает охотничьих припасов от русских купцов, приезжающих за пушнойной. А выйти на охоту с ружьем вместо капканов,—для этого стоит батрачить всей семьей все лето.

Ялла помнила, как дергали ее за волосы и били по щекам, когда, измученная, она засыпала на сырой овчине, вырвав кожемялку.

Как сейчас, видела Ялла своего отца. Чоодура, Чегедекова и других, рывших в скалистой сухой земле для Самбу арыки. Вспомнила, как однажды на ее глазах Самбу избивал батрака Штаанакова тяжелой деревянной мотыгой с железным наконечником. Штаанаков лежал на земле, впитывавшей его кровь, а Самбу неустанно взмахивал мотыгой, как взмахивают цепями, когда обмолачивают кедровые шишки.

За несколько секунд Ялла вторично пережила больно сыпавшиеся на нее в детстве удары. Задумавшись, она забыла, что сидит рядом с Самбу, и не заметила, как он заботливо вынул из ее руки трубку, чтобы снова наполнить ее табаком.

Ялла крепко прижималась к Чеке-Таману и вдруг как-то невольно, неслышно для себя самой затянула грустную, воющую песню. Монотонные звуки тя-

нулись без перерыва, тягостно, как гудок парохода в туманной дали...

Самбу глубоко вздохнул и, сокрушенно качая головой, едва слышно прошептал:

— Где-то теперь Эрке? Из Чулышманской школы ее выгнали. Эх-хе-хе... Тяжело жить старому Самбу...

Старик набил трубку и снова протянул ее Ялле. От внезапного прикосновения Ялла очнулась и сразу же почувствовала прилив неудержимого гнева к старому хитрому баю, к самой себе. Она быстро и решительно поднялась, но тут же тревожно подумала: «Сплав должен быть выполнен» — и снова осознала свою зависимость от Самбу, от этого ненавистного ей опытного знатока сплава. Старик смотрел на нее с ничего не говорящей улыбкой. Хотелось ударить его по дряблему лицу, обрушиться на него с кулаками, растоптать. Ялла крепко вдавила ногти в ладони. Глаза обожгли слезы. Отломив упругую ветку, она больно хлестнула ею Чеке-Тамана. Чеке-Таман взвизгнул, отскочил в сторону, растерянно оглянулся. Несколько секунд он недоуменно смотрел на Яллу, затем замахал хвостом и медленно, покорно приблизился к ней. Ялла ломала в руках ветку. Она ненавидела себя за то, что внезапно вскочила, за то, что ударила Чеке-Тамана и что не могла ударить Самбу.

— И нам было тяжело, — процедила она сквозь зубы, отшвырнув в сторону сломанную ветку.

— Ялла, — вкрадчиво заговорил Самбу, — забудем старое. Мы работаем сейчас... ты видишь... хорошо работаем... Будем работать еще лучше... днем и ночью... У истоков Лебеда, на золотых приисках, платят больше, табаку вдвойне... не уходим, видишь? План выполним... пусть срзлит меня дух Эрлика, если нет. Тысячу кубов спустим, тысячу двести... — Самбу прищурил глаза, пронизывающе посмотрел на Яллу. — Скажи — и скатим все, ни одного бревна не оставим на берегу, только помощи... Помогите нам, старикам, Ялла, поговори с Кадышевым, пусть вернет скотины, пусть восстановит нас...

Ялла, слушая Самбу, думала: «Что сказать? Как ответить?» Когда отцу — старому Аргачи — становилось трудно, он звал кама, отдавал ему одну из немногих лошадей для жертвоприношения. Ноги лошади стягивают петлями длинных арканов. Четыре группы людей, ухватившись за аркан, точно бурлаки, тянутся в разные стороны, разрывая жертву на части.

Мысли и чувства стянули сознание Яллы петлями, тянули в разные стороны, рвали на части... «Как быть? Говорить сейчас с баями языком врага — значило бы лбом пробивать стену: свистнут сплавщики и исчезнут в тайге, как черная речка... Нет, нет, только не это. Просить у Кадышева вернуть баям скот, восстановить в правах?» — по телу Яллы пробежали мурашки, вспомнился Самбу, лютый властелин Самбу, и мысль заступиться за баев сразу захлебнулась в ярости.

Самбу ждал ответа.

Вдруг Ялла гордо вскинула голову Молнией промелькнуло: «Обмануть!»

На полянке дымились брошенные костры, бай торопливо спускались к берегу. Надо было начать обезд участка Ялла подбежала к Тигиреку, вскочила на седло и, рванув повод, уже на ходу крикнула Самбу:

— Хорошо, Самбу, я поговорю, работайте...

Мягко покачиваясь на седле, Ялла рысью спускалась к берегу. Ничто больше не тревожило ее. План будет выполнен, остальное неважно.

Самбу смотрел вслед удалявшемуся коню с самодовольной улыбкой. Теперь руки развязаны. Работа не вызовет никаких подозрений. План будет выполнен, остальное неважно.

## 5

Два дня и две ночи не унимался в лесу гул. Бревна катились по скатам беспрерывным гремящим потоком. Бия набухала, зверела, рычала. Потемневшие, мрачные воды ее неслись ураганом. Израненные на камнях бревна облегченно падали в реку и сразу смывались, уступая место другим.

На берегу, в пересохших руслах водопадов, копошились баи. Каждый работал за троих.

Ночью в лесу пылали костры. Сплавщики отдыхали у огня по очереди. Работа не прерывалась. Непрерывка, ударная бригада—этих слов баи никогда не слышали, но они видели перед собой Турочакскую запонь, и глаза их наливались кровью. Они не могли оторвать рук от жердей, как не выпустишь ружья на войне. Каждое бревно спускали к реке, точно снаряд к черной пасти орудия. Партия Чемандаева не отставала. Ни одно бревно не попало в староречье. Ни один заряд, пущенный баями в запонь, не пропал даром.

Ялла едва успевала заполнять табель. Буйная радость подымалась, бурлила в ней, как вода в Бие. Хотелось прыгнуть с коня, кувыркаться по земле, растормошить баев и драться, драться... Она оглянулась. Сплавщики грудью нагирались на стволы. Они работали упорно, сосредоточенно, угрюмо. «С кем поделиться... с Тигиреком... с Чеке-Таманом?» Горло душила рвущаяся песня.

К полудню третьего дня было спущено в воду уже больше тысячи кубов, но баи не бросали оружия. Пуще прежнего они поливали потом древесину. Вода могла начать спадать каждую минуту. Нельзя было терять времени. Самбу подавал жару. В спешке, в ожесточенном, остервенелом напоре на сваленных столетних гигантов был сломан не один десяток жердей, заготовленных аптыбашскими рыбаками к пугине. Сплавщики покрывали исцарапанные, окровавленные руки и ноги листьями папоротника, обматывали их сверху тряпками и упорно продолжали работать. Все понимали, что если не спустить сегодня еще триста кубов леса, то вся работа пропадет даром. Но теперь спуск бревен был особенно тяжел. На берегу древесины уже не было. Оставшийся лес лежал несобраным на склонах, на вершущках холмов. Каждое бревно приходилось спускать по руслам горных речек, через лабиринт разбросанных по дну русла камней. Могучие бревна терлись боками о скалистые уступы, скрежетали, скрипели. Вырвавшись из цеп-

ких когтей, они с грохотом катились вниз, подпрыгивая на каменных булках, нагоняли друг друга, сталкивались лбами и наконец с шумом, с облегченным вздохом погружались в ледяную реку.

Ялла потеряла счет спущенным сегодня бревнам. Она бросила табель и не заметила, как сменила карандаш на толстую березовую жердь. Плечо к плечу с широкогрудыми, обросшими, как покрытые мохом пни, кержаками Ялла напирала грудью на жердь, изгибавшуюся под мертвой тяжестью сваленного леса.

Сверху Ялле была видна тонкая дорожка русла до самой реки. Беспрерывный поток лесапада вдруг прекратился. Нижняя половина его оторвалась, ушла в реку, лес застрял на середине. У места затора, как жучки, копошились люди. Трудно было увидеть, что они делают. Черные точки шевелились оживленнее, чем обычно. От них доносились глухие призывные крики:

— О-го-го-го-го-о-о-о!

Ялла бросила жердь и устремилась вниз, хватаясь по пути за колючие кустарники. Кержаки последовали за ней. У затора быстро скоплялись сплавщики. Исполинский кедр выворотил по пути двухтонный камень, бросил его вниз. Из громадной воронки поползли, и застыли, как скрюченные в судороге пальцы, корни лиственницы. Ствол кедра врезался в воронку, запутался в переплете корней и стал поперек русла. Крепко упершись в землю, он держал на своих плечах многоэтажную вышку застывшего лесапада.

Баи шумели, спорили, лазили по бревну, осматривали корни. Каждый предлагал свой способ сдвинуть древесину, но никто не было слышно. Голоса покрывали друг друга, сливаясь в неразборчивый гомон. Запахавшись, врезалась Ялла в толпу сплавщиков. Озабоченные неурядицей, баи не обратили на нее внимания. Размахивая руками, они продолжали спорить и кричать. Многие растерянно разводили руками, почесывали затылки. Низким хриплым голосом своим Самбу никак не мог перекричать споривших. Лицо его багровело, на шее вздувались жилы. Отчаявшись быть

услышанным, он вскочил на пень и, сорвав с Яллы красную повязку, замахал руками. Голоса стали утихать. Самбу продолжал кричать, несмотря на то, что все уже повернулись к нему в напряженном молчании.

— Арканы, топоры! Подрубить немного корни, а затем поднять на арканах.

Сплавщики сразу сообразили, в чем дело. На берегу русла, в нескольких шагах от кедра, возвышалась листовница, в обнаженных корнях которой запуталось бревно. Через толстую ветвь листовницы перекинули десять арканов. У самого основания ветвь гладко обстругали, чтобы уменьшить трение. На корнях листовницы торопливо застучали топоры, обрубить их можно было только наполовину, чтобы древесина не двинулась, пока сплавщики не покинут русла. Арканы туго обхватили, опутали бревно. Когда все было готово, баи ухватились за свободные концы, обмотали их на руках, крикнули, потянули. Топчась, наступая друг другу на ноги, висли отяжелевшие тела, наливаясь кровью, обтекая потом. Каждый раз, когда напряжение иссякало и не хватало больше воздуха, баи выпускали из рук арканы. Мякли налитые ядра мускулов, и из грудей с сотнями проклятий вырывался вздох. И опять подымался шум стalkerяющихся голосов, напоминавших драку, опять хватались за арканы, наматывали их на руки, на рукава, — тянули.

Кедр не дышал. Точно задумавшись, лежал он, мрачный, мертвенно неподвижный.

Со всех сторон прибывали сплавщики. Набросили еще несколько арканов. Все, кто только услышал крики и успел прибежать, взялся за работу. Около пятидесяти человек двухсотпудовой тяжестью повисли на арканах. В ушах стоял гуд. Вздувшиеся затылки, казалось, вот-вот лопнут. Раздавались натужные, точно позывы к рвоте, стоны работавших.

Вдруг кедр ожил, вздрогнул, оторвался от земли и, качнувшись, медленно поплыл одним концом вверх: будто гигантский сказочный медведь подымался

на задние лапы. Карточным домиком сразу изломалась многоэтажная вышка леса. Засыпав кедр ударами, бревна поджвятили его и увлекли вниз. Выпустив арканы, сплавщики бросились врассыпную от русла. Внезапно грохот движущегося леса и топот бегущих людей прорезал страшный, животный рев. Люди остановились. Не успевший размотать аркана, грузный кержак птицей взлетел в воздух и затем с трехсаженной высоты нырнул головой в грохотавший лес.

Ялла вскрикнула, закрыла лицо руками. Тело кержака было мгновенно превращено в мешок с костями. Бесформенной кровавой тряпкой оно то исчезало под бревнами, то снова появлялось на поверхности. После минутного замешательства сплавщики заторопидись вниз, стараясь не терять из виду труп. Они рассчитывали извлечь его по пути, когда древесина замедлит ход. Но второй, такой же резкий животный рев заставил их оглянуться. Наверху, разрывая гора, несколько баев звали сплавщиков обратно. Ветряными мельницами взлетали в воздух их руки. Бежавшие остановились. В нерешительности они смотрели то на зовущих, то на терявшийся из виду труп. Крики наверху усиливались. Бросив последний взгляд на погибшего, кержаки угрюмо повернули назад.

Самбу встретил их злобным шипением. Никогда еще не видали его в такой ярости. На раскаленном докрасна лице шипели, вздувались и лопались пузырьки слюны. Руки и подбородок дрожали. Мутно-розовые глаза слезились, слова вырывались с трудом, с клетотом и хрипом, точно кто-то схватил старика за горло и душил.

— Работать, работать, черти! Работать!..

Несколько кержакских голосов сразу возразило:

— Похоронить бы надо...

— Работать,—покрыли их другие голоса,—некогда хоронить!

— Чего некогда?!

— Вода начинает спадать,—снова захрипел Самбу.—Завтра уже будет поздно. Надо спешить...

— Знаем тебя, китайская морда,— вспыхнули кержаки,— был бы не наш, а твой, пел бы ты иначе...

Сплавщики загудели, заволновались. Спутались в свалке голоса. Перед самым носом Самбу кержак Вяткин цо-грясал огромным волосатым кулаком. Кто-то из теленгитов вытащил из-за кушача нож. Самбу быстро схватил его за руку. Каждую секунду можно было ожидать стычки. Растолкав баев локтями, Седых врезался в толпу, встал между Вяткиным и Самбу, рявкнул:

— Чего вз'елись, бандиты? Рехнулись, что ли? Прав Самбу! Сами, что ли, не понимаете... Три дня работали, для чего? Впустую! Тыфу, бабы...

— Сам баба, язви те в рот,— крикнул кто-то, но голос его уже не нашел поддержки, осекся. Кержаки остывали и гочно пробуждались от сна.

Седых смотрел на них исподлобья, презрительно и сурово. Под его взглядом кержаки молча, виновато отступали. Они были испуганы тем, что произошло. Страшно было подумать, что еще немного упорства—и они сами погубили бы свой план.

Больше никто не произнес ни слова. Сплавщики быстро подхватили брошенные жерди и разошлись по местам скатки.

Лес снова загудел, снова загрохотали по руслам бревна.

## 6

Ялла спускалась верхом к юрте.

Работа приходила к концу, оставаться в лесу больше не было смысла. С участка слабо доносились голоса. Где-то близко куковала кукушка.

День умирал. Лес опуская ресницы. Догорала янтарная колоннада кедров. Блекли, лиловели тени.

Тигирек застоялся сегодня до отката. Ялла работала весь день на ногах и почти не садилась на коня. Высоко поднимая ноги и виляя длинным—до земли—хвостом, он грациозно спускался по тропинке отлогого холма. Отяжелевший от бесперывной охоты на бурундучков, Чеке-Таман плелся позади.

Ровный, спокойный свет начинавших сумерек очертил все предметы с пре-

дельной ясностью. Не ослепленный натиском дневных лучей, глаз видел далеко. Выехав за поворот, Ялла замерла: в показавшейся вдали точке ей почудился отец. Ялла понимала, что это невозможно. У старика больная, негнущаяся нога, два года он почти не покидает юрты. Она старалась успокоить себя, но сердце сжатым кулаком колотило грудь. Приближавшаяся фигура становилась все более и более знакомой. Наконец Ялла ясно различила привычные измученные черты. Аргачи волочил больную ногу с невероятным трудом. Всякий раз, когда надлежало сделать очередной шаг, старик обхватывал больную ногу руками и вытягивал ее, как вытягивают на берег перегруженную лодку.

В упругие бока Тигирека врезались каблуки. Двумя взлетами он пронес Яллу к старику и сбросил ее к его ногам. Руки старика тяжело упали на плечи Яллы. Прерывисто дыша, он говорил, глотая воздух после каждого слова:

— Скорей, скорей... Ялла... скорей... домой...

— Что! Что случилось?..— умоляюще спрашивала Ялла.

Она поддерживала отца руками. Со стороны могло показаться, что они борются, стараясь свалить друг друга.

— Скорей... скорей...— задыхался старик.— Там Пашаев. Он хочет вид...

Ялла недослушала отца. Через минуту она ворвалась в юрту. У костра на овчинах лежал Пашаев. На лице Пашаева играли бронзовые и лилово-голубые отсветы. Ялла робко подошла к неизвестному ей человеку. Глаза его были закрыты. Из полуоткрытого рта вырывались глухие стоны. Ялла нагнулась. Только теперь она заметила, что лицо и руки лежавшего были измазаны кровью и землей.

Пашаев открыл глаза. Увидев Яллу, он поднялся на локте. Вспыхнули, заискрились воспаленным блеском глаза. Он лепетал, заплетаясь, сиюсья говорить скорее, чем мог:

— Надо скорее... я знаю... я слышал... меня чуть не убили... гавань лопнет, не выдержит. Скачи скорей. Самбу гово-



рил там... на Орлином Гнезде... больше тысячи кубов запонь не выдержит... Он знает, не выдержит... Самбу знает... Он сам...

Пашаев не мог больше говорить. Лицо его пересекла судорожная гримаса боли.

Ялла медленно, круто соображала. В глазах померкло. Страшно было осознать то, что уже было угадано. Она отмахивалась от ужасной правды, которая надвигалась неумолимо на нее. Лес, разговор с Самбу во время отдыха, Седых в толпе кержаков — все наполнялось новым ужасным смыслом.

Перед глазами ворочались колонны бревен, переливались залитые потом мускулы. Баи спешат, напрягаются, и лес гудит, гудит, гудит.

Неудержимой лавой ползет на Яллу древесина. Вспомнился погибший сегодня кержак. Хотелось быть на его месте. Врезаться в лесопад, задержать его своим телом.

Ялла вскрикнула. Лихорадочно и четко заработал мозг, все стало ясно. Надо немедленно скакать в Турочак. Тигирек чутко понимал Яллу. Он сразу угадал необычайную тревогу. Вечером у юрты Ялла всегда сбрасывала с него седло. Сейчас она резко подтянула подпругу. Как только Ялла вставила в стремя ногу, Тигирек рванулся и пулей разорвал воздух. Чеке-Таман не отстал.

## 7

Дорога змеилась берегом, местами заглядывая в тайгу. На западе, ударившись в острые вершины гор, солнце обливалось кровью. Тигирек мчался вихрем, чередуя быстрюю рысь с галопом. Удары копыт сыпались тяжелой дробью. Разбухшая река, гудя тревожным, будто подземным гудом, плавилась золотом, медью, бронзой, застывала в тени холодной вороной сталью. Как спущенная с цепи стая гончих, россыпью мчалась древесина.

Ялла срослась с Тигиреком, ей казалось, что она, а не Тигирек с ненасытной жадностью загребает землю, отбрасывая ее назад. Себя, только себя подгоняла она взмахами аркана.

Внезапно путь загородила вода. Ялла инстинктивно дернула повод. Тигирек вздыбился, шарахнулся в сторону. Дорога нырнула в Бию, тонкой змейкой вынырнула на том берегу. У перевоза скупились телеги, галдели в беспорядочной возне люди.

Из-за подъема воды береговой мостик-трамплин оказался на пол-аршина ниже уровня парама. Рыхлые балки мостика почти тонули в воде. Лошади с трудом вытягивали груз. С грохотом и скрипом взбирались на паром телеги. Ялла торопила паромщика. Наконец, кряхтя, вскарабкалась последняя телега, и громадный нагруженный людьми, лошадьми и телегами паром незаметно отчалил от мостка.

Чеке-Таман застрял на берегу. Погоня за емуранкой отвлекла его в лес. Сейчас он бросился к мостку и заметался на нем в нерешительности. Расстояние между ним и паромом увеличивалось с каждой минутой. Потоптавшись немного, Чеке-Таман прыгнул в воду. Течение сейчас же отнесло его обратно. Забравшись на мостик, он снова потоптался на месте и затем, устремив взгляд на удалявшийся паром, жалобно завыл.

На пароме потешались: облокотясь о перила, ямщики с любопытством следили за каждым движением Чеке-Тамана, вставляли свои замечания, хохотали. К перевозу подкатил коробок. Чеке-Таман бросился к коробку, стал лизать ямщику руки. Он знал, что здесь останавливаются только для переправы, но ямщик напоил лошадей, и коробок повернул обратно. Чеке-Таман в третий раз бросился на мосток и снова завыл. Паром был уже далеко. Ялла смотрела на гоготавших людей, на уменьшавшееся черное пятно Чеке-Тамана безучастным, невидящим взглядом. Все происшедшее отражалось в ее глазах, как на мертвом стекле, не доходя до сознания, которое было перегружено, сдавлено тревогой.

Посреди реки туго натянутый канат едва удерживал паром. Громадный деревянный плац содрогался, как дрожит заторможенный на полном ходу вагон. Миновав бурную зону реки, он плавно подошел к берегу.

Паром не успел еще вплотную подойти к мостку, как Ялла стегнула Тигирека и, выскочив на высокий берег, скрылась за горизонтом.

## 8

Всю ночь гавань сгонала. Скованные железными скрепами по пять бревен в ряд бонны цепко держались друг за друга. Шестидюймовый канат крепил запонь на берегах. Лес прибывал беспрерывным потоком, полчищами гуннов осаждая крепость. Исполинские кедр, лиственницы, поднятые на горбах черной реки, неслись мощными таланами. Всей силой тяжести своей, с далекого разбега глухо стучались они в крипящую грудь гавани.

Ухватившись руками за береговые канаты, врезавшись ступнями якорей в дно, скривля в суставах, вытягивая жилы железных скреп, запонь надрывалась, стонала, сдерживая дикий, страшный напор леса.

У правого берега канат пилой врывался в руку запони. Три гигантских бревна уже были перепилены, и вся запонь, вся тяжесть давившего на нее леса держалась только на двух, уцелевших еще пальцах. Канат впивался дальше.

За прикрытием запони, в кошелях, плотовщики спали на плотах, на мягких своих перинах. Разбитые, измочаленные трудной сплоткой, они забылись тяжелым сном.

Река, ветер, тучи налетали на запонь кишной стаей. Тигирек бешено загребал километры, и только тропинка под его копытами тусклой серебристой лентой быстро текла назад.

Ощущая в ногах горячую кровь Тигирека, Ялла вихрем неслась к гавани. Злобно шипели пенящиеся пороги. Облитые молочным светом луны, они казались разметавшими гривы дикими габунами взмыленных белых кобылиц. В каждом бревне Ялла видела теперь врага, соперника, которого надо во что бы то ни стало обогнать. Тигирек спыкался, изредка падал на колени, но не уменьшал скорости. Всякий раз, когда он круто опускал голову и переходил

в карьер, ветер хлестко бил Яллу в лицо, с воем врывался в уши, давил до глухоты, до боли.

Ялла не видела дороги, не слышала гудевшей реки. Перед глазами неотступно маячила гавань. Мысль о ней одинаково наполняла Яллу нетерпением и страхом, и она крепче и крепче сжимала ноги, все чаще взмахивая арканом. В голове металась одна беспокойная мысль: «Только бы не опоздать, только бы не опоздать...»

Зачем?

Ялла не думала об этом

## 9

В дымчатой седине рассвета Тигирек выскочил на перелесок у гавани.

Запонь была сорвана.

В сломанные ворота крепости врывалась древесина. Бревна теснились в иступленной свалке, взбирались друг на друга, вырывались на свободу. В щелы рассыпались разбуженные ударами плоты. Люди падали в воду, тонули. Со всех сторон раздавались их крики.

Ялла обмерла. Ей не хватало воздуха. Голова ее упала на плечо, поплыла в мутном тошнотном дурмане. Ялла уткнулась лицом в горячую от испарины гриву и, медленно скатываясь с седла, грохнулась о-земь.

Потеряв всадника, Тигирек сделал еще два прыжка и сразу, будто подкошенный, пал. Несколько секунд частой дрожью билось его брюхо, и из ноздрей валил пар. Затем все стихло. Глаза, как спелые черные сливы, обволоклись лиловой пеленой. Из желтой пены рта вывалился громадный язык.

А по реке, ликующе поблескивая в первых лучах солнца, с разухабистой удалью, будто в пьяном разгуле, бесчинствовали, буйнили победители.

## 10

Двухэтажное деревянное здание ай-макисполкома тряслось от беспрерывно сбежавших и подымавшихся по лестнице людей. Топот ног, необычно частый, гулкий и торопливый, дробил сонную тишину аймака. Комната председателя не вмещала больше людей. У незакры-

вавшей сегодня двери толпились плотовщики, комсомольцы ближайших урочищ и партия рабочих, снаряженных к истокам Лебеди на золотые прииски. Все ждали срочных распоряжений Кадышева по борьбе с прорывом.

Справа от Кадышева, в темном углу, на скамье лежала Ялла. О ней забыли все тотчас же после того, как принесли ее с берега. Очнувшись, Ялла оглядела некрашеную деревянную комнату, в которой нельзя было отличить пола от потолка и стен. Она бессмысленно смотрела на осаждавшую Кадышева молчаливую толпу и, внезапно почувствовав непреодолимую, приятную слабость, уснула.

Кадышев сидел за столом и единственной овоей рукой строчил одну бумажку за другой. Ноги его беспокойно двигались, шаркая по полу. Строчки торопливо набегали на бумагу, спотыкались, падали. Когда Кадышев задумывался, он отрывал перо от бумаги и стучал им в дно чернильницы, пока не находил нужных слов. И тогда снова струились, бежали, цепляясь друг за друга, неровные, нервные строчки приказов.

Больше всего беспокоили Кадышева острова, раскинувшиеся за Турочаком, на Бие, группой живописных парков. Их надо было объезжать плотами. Теперь же древесина бросится на острова, заторами скопится у берегов и, если вовремя не протолкнуть ее дальше, пропитается водой, потонет.

Кадышев бросил ручку, поднялся со стула. Толпа зашевелилась, насторожилась. Говорить Кадышеву было трудно, голос звучал придушенно, точно откуда-то издалека, но спокойно:

— Ребята, свалая я дурака. Убаюкали баи. Поверил. Ну, об этом срочно доложу в Улалу. Будьте покойны. А сейчас живо на коней. Рассыпаться по правому берегу группами по десять-пятнадцать человек. К левому не прибьет. Плотовщики с Камы и Волги—на острова. Лес нужно протолкнуть к Ажинску во что бы то ни стало. Там примут, сплотят. Только живо, братцы... Ну-с, пошли... Я сейчас за вами...

Последние слова Кадышева уже дого-

няли плотовщиков. Под их грузным напором загрохотала, закрипела лестница.

— Бердиев, коня!—крикнул Кадышев служителю и опустился на стул. Комната сразу онемела и будто оглохла. Кадышев посмотрел на Яллу и вдруг испугался ее пробуждения. Ведь это она, глупая молодая девушка, еще год тому назад бывшая язычницей и кочевницей, требовала от него колхозников для сплава. Ведь говорила же она, что не справится одна с баями...

Кадышев быстро подписал приказы. В комнату, запыхавшись, вбежал Бердиев.

— Лошадь готова, — крикнул он не в меру громко и взволнованно протянул Кадышеву только-что полученную газету «Кызыл Ойрот». — Вот, читай.

Кадышев пробежал глазами жирную шапку: «На Катунь одержана большая победа. План лесосплава перевыполнен. С Бии оведения еще не поступали».

Скомкав газету, он пробурчал что-то непонятное и быстро покинул комнату. Бердиев распахнул окно. В комнату проник отдаленный гул. Он быстро приблизился и рос, надвигаясь громадой. Казалось, будто сразу с тысяч деревьев посыпались на землю тяжелые плоды. Задрожали стены, задребезжали окна. Ялла проснулась и бросилась к окну. По тракту, в густых клубах пыли, точно в кавалерийской атаке, мчались на конях плотовщики, комсомольцы, рабочие с приисков. Они мчались к Бие, к островам, к заторам—ловить вырвавшийся на свободу лес. Ялла тяжело дышала, глубоко вдыхая горячую, едкую пыль. «Почему я здесь... одна... не с ними? Где Тигирек?»

За поворотом исчезали оставшие всадники. Быстро затихал гул. Блеснули на солнце последние золотые струйки пыли. Ялла опустилась на стул. Перед ней лежали исписанные Кадышевым бумажки. На одной из них, адресованной в Улалу, в областной комитет партии, Ялла прочла:

«Лес будет спасен... Виновники катастрофы бежали в горы. Все, за исключением одного: оставшийся—я».

Повинуясь безотчетной силе, Ялла нетвердой, падающей чертой вычеркнула последнюю фразу.

# Камзол

Рассказ

А. ЯВИЧ

I

**М**не позвонила по телефону Бальджерма. Комсомольцы отправили ее в Москву учиться.

Болезненную, худую девушку эту я встретил на пороге калмыцкой школы в тихом хотоне<sup>1)</sup>, дремавшем в знойном летнем воздухе.

Был вечер, сквозь пыль солнце пронесло оранжевые лучи, и мир по-вечернему тихо тлел в лучах медного солнца и бронзовой пыли. Бальджерма посторонилась, уступая дорогу. Она была совсем девочкой, даже ноги ставила по-детски, коленками внутрь. Тонкая черта ее губ еле размыкалась, пропуская шелестящие слова, а по левой щеке как будто ползла маленькая родинка с очертаниями мухи, и черная тяжелая коса блестела и отливала холодным лаком.

В пустой школьной комнате мы долго беседовали, сидя за узкими, низкими партами. Девушка учительствовала третий год.

— Почему не слышать в степи смеха калмычки? Почему песни какие-то деревянные и пляски судорожные, как будто люди бьются в припадке беззвучного рыдания?

Она подняла глаза, они казались огромными в сумерках, обильно и густо вступавших в комнату.

— Но это так понятно, — ответила она, поглаживая ребро парты, изрезан-

ное перочинным ножом. — Как живет степнячка? Калмычка, говорят, — тень калмыка, его покорная скотина. Она знает труд, голод, обиды и побои, — вот ее жизнь. Вероятно поэтому девушки не мечтают о замужестве, а калмыцкая свадьба напоминает русские похороны. наших дезушек продают мужчинам. Они никогда не любопытствуют, кто он, — вещи безразлично, кто ее хозяин.

За окном сгорала степь в сплошном и мертвом костре заката, а в комнате с каменным полом было прохладно и пахло пресной водой.

Вечернее пространство, затопленное нежной мглой, обладает замечательным свойством: сближает людей доверием и тревогой. Это состояние как будто теснящейся природы длится час, не больше, но оно чудесно своей дремотной, грустной тишиной и лаской.

На черной матовой доске, испачканной мелом, смутно виднелась крючкова-тая надпись, сделанная неопытной рукой. Я подошел к доске, взял мелок и долго вертел его в пальцах. Мел высушил их, проник в тончайшие извилины кожи, и пальцы запахли детством. Тогда я спросил:

— Расскажите мне о камзоле.

— О камзоле? — переспросила Бальджерма. Лицо ее вспыхнуло торопливой краской. — Я никогда не сижу согнувшись, я всегда как будто закованная...

В окно глядел восковой закат, он быстро увял, наливая комнату тьмой. Я закурил, искра беспокойно мерцала.

<sup>1)</sup> Деревня

Я не видел лица девушки, но слышал ее голос, глубокий, ровный. Идущий сквозь колод воспоминаний.

## II

Как-то случилось — и совсем недавно, на исторической памяти ближайших поколений, — что в степь принесли жужой обычай: пеленать девичью грудь, дабы она не росла. Мода дикарей объявила пышность женских форм позором, женскую грудь — уродством. С тех пор повелось, что девушку с двенадцати лет бинтуют в камзол — жилетку, стягивающую туго-натуго неразвившуюся грудь. Первый декрет революции строжайше запретил ношение его, но девушки тайно носят.

Преступное зло камзола исключительно: грудь калмычки — это как бы обрубленные ступни китайки, насильственно изувеченные колодками. Камзол — главная причина того, что калмычки беспощадно вымирают, что женщин в степи меньше, нежели мужчин, что старость у калмычек наступает в тридцать лет.

И Бальджерма, застенчивая, робкая, как все калмыцкие девушки, когда вышли ее двенадцать лет, надела камзол и гордилась им, как новыми башмаками, но долго не могла привыкнуть к горячей гесноте его и часто плакала.

Прос отца ее говорили: «Уленчи выскочил из седла». Когда он находился в юрте, мать предпочитала уходить.

У старой Дельгр было восемь детей, но остались две дочери, остальные поумирали в разном возрасте. Смерть ребенка отец встречал равнодушно, только в сорок девятый день, день поминок, безобразно напивался, плакал и причитал.

— Почему погублена жизнь?.. Почему человек выскочил из седла? Потому, что водка, грязь и нищета... — И мутные, как квас, глаза его истекали гнилыми, трахомными слезами.

Мать же плакала все сорок девять дней, на пятидесятый утихала и забывала ребенка.

Она обычно была голодной и тайком от мужа ела, ела жадно, быстро,

обрызгая пальцы. А Уленчи, вернувшись в кибитку, всегда кричал:

— Ты опять жрала, элечин! <sup>1)</sup>

Трезвым он бывал редко и по целым дням шляется по хотону, как, впрочем, и все калмыки. Они собирались, чтобы болтать, хвастать, лгать и драться. Сев на короточки, беспрерывно куря, они вздорно спорили. Когда спор заходил о том, чья лошадь лучше, не медленно устраивали скачки.

Годы торопились, быстрые, однотонные, как срывающиеся с крыши дождевые капли.

И вот хилую красоту Бальджермы заметил рябой и богатый Ильдя, отца которого Уленчи когда-то пас табуны. У Ильди были такие круглые ноги, что между ними могло уместиться переднее колесо телеги. Люди потешались над ним:

— Магь слишком долго носила его верхом на боку, чтобы из него вышел хороший наездник... теперь ему впороздить на корове.

Было Ильде без малого сорок и Бальджерме едва четырнадцать. Послал он худу <sup>2)</sup>, дал ему бордху <sup>3)</sup>, набитую серебряными монетами, но Уленчи был трезв и не пожелал говорить со сватом. Тогда рябой послал второго. На этот раз пьяный чабан серебро забрал и пропил. И Ильдя согласился подождать год.

Как-то раз комсомолка Эргечке, тайно влюбленная в секретаря ячейки Пюрвэ, затащила подругу на комсомольское собрание. Комсомольцев в то время было еще мало, но они вошли в жизнь хотона, как входит втулка в круглое отверстие колеса.

Собрание кипело в пространстве между двух кибиток.

Бурно говорили парни о камзоле, и Бальджерма подивилась, что они смеют так дерзко говорить. Она поминутно озиралась, ожидая невыразимо ужасной кары за эти речи.

Юный Пюрвэ, у которого пена билась на губах, кричал:

<sup>1)</sup> Сука.

<sup>2)</sup> Сват.

<sup>3)</sup> Сосуд на верблюжьей кож.

— Советская власть запретила камзол, но даже комсомолки тайно носят. Так велят старики. А что сделал камзол с Шикре? Он вывернул ее грудь наизнанку, и Шикре на ваших глазах кончилась от чахотки.

Кто-то крикнул:

— Выкрест, русский!

Но Пюрвэ размахивал руками, словно дрался с кем-то невидимым.

Этот грохот слов оглушал, и Бальджерма не понимала мятежных речей комсомольцев.

Привычка давно уничтожила теснящие неудобства камзола; правда, в те краткие часы, когда можно было снять его, девушка испытывала сладостное облегчение, точно с нее сняли сухой обруч. Но старики утверждали, что и бочка без обручей распухает и разваливается.

Между тем на трибуну — простой табурет — взобрался Нарма. Он убеждал девушек сбросить камзол. Он волновался и растягивал слова, точно преодолевая препятствие. Это его волнение пердалось Бальджерме. Она подозрительно оглянулась на подругу, у которой был такой странный вид, словно на нее наступало счастливое видение. Эргечке то расстегивала, то застегивала кофточку на груди, и пальцы у нее мелко, лихорадочно дрожали. Вдруг они напряженно, решительно сжались, и тогда сверкнул кулак, и Эргечке крикнула, крикнула так, будто ей разодрали рот:

— Надо сжечь его!.. — Слова вылетели, словно медные тарелки с лязганьем и воплем.

Этот девичий крик испугал всех. Девушки отступили, стадно теснясь. Даже Пюрвэ растерялся, но быстро оправился:

— Эргечке права, сожжем камзол!..

Снова в Бальджерму полетели горячие камни слов, и она заметалась, заматалась, как ошалевший от страха зверек, за которым, в сущности, никто не гонится.

Из степи примчался гелюнг<sup>1)</sup>, которого уже успели предупредить. Он бежал, перепрыгивая через ямы, и раз-

дутый ветром малиновый халат его повис в ногах.

— Богохульники, вероотступники проклятие на вас, детей ваших и внуков! — взвизгнул он злым собачьим голосом.

Но камзол успели поджечь, он тлел на траве, распространяя зловоние гари. Эргечке подвинулась и злобно плюнула на него, он змеино зашипел, тогда она толкнула его ногой.

— Кишва ноха!<sup>2)</sup> — И еще раз плюнула.

Медленно сдвигался круг, кто-то приволок бутылку с керосином, а Бальджерма прижала ладони к груди, как будто боялась, что с нее насильно снимут камзол.

Костер искрился, кипел, трещал. Гелюнг было бросился затоптать его, но монаха оттолкнул старик Мучке.

— Отойди, бугай, — сказал он. — Из плохой кибитки вонючий дым идет. Вся степь горит... — и сощурил коричневые глаза. На бритом полном черепе гелюнга багровел отблеск огня, казалась, по лбу монаха струится кровавый пот.

А в костер падали новые камзолы хлопая, как жалмыцкие плетки, огненные языки взвились к небу парусами ветер раздувал их, и стаи искр безумно плясали.

### III

Одиноко возвращалась Бальджерма с тоскующим и смущенным сердцем. Она брела мелким шагом, не глядя по сторонам.

На ней было длинное до земли бледнорозовое в цветок платье. От времени и грязи оно загердело и топорщилось.

Наступал вечер. Еще звучали голоса, но вскоре растаяли в густых волнах ночи. Степь умолкла.

В кибитке скупого отца горел свет, и Бальджерма подумала, что кто-то заболел.

Неподалеку от юрты ее дожидалась сестра, не по годам старая от голода и побоев мужа. Она нервно перебирала пальцы, как монах четки. Криво улы-

<sup>1)</sup> Поп. монах

<sup>2)</sup> Несчастливая собака

баясь, точно у нее ныли зубы, она сказала:

— Бальджерма, не ходи туда! Побудь здесь!

— Почему? — обеспокоилась девушка.

— Побудь здесь! Там чужие... — Она отвернулась и добавила невнятно: — Она не хочет больше ждать...

Бальджерма поняла.

— Но ведь год еще не прошел, — возмутилась она.

— Что делать, если Ильдя богат, а твой отец беден, если старый чабан служил старому богачу. Где отец возьмет денег, чтобы возместить расходы Ильде. Столько баранов и столько араки<sup>1)</sup>, он угощал нас и гостей и купил тебя щедротами богача. — И намокшие губы Кишты растянулись в кривую гримасу плача.

Ночью прискакал Ильдя на смотрины невесты. Он привез араки, двух зарезанных баранов и одного живого. Сперва ели, пили и молчали, лишь чавканье звучало, ровно шлепали по доске мокрой тряпкой.

Потом отец взял платок в одну руку, серебряную монету в другую, а мать сказала:

— Тяни! Тянуть — не оборвать, ломать — не отломать... Пусть будет, как клей, крепко, как серебро, твердо, как солнце, светло...

Родственник Ильди потянул платок, но пьяный Уленчи выпустил его из рук, хотя этого делать нельзя было. Тогда Дельгр громко заплакала на плохую примету, заплакала так, как в сорок девятый день траура по ребенку, однако пьяный муж приказал ей замолчать. В знак состоявшегося обручения выбросили баранью окровавленную голову в отверстие на круглом потолке.

Начались пьянство и драки.

Бальджерма медленно двинулась в степь, затем заспешила, путаясь в своем длинном платии. Ее долго нагонял пьяный вой.

Она опустилась на сыроватый ночной песок и вскинула лицо.

Степь вставала, как гигантская кибитка, набитая мраком. Сухое молчание

ее уходило в глушь времени и пространства. Текла ночь, пахнущая ковылем и мятой. Небо вызвездило, — широким туманным потоком неся Млечный путь, осыпаясь искрами звезд, — оно трепетало, вспыхивало, тлело и гасло.

Отмирали часы, как изношенные клетки времени. Уже где-то в невидимые трещины ночи ворвалась мутная паутина рассвета. Начинаясь отлив, во мгле лежали черные кибитки, как огромные взлохмаченные головы.

А Бальджерма все еще сидела, устремив слепой взор в одну точку. Она ничего не слышала, не видела и ни о чем не думала, раздавленная животной тоской. Она раскачивалась, словно на молитве, и бессмысленно, по-старушечьи причитала. Она нащупала влажную траву и начала выдергивать по травинке, затем пучками — трава отрывалась с хрустом, будто ее откусывали. Потом Бальджерма погладила песок и вытерла ладони о платье.

Она пришла в кибитку на рассвете. Гости валялись, точно зарезанные. Ильдя отдувался и сопел, как корова, лицо у него было дырявое, грязное, а из открытого рта текла тонкой стружкой слюна.

Девушка долго смотрела на эту бесконечную слюнную сосульку, и так как она не обрывалась, то Бальджерма заплакала. Она плакала тихо, боясь разбудить спящих, и по-детски заснула.

И вот из темных, разбегающихся волн выступил коричневый круг, завертелся и разбился рябящими звездами. И увидела Бальджерма черный след собранной кибитки, лежащий на снегу, как огромное колесо. Бальджерма сообразила, что хотон меняет кочевье.

Стоял верблюду, выдвинув маленькую голову на дрожащей кривой шее, жевал пустым ртом, и по шее его катился глоток.

Старая мать раскладывала костры по обеим сторонам дороги, чтобы пройти сквозь огонь очищения. Вдруг она бросила в костер камзол, а он извивался в огне, как червь.

Ночь нависла, как гигантская летучая мышь, во тьме плакала сова, как ребе-

<sup>1)</sup> Калмыцкая водка

нок. А Бальджерма бежала, за ней с грохотом катилась баранья голова. Девушка оступилась и полетела в пропасть с остановившимся сердцем. Она падала безумно долго и, тихо вскрикнув, проснулась.

Мышинный рассвет втекал в кибитку.

На кровати отца валялся тулуп, напоминая человека, на другой спал мужчина, похожий на длинный ящик, мать и Кишта беззвучно замерли на земляном полу, в сумраке уподобясь развороченной туше. Все было уродливо, как во сне. Подле двери стояла грязная глиняная посуда. Мать недавно научилась мыть ее, но часто забывала это делать.

Тяжелый, спертый воздух, пропахший водочным перегаром, человеческим сонным телом и тухлой бараниной, застыл, спресованный тишиной.

Бальджерма поползла к своему обычному месту, дрожа от холода и тоски, и, натянув на себя седую кошму, свернулась.

#### IV

На утро Бальджерма кинулась к отцу, но он отшвырнул ее, как паршивую кошку. Глухая покорность сковала ее волю, и она подчинилась слезливой мольбе матери. Но это подчинение предшествовало бунту, как тишина — грозе.

Через несколько часов, просеянных временем, как пустые зерна, она вышла в степь.

В чистом небе замерз кусок пены, степь не дышала, пустынная тишина протекала над ней в бронзовом, раскаленном свете полудня. Вдали сверкали снежные полосы высохших соленых озер, да серые солончаки обманчиво напоминали пруды. Везде, чудилось, играет вода. Глазам больно было глядеть на пылающую в дыму восковую степь, на которую не одно, а множество солнц льют опустошающий зной. Суслик сидел у дороги, перебирая лапками. А на горизонте сиял безжизненный мираж, убогий, как степная песня, по вскоре растаял.

Бальджерма услышала далекий, однотонный скрип, а когда поднялась на бугор, то увидела жокару, которую лениво тащила утомленная лошадь. На арбе сидел русский мужик, распевая пьяную песню. Песня его плыла сквозь горячее пространство удивительно долго, и, когда он перестал петь, она все еще звенела в стоячем, вязком воздухе.

Краем дороги шагала босая баба в широких юбках и ругала мужика густой брассью. Она давила пыль большими, как утюги, плотными серыми ступнями и покачивалась.

Бальджерма задержалась, привлеченная тем, что баба ругает мужика, как если бы была мужчиной. Калмычка испытывала какой-то внезапный восторг перед этой молодой, здоровой женщиной, время от времени вытиравшей лицо концом головного платка.

Поровнявшись с калмычкой, баба спросила:

— Чего, девушка, делаешь?

Но Бальджерма плохо понимала русскую речь и совсем не говорила, она лишь смущенно улыбалась, оголяя мелкие, желтоватые зубы. Тогда баба заговорила изуродованным калмыцким языком.

Арба ушла вперед, мужик притих. Низко над головой бесшумно стриг воздух кобчик. Баба стояла, подбочившись, и спрашивала калмычку.

— Небось, тесно тебе жить в своей одежде, — сказал она снова по-русски и ослабилась.

Была она года на четыре старше Бальджермы, ширококостная, упрямого сложения, — видно было, что вольно ей в свободной кофте и юбках. Потом она нагнулась, и Бальджерма увидела молочно-розовые, полные и круглые очертания бабьей груди. Она отвернула лицо, неловкая, напряженная, вдруг почувствовав липкую тяжесть камзола, обхватившего грудь, как хомут лошажьей шее, и заторопилась. Неожиданно она заметила широкую спокойную тень, передвигающуюся на дороге; она никогда не видала такой уверенной, подвижной тени. А рядом вытянулась



другая, длинная, худая, будто привязанная к доске, и Бальджерма усмехнулась этому странному соседству.

Добродушно ухмыляясь, баба отравила нагонять жару, оглушавшую степь унылым скрипом. А калмычка смогрела ей вслед, и улыбка умирала на ее поджавшихся губах, вытиснивших на лице тонкий и злой рисунок рта. Она снова глянула на свою прямоугольную, связанную тень, точно сравнивая, и глаза ее потемнели.

А когда баба скрылась, Бальджерма спрятала лицо в ладони.

Все, что было мучительно-смутно, неожиданно обрело холодную ясность, как бывает в осенние погожие дни на воде. Бальджерма поняла, что камзол — это вовсе не предмет, а сила, закон, это рябой Ильдя, пьяный отец и покорная мать, это пустая, выжаренная степь.

Она отняла руки от лица, и оглянулась по сторонам: никого не было. Степь исходила молчанием и безумием от жары, жажды, растрескавшаяся, ровно после землетрясения.

Бальджерма ловко и быстро расстегнула платье и сняла камзол. С минуту стояла, бесстыдно оголив смуглую грудь навстречу воздуху, солнцу, потом закрылась и стала рассматривать камзол, змеившийся по ее рукам. Сморщенный, как старое лицо, смятый, мокрый от пота, он бессильно свесился по обе стороны ее ладони.

Она вспомнила, как плюнула Эргече на подожженный камзол, и ее охватила злоба обманутого. Она рвала, терзала, хлестала его, затем кинула в пыль и топтала с изступлением и свирепостью восставшего раба.

Он валялся под ногами, растоптанный, рванный, ничтожный, и Бальджер-

ма отшвырнула его ногой так, как не давно отец ее.

Она не заметила, как приползла туча и повисла, как гигантская скала. Молния беззвучно разрезала ее, грома не было. Затем взвихрился песок, он кружил, плясал, бесновался на дороге, его уносило в степь. А солнце, огромное застланное туманом песчаной пурги продолжало палить.

Тучу пронесло стороной, она не развилась дождем, ее разбило, растрепало, развеяло в клочья; рваным парусом мчал ее, и жадная земля, высохшая, как мумия, не вкусила сладости оплодотворяющей плоти, не наслаждалась страстью орошения.

Песчаный дождь утих, степь лежала обессиленная, притихшая, почерневшая.

Сжав упрямо рот, с холодной жесткостью повстанца, шла Бальджерма то роковым и ровным шагом сквозь ветер, жар и песок. Пыль и пот смешались на ее похуевшем лице, мокрые волосы слиплись на висках и лбу, а запавшие глаза, окруженные грязью ресниц и бровей, тревожно и мутно сверкали.

Она явилась в комсомол к Пюрвэ сказала, глядя мимо него трепетным и тихими глазами:

— Я не выйду замуж за рябого, ненавижу камзол. Я хочу учиться... хочу... хочу, чтобы за мной шла чело-веческая тень... — Она проглотила слезы.

— Ты четвертая так приходишь спокойно ответил Пюрвэ.

... Воспоминания, как и сны, мгновенны. Я все еще держу телефонную трубку. И образ калмычки мерцает в полу-мгле, запавшей пыльными вечерними сумерками.

# Люди и факты

## АКАДЕМИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

А Старчаков.

(Письмо из Ленинграда)

Уже переодетый Керенский бежал из Гатчинского дворца в Ростов сквозь большевистские кордоны: на этот раз талант посредственного актера оказался спасительным. И Пуришкевич уже успел сколотить первый офицерский заговор, призывая атамана Каледина обрушиться с Дона на мятежный Питер.

В те ноябрьские ночи, опоясанные огнями, пронизанные токами революционной воли и гнева, Смольный походил на многопалубный корабль, рассекающий поверхность взбешенного моря. И комната шестьдесят седьмая (этажерка, письменный стол, кровать, покрытая серым одеялом) — комната Ленина — была боевой рубкой, где бодрствовал, не зная отдыха, великий кормчий.

Смольный в ноябре говорил по радио со всем миром, слал во все концы своих комиссаров, прозвал в своих прокламациях саботажникам и контрреволюционерам.

Но в Петрограде еще существовала старая городская дума, против Гостиного, под каланчой. Дума называла себя «Комитетом спасения», она посылала даже к матросам своих комиссаров — графиню Панину и престарелого Арсеньева. Дума объявила Смольный вне закона, звала к неподчинению, и чиновники Государственного банка, мирные поклонники преферанса и пирогов с прибами, пытались отказать Совнарком в выдаче 25 миллионов рублей. Бухгалтера, состарившиеся над grosбухами

и ресконтро, обратились к населению со своим особым воззванием.

— Государственный банк закрыт, — писали бухгалтера. Почему? — Граждане, спасите народное достоиние от грабежа, а нас от насилия, и мы немедленно приступим к работе.

Когда это было? Сколько лет тому назад? Пятнадцать? Или, как в «Золотой легенде» Лонгфелло, мы, зачарованные пением чудесной птицы—истории — принимаем столетие за час?

Тогда маститые общественные деятели, профессора, домовладельцы в роскошных шубах, актеры демонстрировали на Невском свое неприятие социалистической революции. Тогда Наркомпрос договаривался об автономии с Александринским театром, как с равноправной стороной. «Границы автономии» во взаимоотношениях между государством и театрами должны быть точно определены» — читаем мы в документе, относящемся к марту 1918 года.

Приблизительно в то же время Наркомпрос начал переговоры с Академией наук.

На обращение Наркомпроса старая Академия ответила, что она всегда готова «по требованию жизни и государства» приняться за посильную научную теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства». И Ленин в апреле 1918 года предложил ВСНХ установить тесную связь с Академией и набросал план работ, обратив особое

внимание на электрификацию промышленности и транспорта, на использование второстепенных видов топлива (см. Ленин, т. XXII, стр. 433).

Но конечно в то время не могло быть и речи о безоговорочном служении старой Академии наук молодой социалистической республике.

Часть старой интеллигенции открыто выступала против Советов. Другие терпеливо дожидались «лучших времен». Третьи соглашались даже работать, но при этом руководствовались не столько сознанием гражданского долга, сколько мудростью старого Савельича из «Капитанской дочки».

— Не упрямясь... Чего тебе стоит... Плюнь да поцелуй у злодея ручку.

И только небольшое ядро старой интеллигенции сознательно и беззаветно отдавало свои силы служению социалистической революции.

Академия наук была прочно связана со старой царской Россией. Эта связь была обусловлена всей историей, всем развитием Академии. И все же рост революционных настроений в стране находил свой отзыв в двухсотлетнем здании над Невой.

В конце января 1905 года в газетах появилась «Записка о нуждах просвещения в России». Записка говорила о «крайней опасности, в которую подвергается народ, лишенный просвещения и элементарной законности».

Среди лиц, подписавших записку, были семнадцать действительных членов Академии наук. Это была дань старой Академии бурным «дням свободы». Константин Романов — президент Академии — особым письмом посоветовал подписавшимся вместо требования элементарной законности обратиться «к скромному и святому исполнению своего высокого и ответственного ученого и учебного долга». И между прочим с солдатской резкостью указал на «непоследовательность» ученых, ратующих «о правах народных и в то же время получающих от правительства «казенное содержание».

Письмо вызвало среди академиков, подписавших записку, шквал возмуще-

ния. Одни заявляли о своей готовности немедленно оставить Академию. Другие, наоборот, предлагали не подавать в отставку и твердо бороться за свои взгляды, хотя бы с риском потерять занимаемый пост. Дело конечно так далеко не зашло. Либеральная буря скоро улеглась: все окончилось благополучным примирением сторон. Президент заявил о своем уважении к ученым, и торжественная формула перехода: «А теперь, господа, откроем наше собрание и во исполнение устава и дорогих преданий Академии не будем отвлекаться политическим разномыслием ученых занятий» — была встречена общим удовлетворением.

Но все же пражданский мир не мог быть прочным, несмотря на умеренную температуру политических разногласий. Только люди в футляре, состарившиеся над изучением проповедей какого-нибудь византийского попа, чиновники от науки, являвшиеся в стенах Академии активными агентами реакции, могли спокойно отделить свои «ученые занятия» от конкретной действительности. Лучшие представители старой Академии не могли не видеть той бездны, которая лежала между наукой и нищей, невежественной Россией. Пользуясь сравнением одного из горьковских персонажей, старую Академию наук можно было уподобить роскошной бобровой шапке, надетой на голову человека, закутанного в лохмотья.

В стенах Академии трудилась целая плеяда ученых, заслуженно носивших свою мировую славу. Академия накопила огромные научные богатства.

Но, подобно золоту Рейна из древнегерманской саги, богатства эти были погребены. Весь положительный опыт Академии наук объективно находился в непримиримом противоречии с практикой феодальной империи.

Страна, скованная еще достаточно крепкой броней феодализма, не могла использовать и тысячной доли научного опыта, накопленного Академией наук. Устав 1836 года предлагал Академии «приспособить научные теории и следствия опытов и ученых наблюдений к

практическому употреблению». Но устав оставался пустой схемой. Об этом говорит целый ряд непреложных фактов.

Например огромная заслуга старой Академии заключалась в том, что она первая в ряду других мировых академий стала изучать языки малых народностей, «инородцев». В то время как другие европейские академии ограничивались только изучением языков классической древности, Российская Академия занялась языками многочисленных народностей, населяющих нашу страну.

Санскритист Бетлинг был основоположником научного изучения якутского языка. Экспедиция во главе с академиком Кастреном в течение семи лет изучала языки сибирских народностей и заложила основы языкознания уральских и алтайский обитателей. Академики Шифнер, Залеман, Радлов отдавали свои силы составлению и изданию текстов, словарей и грамматик на языке осетин, тюрков, чукчей, юкагиров и гыяков.

Но тюрки Закавказья владели в основных своих массах жалкое рабское существование, не смея даже мечтать об элементарной грамоте. В четырнадцатом году в Баку тюрки-нефтяники в страшных мучениях умирали от чумы в лачугах, напоминая нищие хижины индусских кварталов Калькутты. Когда о чуме, о невозможных жилищных условиях, о чудовищном невежестве рабочих говорили миллионеру Тагиеву, он, опустив лиловые веки, многозначительно изрекал:

— На то воля аллаха! Рабочий, который живет в доме, — уже не рабочий.

Академики Кастрен и Радлов изучали языки сибирских народов. Но юкагиры и чукчи, откупившись от православных миссионеров, попрежнему мочились своим языческим богам и безропотно умирали от сифилиса и алкоголизма, занесенных просвещенными колонизаторами, не подозревая даже, что в далеком Петербурге, над Невой, великие ученые занимаются изучением их родного языка.

Самая мысль о просвещении этих народов казалась фантастической. Чинов-

ник особых поручений при якутском генерал-губернаторе Геденштром писал:

«Якутская область — одна из тех стран, где просвещение или расширение понятий человеческих более вредно, чем полезно. Житель сей дикой пустыни, сравнивая себя с другими жителями мира, понял бы свое бедственное состояние, но не нашел бы средств к его улучшению. Он доволен теперь при счастливым своим невежеством».

Чиновник особых поручений Геденштром одним маховением властной руки зачеркивал возможность применить многолетнюю работу мировых ученых. «Счастливое невежество» малых народностей возводилось в систему.

Национальная политика нашей партии открыла необятные просторы для науки. К сведению потомков Геденштрома: сегодня в автономной Якутской республике уже существует пятнадцать техникумов, в которых преподавание ведется на родном языке. В якутских деревнях — на слегах — читают свою газету «Кым»<sup>1)</sup>. И если семь лет назад в Якутии только десять человек из ста умели читать, то сегодня уже 60 процентов ликвидировали свою неграмотность.

В Ленинграде создано специальное высшее учебное заведение для народов Севера, являющееся кузницей национальной пролетарской интеллигенции.

Тунгус Ньюкуса из родного стойбища случайно попал в провинциальный Хабаровск. Он до того был ошеломлен видом города, что в течение трех дней не решался выходить на улицу. Встреча с комсомольцами убеждает его в необходимости учиться. Сегодня он — студент Ленинградского института народов Севера. Он читает Маркса, Ленина, Сталина. Он — не плохой экономист. статистик.

Получив высшее образование, якуты, юкагиры, чукчи, тунгусы возвращаются к себе на далекую родину, на побережье Ледовитого океана, чтобы служить родному народу. Сегодня среди тунгусских стойбищ уже можно встретить палатку ликбеза, и охотник-тунгус знает, что в

<sup>1)</sup> «Искра».

районе имеется интернат, куда он может отвезти на лето для обучения своих детей.

Старая Академия наук собрала весьма значительные материалы по изучению производительных сил страны. Академия предпринимала ряд замечательных экспедиций. Отдельные из них длились по несколько лет.

Над изучением производительных сил много поработал Александр Петрович Карпинский, президент Академии наук.

Уже более шестидесяти пяти лет А. П. Карпинский работает над изучением горных пород от Волыни до Амура и от Канина полуострова до Кавказского побережья. Перу А. П. Карпинского принадлежат работы о полезных ископаемых Европейской России и Урала, — работы, пользующиеся по праву мировой известностью. Знаменитый геолог предсказал открытие залежей каменной соли под Бахмутом, — богатства наших земных недр не представляют для него тайн. Небольшая группа геологов под руководством А. П. Карпинского в течение двадцати лет буквально создала геологию Европейской России и Урала, поставив ее на высоту западноевропейской науки. Геологическая карта, составленная ученым и его учениками, намечает в русской геологии новую эру, которой по справедливости должно быть дано имя Карпинского.

Ученый родился на Урале, провел здесь детские годы, здесь же начал и свою работу геолога.

Но до Октября Урал спал богатый сном. Российский капитализм, хуторской и хищнический, по своей природе не мог разбудить богатства, спавшие в его недрах. Уральская промышленность, выросшая на дешевом труде, поражала своей отсталостью. Отечественные промышленники в самой ничтожной мере могли использовать труд наших ученых.

Социализм стал содержанием, практической программой нашей действительности. Социализм вызвал к жизни дремавшие производительные силы и, развязав их, предъявил новые огромные требования к научному творчеству

Если раньше наука, обогнав на несколько столетий возможности феодальной России, шла далеко впереди жизни то в наши дни вопрос об ускорении темпов научного исследования, о планировании науки в соответствии с нуждами страны уже является одним из основных и существенных вопросов.

Летом этого года сессия Академии наук впервые за двести лет была вынесена далеко на периферию. Академия наук выехала на Урал.

И перед значительным отрядом наших ученых, во главе с А. П. Карпинским посвятившим столько лет своей жизни изучению Урала, открылась новая, преобразенная страна. Наши ученые воочию убедились в том, что может сделать героический пролетариат, воодушевляемый идеей коммунизма и руководимый великой партией и ее славным вождем. Перед академиками предстали гиганты современной техники, великаны Урала и Кузбасса — Магнитострой и Кузнецкстрой.

Ученые увидели грандиозный Урало-Кузнецкий комбинат, мощную угольно-металлургическую базу Советского Союза, возникшую из сочетания уральских и халиловских руд с хорошо коксующимися кузнецкими и карагандинскими углями.

Академик Маслов говорит о своих впечатлениях:

— Строительство Урало-Кузнецкого комбината не имеет себе подобного во всем мире ни по размерам, ни по разнообразию составных элементов, из которых он строится. В основе строительства лежат естественные богатства Урала и Западной Сибири. Вместо сотен крупных отдельных частных предприятий, как это было бы при капиталистическом строении организуется один колоссальный комбинат, все части которого органически связаны друг с другом.

Академик Самойлович рассказывает о днях своего пребывания на Урале:

— С особо острой ясностью чувствовалась и величие единения высшего в Союзе научно-исследовательского учреждения с деятелями практики и работ-

сками физического труда, и высота энтузиазма, приводившая союз труда и науки в СССР от победы к победе.

Но для того, чтобы проникнуться пониманием нашей борьбы и строительства, чтобы почувствовать их величие и энтузиазм, старая Академия наук должна была пройти бо́льшой путь. Нужно было осознать историческую правоту пролетариата.

Десять лет тому назад, в апреле 1922 года, в дни, когда страна только приступала к восстановлению своего хозяйства, подорванного чудовищной семилетней войной, Ленин, отвечая на письмо американского специалиста Карла Штейнмеца, писал:

«Во всех странах мира растет — медленнее, чем того следует ожидать, но неуклонно и неуклонно растет — число представителей науки, техники, искусства, которые убеждаются в необходимости замены капитализма иным общественно-экономическим строем и которых «страшные трудности» борьбы Советской России против всего капиталистического мира не отталкивают, не отлуговивают, а, напротив, приводят к сознанию неизбежности борьбы и необходимости принять в ней посильное участие, помогая новому осилить старое» (Ленин, т. XXVII, стр. 275).

Эти слова, подсказанные непоколебимой верой в конечную победу коммунизма во всем мире, оказались пророческими.

В стенах старой Академии наук началось достаточно высоких умов, которые не могли не увидеть величия идеала нового человечества, не оценить необъятные перспективы, которые открывает социализм перед наукой.

Было бы величайшей ошибкой полагать, что старые ученые мирно «врастают» в социализм.

Путь перестройки был очень сложен. Успех ее был обеспечен суровой самокритикой, самоочищением от элементов «враждебных и чуждых социалистическому строительству».

Сегодня Академия наук в основном уже является проверенным помощником партии и рабочего класса.

Закончившаяся недавно юбилейная сессия Академии наук, ее работа в рабочих клубах, в домах культуры Ленинграда, в присутствии тысяч рабочих, знаменует собой еще более крепкое единение науки и труда. Академики выезжали и на ленинградские заводы.

Акад. А. А. Чернышев свой доклад «О новейших достижениях советской электротехники и электропередачах» сделал среди широкой аудитории на заводе «Севкабель». Он рассказал о работах (руководимого им института в области сверхмощных электромагистралей) в этих работах продолжается дело его великого предшественника — физика Марселя Депре.

В 1882 году на второй международной электрической выставке Депре показал свое замечательное открытие. По обыкновенной проволоке Депре впервые в мире передавал электроэнергию из Мюнхена и Мизбах. Это был первый опыт передачи электроэнергии на расстоянии. Энергия в полторы (только в полторы!) л. с. передавалась по этой линии в расстоянии 57 километров. В то время это было мировое открытие. В письме к Бернштейну Фридрих Энгельс высоко расценил работу Депре, он написал тогда пророческие слова:

«Открытие Депре окончательно освобождает промышленность от всех местных границ... Вместе с этим производительные силы примут такие размеры, при которых они перерастут руководство буржуазии».

С тех пор техника ушла далеко вперед. Стали возможны передачи электроэнергии в сотни тысяч л. с. Назрела проблема соединения гигантских электростанций. Теперь, через 50 лет после открытия Депре, французский инженер Виелль и швейцарский ученый Шенгольцер выступили с проектами кольцевания электростанций всей Европы. Большинство европейских электрических станций работает с далеко не полной нагрузкой, кольцевание этих станций сможет полностью использовать их энергию. Оскар Оливьен предлагает создать высоковольтное кольцо — Па-

риж—Лондон—Вена—Берлин. Он пишет: «Технические трудности можно считать уже преодоленными. Чисто экономические вопросы европейской сети тоже разрешены, преодолеть остается препятствия субъективного характера».

В нашей стране эти «субъективные препятствия» преодолены уже 15 лет назад.

Акад. Чернышев счастливее своих западных и американских коллег. Уже ничто не стесняет создание такого высоковольтного кольца, соединяющего Днепрострой, Москву, Ленинград, Кавказ, Урало-Кузбасс, а затем и Волгу, и Ангару. Ажурные мачты опытной высоковольтной линии на 500 киловольт напряжения, каких не знает еще мир, окружают институт акад. Чернышева в Лесном. Здесь разрешаются технические проблемы единой высоковольтной сети Союза.

Для этой сети ленинградский завод «Севкабель» готовит сверхмощные кабели. Академик Чернышев увидел в работах «Севкабеля» прекрасную поддержку своей научной деятельности.

А. А. Чернышев и группа академиков идут по цехам.

В застекленной коробке посреди цеха опромный стан накручивает бумажную изоляцию на толстую, в кулак, жилу кабеля. Академик уже не замечает непривычного для него цехового грохота. Он внимательно изучает кабель. Таких кабелей, как констатирует статистика, только 60 километров во всем мире.

Здесь, на заводе, этот кабель в 110 киловольт с масляным наполнением пустили в серийное производство.

Молодой инженер Быков, окончивший институт в 1929 году, автор этих крупнейших работ, ведет академиков к опытному концу маслonaполненного кабеля в 220 киловольт, история которого знакома всей стране. Мировая фирма «Дженерал-Электрик» купила патент на этот кабель у фирмы «Пирелли», которая работала над ним 12 лет. Советский «Севкабель» не стал покупать патента. Завод за 6 месяцев выпустил кабель своей оригинальной конструкции.

Серийное производство этого кабеля не налажено еще нигде в мире. «Севкабель» идет в этом деле первым.

В этот день был пуст, одинок в своей торжественности старый мраморный Петровский конференц-зал. Сессии Академии наук стало тесно в этом традиционном месте,—она проходила одно временно на многих заводах. Многие тысячи слушали академиков. Их встречали искренне и тепло, гордясь своими учеными. Весь зал на «Севкабеле» встал и аплодировал акад. Чернышеву.

Академик Ферсман в Доме культуры текстильщиков сделал обширный доклад о крупнейших своих работах в области геохимии, об открытых им и его группой ученых богатствах Кольского полуострова, Монче-тундры и Хибин. В рабочих клубах выступала целая плеяда крупнейших академиков, занятых сейчас крупнейшими исследованиями в области изучения богатств нашей великой страны. Многие из них решают крупнейшие проблемы промышленности. Академик С. В. Лебедев в течение ряда лет работает над вопросами синтетического каучука. Результатом его работ является крупнейшая наша промышленность синтетического каучука. Мы уже имеем два таких завода, и еще два строятся. Акад. А. А. Байков решает крупнейшую проблему в области металлургии—прямое получение железа из руд. Акад. М. А. Павлов также дал много крупнейших работ в области металлургии черных металлов. Акад. Н. В. Зелинский многое сделал в области химической промышленности и сейчас занят вопросами хлористого алюминия. Акад. И. М. Губкин является главкомом всех геологов всей страны. Акад. А. Н. Бах работает над выдающимися работами по открытию и применению энзимов, вызывающих ускоренное созревание организмов. Акад. И. В. Гребеншиков занят проблемами оптического стекла. Наконец мы имеем таких мировых ученых, как акад. А. Ф. Иоффе, акад. Александров, акад. Н. П. Павловский и целый ряд других, которые уже многое дали в области электротехники и энергетики. Этот перечень можно было бы значительно рас-

ширить. Но уже перечисленное показывает, как много сделала Академия наук и ее богатая сеть научно-исследовательских институтов в деле социалистического строительства.

Сегодня перед Академией наук встают новые грандиозные задачи и среди них — организация своих филиалов на Дальнем Востоке и на Урале, организация баз на Кавказе и в Средней Азии. Ака-

демия снаряжает одну за другой экспедиции по изучению производительности окраин, крепит свои связи с социалистической промышленностью. И новые молодые ученые, в основной своей массе дети победившего класса, усваивая опыт великих корифеев науки, продолжают дело, основоположниками которого являются Ломоносов, Паллас, Бутлеров, Карпинский и много славных других.



# Литература и искусство

## „Цусима“

(О романе А. Новикова-Прибоя)

П. РОЖКОВ

Наша критика полным голосом может заявить о новой и большой победе советской литературы. Вышедшая в издании «Федерация» и еще не законченная «Цусима» Новикова-Прибоя является фактом огромного значения. Бесспорно то, что «Цусима» есть правда о царизме и русско-японской войне; что это—безусловно реалистическое произведение. Однако такая оценка является слишком общей и невразумительной. Разные бывают реалистические произведения! Как известно, «лефы» и их сторонники — тоже «реалисты». Они восстают против художественного вымысла и идейного «вынашивания» произведений во имя реальных «фактов». Однако в понятие реального «факта» этими людьми вкладывается до невозможности плоское и вульгарное содержание. Реализм «лефовского «факта»—это реализм копировальщиков, не видящих дальше своего носа. Этот реализм есть разновидность вульгарного или глупого материализма. Но, с другой стороны, у нас под флагом реализма сплошь и рядом протаскивают клам субъективной социологии. В течение почти целого минувшего десятилетия в нашей критике объявлялись реалистическими и лишь такие произведения, которые в той или иной мере продолжали и развивали психологический реализм Толстого. Пролетарским реализмом объявлялся такой писатель, который обнаруживал способность проникать в «сырые подвалы подсознания» и уло-

влять «переход одного психологического состояния в другое». Писатели, работавшие по такому методу, достигали высокого совершенства в деле изображения «живого человека» с его сомнениями, колебаниями и муками. Но такие писатели упускали из виду самое главное: копясь в подкожных переживаниях «живых личностей», они оставляли в стороне общественное поведение этих личностей. Они забывали себя спросить о том, «как живые личности свою историю сделали и продолжают делать» (Ленин). По существу такие «реалисты» изображение внутренних противоречий классовой борьбы подменяли обнажением внутренних противоречий интеллигента, ищущего успокоения и равновесия, занятого своим собственным душеустройством или своим приспособлением к революции.

Таковы два вида реализма, которые для нас неприемлемы. Значит ли это что мы против фактов и против психологии? Отнюдь нет. Известно то значение какое марксисты придают практике опыту. Но не менее известно также и то, что «идеалисты опыт приемлют». Дело, следовательно, заключается в том чтобы строго отграничить марксистское понятие опыта от идеалистического. По существу то же самое надо сказать в отношении фактов и психологии. Мы не против фактов, а против вульгарно-эмпирического понимания этих фактов. Далее: вопрос заключается не в том, должна литература или не долж-

на изображать психологию живых людей. Такой вопрос для марксистов по меньшей мере является смешным. Нет и не может быть художественной литературы без показа психологии человека. Но к психологии можно подходить различно: можно подходить к ней с точки зрения Михайловского и можно подходить с точки зрения Ленина. Вопрос, следовательно, заключается в том, как показывать общественную психологию.

Нам нужен не такой писатель, который регистрирует разрозненные факты (не заботясь о «вынашивании» идей), и не такой, который копается в «живых личностях» самих по себе. Нам нужен писатель, способный в отдельных фактах увидеть основную закономерность нашей эпохи—победу социализма; способный изображать психологию не как «диалектику души», а как проявление поведения целых общественных классов, как диалектику обостренной классовой борьбы.

Именно таким писателем и выступает Новиков-Прибой в своей «Цусиме». Этому писателю одинаково чужды как вульгарно-материалистическая фактография, так и субъективно-идеалистическая «диалектика души». «Цусима» — произведение глубоко реалистическое. Но реализм здесь иного сорта, чем реализм «лефов» и эпигонов Толстого. «Цусима», это — яркий образец социалистического реализма. Почему это так? Потому что в изображении характеров и событий Новиков-Прибой остается верным исторической действительности.

Первая характерная черта той исторической действительности, о которой в данном случае идет речь, это—конфликт между передовой Азией и отсталой Европой.—конфликт, являющийся результатом неравномерного развития капитализма «Передовая Азия,—пишет Ленин,—нанесла непоправимый удар отсталой и реакционной Европе» (т. VII, 3-е изд., стр. 45). Этот удар выражал собой тот факт, что азиатская Япония обогнала «европейскую» Россию в овладении новейшей техникой. Техническая отсталость России прежде всего обнару-

жилась в том, что она послала против Японии устаревший флот, не приспособленный к современной войне. «Великая армада,—говорит Ленин,—такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя,—двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы» (там же, стр. 335).

Вот эту характерную черту—техническую отсталость России—и показывает прежде всего Новиков-Прибой с необычайной силой. Мы видим, какую, действительно, нелепую и бессильную «толпу плывучих посудин» представлял собой русский флот. Броненосец «Орел» еще до выхода в море, в Кронштадте, чуть не утонул «без войны в своей собственной гавани». Сам флагманский корабль «Суворов» не был подготовлен к бою. Уже в походе стало ясно, что эскадру ожидает неминуемое поражение. Пробные занятия и маневры в пути показали, что суда не способны к простейшим поворотам и боевым операциям, что артиллеристы не умеют определить расстояние до неприятеля. Из-за поломок и повреждений эскадра останавливалась в пути 112 раз! Все эти качества довольно точно были определены одним кочегаром: «не тронь меня, а то развалюсь». И эскадра действительно развалилась при первом же столкновении с японцами.

Но техническая отсталость царской России нагляднее всего обнаружилась на качество командования. «Офицерство,—говорит Ленин,—оказалось необразованным, неразвитым, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью при столкновении с прогрессивным народом в современной войне...»

При чтении ленинская комсостава в образах, в действии во всей своей видим и имени

дов, целую свору «высокоподлородных» рыцарей палочной дисциплины. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Бирилев «прославился главным образом собиранием иностранных орденов». Про этого адмирала сами офицеры флота говорили, что он «не смыслит в военно-морском деле ни уха, ни рыла». Бессмертен образ адмирала Рожественского, этого царского сатрапа, блиставшего серебром аксельбантов и полным отсутствием ума. Голова этого «бешеного адмирала» была пригодна только для исполнения двух глуповских пьес: «р-разорю» и «не потерплю». Тупое, бычье упорство, свирепый террор, подавление всякой инициативы своих подчиненных и командиров, собственно-ручное избивание матросов—таковы достоинства этого пугала, по выражению самой кают-компании. А что представляли собою остальные офицеры? Это—изящные музейные куклы (Клапье-де-Колонг); мастера мордобоя в фискальном сыска (Воробейчик, Курош и др.); ловкие проходимцы и шкурники (Баранов); ходячие пузыри и «сердцегрызы» (капитан Семенов) и т. д.

Конечно не все офицеры были одинаковы. «Под напором техники, настойчиво вторгавшейся во флот, они разделились на два лагеря, враждующих между собой: пожилых и молодежь» (стр. 167). Но власть принадлежала «пожилым», т. е. высшему комсоставу. Этот высший комсостав флота жил традициями парусной эпохи, а живучесть этих традиций определялась всем строем помещичьей России. «Из прежних навыков они (адмиралы) черпали свои организационные принципы, способы управления эскадрой, кораблями и людьми. В новый флот с машинами, тройного расширения, электротехникой, гидравликой и всеми бесчисленными специальными механизмами они, целиком перенесли обстановку крепостнического времени» (стр. 112) И весь поход эскадры, и самый бой с японцами—сплошная демонстрация парусных традиций и крепостнических порядков. Эскадра была лишена инициативы, а между комсоставом и матросами существовала пропасть. «В глазах наших командующих, — пишет Новиков-При-

бой,—матросы представляли собой ба-ранов, бывших крепостных, нижних чинов, лишенных не только права, но и способности самостоятельно мыслить» (стр. 109). Техническую и политическую безграмотность матросов господа офицеры старались возместить «драением», т. е. мордобоем, карцером и т. п., а также поповским агитпропом: матросы не хотели итти в церковь, «а унтеры гнали их с криком и шумом, с зуботычинами и самой отъявленной бранью—в христа, в богородицу, в алтарь, в крест воздвиженский» (стр. 139). Разумеется, и мордобой, и церковь не помогли в сражении с японцами. Передовая Азия была отсталую Европу своим техническим превосходством: «Нельзя было не удивляться точности построения японских судов. Казалось, что вся эскадра управляется при помощи только одного механизма» («Бегство», стр. 34).

Вторая характерная черта изображаемой в «Цусиме» исторической действительности—это связь между военной организацией и политическим строем. Конечно Россия прежде всего была побита технически, «но военный крах, понесенный самодержавием,—пишет Ленин,—приобретает еще большее значение как признак крушения всей нашей политической системы... войны ведутся теперь народами, и потому особенно ярко выступает в настоящее время великое свойство войны: разоблачение на деле перед глазами десятков миллионов людей того несоответствия между народом и правительством, которое видно было доселе только небольшому сознательному меньшинству».

Социалистический реализм Новикова-Прибои как-раз и проявляется в том, что он художественно подтверждает этот ленинский тезис. Он показывает, как 12-тысячная масса «нижних чинов», чем дальше удалялась от Петербурга, тем больше сознавала, что она является жертвой преступной военной авантюры. Матросы не знали, зачем их зовут умирать: «Скажут—того требует от нас нация? А что такое нация?...» 90 проц. личного состава эскадры только и думало о том, как бы вернуться домой. Как ни далеко была заброшена в океан мат-

росская масса, до нее все-таки дошли отдельные вести о поражении русской пехотной армии и о революционных событиях в Петербурге, Одессе и Баку; о кровавом воскресеньи 9 января; о волнении в Черноморском флоте. И, несмотря на походные специальные «суды особой комиссии», несмотря на угрозы Рождественского «потопить» и «повесить», в массе матросов росли революционные настроения, росла ненависть к офицерам; углублялся разлад между белой и черной костью, поднимались волнения и бунты на кораблях («Адмирал Нахимов», «Терек», «Орел» и др.).

Но разлад между белой костью и «нижним чином», разоблачение в глазах матросской массы сущности самодержавного строя Новиков-Прибой изображает не только, как стихийный процесс; он показывает руководящее влияние пролетариата на флот. Помимо самого автора, в «Цусиме» выделяется обаятельный образ инженера Васильева, проводившего в массу большевистские, пораженческие идеи. «Нужна была крымская кампания,—разъяснял матросам Васильев,—чтобы все поняли—так больше жить нельзя Россия с ее, по выражению Герцена крещеной собственностью зашла в тупик. Тогда лучшая часть общества заволновалась Начались крестьянские восстания. Закончилось это освобождением крестьян от крепостной зависимости. То же произойдет и после этой войны, в особенности после разгрома нашей эскадры, на которую теперь все надежды Для всех стало ясным, куда завели нас наши бездарные правители Революция неизбежна Она уже началась...» (стр. 408). «Цусима» показывает, как ненадежны в настоящее время рабочие и крестьяне в качестве пушечного мяса для империалистов «Цусима» показывает тот путь, которым пойдут солдаты капиталистических армий в новой империалистической войне.

Третья характерная и чрезвычайно важная черта исторической действительности, изображаемой в «Цусиме»,—это связь между царизмом и мировым империализмом Социалистический реализм Новикова Прибоя заключается в том, что изображаемое им прошлое вплотную

подводит нас к современным международным событиям. Конечно Европа смеялась при виде нелепой русской армады. Но эту Европу можно было спросить словами Гоголя: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Ведь царизм был не чем иным, как сторожевым псом международного империализма, надежным полотом контрреволюции. Поэтому при известии о поражении России влиятельные газеты буржуазной Европы заговорили о крушении «моральной силы» России. Европейская буржуазия, — говорит Ленин, — «так привыкла отождествлять моральную силу России с военной силой европейского жандарма... Катастрофа правящей и командующей России кажется всей европейской буржуазии «страшной». Эта катастрофа означает гигантское ускорение всемирного капиталистического развития, ускорение истории, а буржуазия очень хорошо, слишком хорошо знает, по горькому опыту знает, что такое ускорение есть ускорение социальной революции пролетариата. Западноевропейская буржуазия чувствовала себя так спокойно в атмосфере долгого застоя под крылышком «могучей империи»... (том VII, 3-е изд., 44—45) Особенно, говорит Ленин, «французской буржуазии так хочется иметь могущественного союзника — царя» (там же, стр. 337).

И в тех пределах, какие ему отведены, Новиков-Прибой не упускает из виду этого чрезвычайно важного обстоятельства—связи между царизмом и мировым империализмом. Он намечает контуры империалистических противоречий в отношении держав к русско-японскому конфликту. Англия—союзница Японии—относилась к царизму враждебно, устраивая по пути следования Рождественского демонстрации своего флота; немцы снабжали углем (т.е. помогали царизму лезть в петлю); французы приветствовали: «Добро пожаловать!» Правда, позднее Франция стала относиться к русским, как к «обанкротившимся родственникам», но ведь это только потому, что русские «терпели одно поражение за другим». Франция нервничала: победа «макак» заставляла ее беспокоиться

за своего союзника в будущей войне с Германией. Таким образом Цусима выступает и как звено в цепи тихоокеанских противоречий мирового империализма, и как этап борьбы европейской буржуазии с международной революцией пролетариата. Сейчас, как и 27 лет тому назад, реакционная Европа занята организацией борьбы с ускорением истории.

Задача международного пролетариата и задача пролетариата СССР состоит в том, чтобы организовать отпор международной реакции. А организовать этот отпор пролетариат должен не только политически, но и технически. И значение «Цусимы» Новикова-Прибой заключается именно в том, что она во весь рост ставит проблему овладения техникой и тем самым художественно подтверждает правильность генеральной линии нашей партии.

«История России,—говорит т. Сталин,—состояла между прочим в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били за отсталость... Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было бито и чтобы оно потеряло свою независимость?» Нет, мы не хотим, чтобы социалистическое отечество мирового пролетариата было бито. А если мы этого не хотим, мы должны овладеть техникой, несмотря на трудности. «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Мы видим, что в изображении характеров и событий Новиков-Прибой остается верным исторической действительности. Автор «Цусимы»—сугубый реалист, но он в то же время (в известной мере) и революционный романтик. Основные образы произведения, выражающие пролетарскую линию, это—не хлюпки-интеллигенты, занятые обнажением своих внутренних противоречий, госкующие в своей раздвоенности по успокоению; нет, это—люди благородных мыслей и великих дел, это люди, способные дерзгать и мечтать. Именно таким выступает образ инженера Васильева: «Мечта стать моряком, лю-

бовь к кораблям проснулась в нем с детства, как только он научился читать». Зачем же Васильеву влечение к широким просторам и мечта о кораблях? Затем, чтобы «связать свою любовь к морскому делу с борьбой за лучшую долю человечества»; затем, чтобы «создать... кружки на каждом судне из решительно настроенных офицеров и матросов», чтобы «захватить такие боевые силы, как современные броненосцы, эти грозные пловучие крепости». Вот о чем мечтал большевик Васильев, и вот чему он хотел научиться у блестящей плеяды революционеров 70-х годов—старых народовольцев.

А образ самого рассказчика «Цусимы»—Новикова-Прибой? Разве этот сугубо реалистический образ не пленяет нас в то же время революционной романтикой? Автор «Цусимы» все время действует в слитности с массой, вместе с ней переживает он волнения и тревоги; тщательно вдумывается в события, взвешивает каждый факт. Он жаждал, как можно больше узнать, чтобы умнее проявить среди массы свою революционную организаторскую активность. «С жадностью я хватал все, что происходило на эскадре и что вычитывал из книг, и все свои впечатления заносил в дневник». Он «долго сидел за столом над раскрытой книгой, плененный могучим галантом Байрона»; он вперялся в загадочные берега «с жадностью лисбознательного ребенка и думал: забраться бы туда в этот новый мир, побродить в девственных лесах, посмотреть на гайнственьные озера и реки, окунуться в жизнь четырех миллионов незиданных. малайцев...» Почему же Новиков-Прибой жаждет все узнать? почему он мечтает? Потому, что он ставит перед собой великую цель: бороться вместе с массами за поражение самодержавия, за превращение вооруженной силы царизма в вооруженную силу революции. А разрешить эту трудную задачу нельзя без великой веры в грядущее; без мечты и фантазии.

Огромной силе и простоте содержания «Цусимы» соответствует суровая и в то же время возвышенная простота стиля

язык Новикова-Прибоя—простой и ясный, высоковыразительный, мужественный язык: «Безоблачная высь переливается гроздьями созвездий. Все выше поднималась луна, и серебристый свет ее растекался по ровной поверхности воды. Море заворуженно молчало»; «по океану, куда ни глянешь,—брели, встрепано качаясь, пузатые седые великаны, брели бесчисленными полчищами, с оглушающим шумом»; «в глубине бледнозеленеющего неба гасли звезды. Слева от нас лежал Мадагаскар, пока еще мутный и загадочный, как пьяный бред». Этот ровный в своей красоте язык и эти описания природы заключают в себе глубокий контраст: безмерное торжество жизни и неизбежность предстоящего разгрома... От описания этого разгрома идет потрясающим драматизмом: «В зыбучи поднимающихся волн, в пожаре флагманского корабля, в громовом грохоте неприятельской артиллерии и во взрывах

снарядов бурно дышала смерть» («Бегство»).

«Цусима» Новикова-Прибоя—образец социалистического реализма. А социалистическим реалистом писатель выступает потому, что в изображении своих героев и событий он остается верен истории; изображая характерные черты конфликта между передовой Азией и реакционной Европой, обнажая империалистические противоречия и связь между царизмом и империализмом, автор тем самым помогает с большей полнотой уяснить характерные черты международного положения на данном этапе. Наиболее важный вывод из «Цусимы» для пролетариата СССР—это вывод о необходимости овладения техникой и наукой. И в этом отношении «Цусима» Новикова-Прибоя сыграет большую роль,—она мобилизует массы на борьбу за победу социализма над международной реакцией.

# Содержание журнала „Новый мир“ за 1932 г.<sup>1)</sup>

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ:

Аросев А. Корни, главы из романа «На боевых путях» XII—7.

Бабель Б. Аргмак, рассказ. III—125.

Бедный Демьян. Как четырнадцатая дивизия в рай шла, пьеса II—5.

Виноградов А. Черный консул, историческая повесть IV—137, V—167, VI—166, VII—VIII—334, IX—221, X—185.

Гладков Федор Энергия, роман. I—5, II—103, III—46, IV—34, V—35, VI—108, VII—VIII—105, IX—151, X—91.

Гурвич А. На порогах, рассказ. XII—150.

Евдокимов И. Чегодань рассказ. II—138.

Евдокимов И. Архангельск VII—VIII—5, IX—172, X—143, XI—151, XII—92.

Леонов Л. Скутаревский, роман. V—5, VI—89, VII—VIII—34, IX—86.

Лидин Вл. Великий или Тихий, роман. X—5, XI—46, XII—49.

Новиков-Прибой А. Мадагаскар, повесть (из «Цусимы») II—38.

Новиков-Прибой А. Эскадра идет дальше, повесть (из «Цусимы»). III—130.

Павленко П. Баррикады, повесть. VI—5, VII—VIII—139.

Перегудов А. Солнечный клад, роман. IV—5, V—124, VI—203, VII—VIII—187.

Пильняк Б. О-кей, американский роман. III—86, IV—93, V—133, VI—137.

Пришвин М. Новая Даурия, путешествие. XI—5.

Раскольников Ф. ДПЗ. X—233.

Сергеев-Ценский С. Устный счет, рассказ. III—160.

Сергеев-Ценский С. Счастливица, рассказ. XI—177.

Соколов-Микитов И. Путешествие на «Малыгине» I—76.

Трусов Ив. Досрочное успокоение, рассказ. IV—77.

Финн Константин Большие дья, повесть. X—160, XI—201.

Шкляр Н. Два чуда, рассказ. V—162.

Шолохов М. Поднятая целина, роман. I—37, II—84, III—20, IV—53, V—68, VI—87, VII—VIII—87, IX—135.

Эренбург И. Хлеб наш насущный хлебом наших дней IX—58.

Ясенский Бруно. Человек меняет кожу, роман. X—48, XI—81, XII—112.

## СТИХИ И ПОЗМЫ:

Александровский В. Спит лирика. IV—92

Александровский В. На полустанке. IX—150.

Безыменский А. Поэма о любви. X—124

Васильев Павел. Рассказ о деде. X—184

Васильев Павел. Песнь о гибели казачьей войска XI—140.

Герасимов М. Осенью. IX—220.

Гидаш А. К Ленину. IV—52.

Гумиров Лutfей. Байский плен, отрывок из поэмы II—135.

Длигач Л. Ять. XII—88.

Кириллов В. Открытое письмо. III—125

Клычков С. Мадур Ваза-Победитель, поэма. VII—VIII—260.

Лахути. Сталину. XII—5

<sup>1)</sup> Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские — страницу.

- Луговской Вл. Марафонский бег. I—72.
- Мандельштам О. Довольно кукситься, бу-  
дги в стол засунем. IV—166
- Мандельштам О. О, как мы любим лицемер-  
ство. IV—166.
- Мандельштам О. Рояль. VI—106
- Мандельштам О. Ламарк VI—106.
- Мандельштам О. Батюшков. VI—107.
- Мандельштам О Там, где купальни, бума-  
гопрядильни. VI—107.
- Незлобин Н. Отрывки из поэмы «Лингаля»  
VI—164.
- Орешин П. Лирика. VII—VIII—137.
- Пастернак Б. Упрек не успел потускнеть.  
VI—82
- Пастернак Б. Стихи мои. бегом, бегом. II—  
3.
- Пастернак Б. Когда я устаю от пустозвон-  
ства. II—83.
- Пастернак Б. Весеннюю порою льда. III—44.
- Пастернак Б. Весенний день тридцатого ян-  
варя. V—67.
- Санников Г. В гостях у египтян, роман в  
стихах V—92.
- Ушаков Ник. Съезд Советов. I—74.
- Ушаков Ник Опять на родине. I—75.
- Ясенский Бруно. Пролог к поэме. I—35

### ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ:

- Александр Блок. Неопубликованные пись-  
ма, с примечаниями И Я. Ямпольского. II—  
98.
- Александр Блок Письма к Л Я. Гуревич,  
с примечаниями И Я Ямпольского. V—203.
- Валерий Брюсов. Неопубликованные пись-  
ма, с примечанием И. Ямпольского. II—190.
- Андре Жид. Страницы из дневника 1932 г.,  
перев с франц. X—261
- Флобер. Письма, с комментариями М Эйхен-  
гольца. VI—235, VII—VIII—402, IX—241.

### СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

- Белый Андрей. Поэма о хлопке, статья.  
XI—229.
- Буданцев Сергей. Этюд к рассказу о труде.  
X—247
- Гальперин С. Самурай и биржа IV—214.
- Гарри А Паника на Олимпе III—192.
- Глаголев. Арк. «Пустыня» П. Павленко. I—  
174.

- Гнедин Е. Кризис буржуазной культуры  
I—184.
- Ефремин А. С. Сергеев-Ценский (к 30-летию  
литературной деятельности). III—203.
- Зингер Макс. Город на опушке мира. I—  
153.
- Кирлотин В. Горький — великий художник  
пролетариата. VII—VIII—374.
- Колоколкин В. О второй пятилетке, статья  
первая III—179.
- Колоколкин В. О второй пятилетке, статья  
вторая V—186.
- Корнев Н. Маршалы «Третьей империи»  
VI—212.
- Кретов Ф. Февральская революция. II—147
- Кретов Ф. Социальная эволюция крестьян-  
ства IV—167.
- Либединский Ю. Об изображении капита-  
лизма в произведениях Горького IX—19.
- Лукницкий П. За «синим памирским кам-  
нем». II—176.
- Лукьянов М. Столица ткачей. II—169.
- Луллоп И. Беранже. VII—VIII—386.
- Луллоп И. Творческий путь Максима Горь-  
кого IX—28
- Лятковская О. Караганда. I—129.
- М. К. Международный обзор, статья пер-  
вая IX—234
- Новиков И. Диспут о кроликах. IV—193.
- Ольденбург С., акад. О Горьком и его ра-  
боте на науку. IX—15.
- Павлов Вл. Голоса победы. X—257.
- Пиксанов Н. Горький-стихотворец. IX—44.
- Пинегин Н. В. У студеного моря I—139.
- Рожков П. «Цусима» статья XII—176.
- Роллан Ромен. Предисловие к «Лилюли». I—  
169.
- Смирнов Ник. Из старых писем V—200.
- Сослани Шалва. Шамшова, очерк. XI—223
- Старчаков А. Великий художник пролета-  
риата IX—5.
- Старчаков А. Академия великой страны  
XII—169.
- Шагинян Мариетта. Наследство Гете. III—5
- Юдкевич Л. Посевная. I—112.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

- Ардов В. Туземцы Юмористические расска-  
зы Ид «Никитинские субботники» 1931 г.  
Стр. 206. I—195 Н П р я н и ш н и к о в.



Гумилевский Лев. Головорезы. Роман. Изд. «Федерация» 1931. Стр 310. I—196 Арк. Глаголев.

О'Флаэрти Лизм. Горная таверна. Рассказы Пер с англ. Изд. ГИХЛ. Стр. 139. I—197 К. Локс.

Саянов Висс. Начала стиха. Литературная студия «Резца». Изд. «Красная газета». 1930 Стр. 110. I—198. Инн. Оксенов.

Фибих Даниил. Дикое мясо. Рассказы. Изд. «Моск. т-во писателей». Стр. 206. I—193

Дм. Гельман.

Фрейлиграт Ф. Мертвые живым. Мер. с не» М. Зенкевича. Изд. ГИХЛ. 1931. Стр. 11» I—198. И. Поступальский



А. И. Безыменский  
Ф. В. Гладков.  
Редакция: В. В. Григоренко.  
И. М. Гронский.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.